

# НА ОСТРОВЕ БУЯНЕ

Чужой продрогший человек бродил бесцельно на заднем дворе районной гостиницы – мимо заснеженных пустых ящиков, сложенных в углу, мимо гряды сколотого льда у заднего крыльца. Лом, прислонённый к перилам, привлекал его внимание, но, притопывая от холода, человек отворачивался вскоре. Он обходил сизую гору золы и шлака и заглядывал несколько раз в низкое окно кочегарки. Заиндевшее, оно было слепым, как бельмо. Низкая дверь не отворялась на стук. А над кирпичной трубой не вился дым.

Гостиница и просторный хозяйственный двор располагались на самом высоком холме села. Человек, двигавшийся кругами, остановился, наконец, на его вершине и поднял шарф до ушей, пряча лицо от мороза. Золотые снега внизу, над рекой, уже начинали голубеть перед вечером. Широко раскинувшееся крылатое красное солнце садилось за дровяной сарай. Однако пустынная улица, не добежавшая до берега по склону, запнулась о полосу валежника, чернеющего сквозь снег, и заснула загодя: на ней не видно было ни души.

Улицы, огибавшие холм с другой стороны, уходили затем к серой, скучной коробке элеватора, поднимались к кирпичному кубу электростанции у самого бора и прижимались к огороженному квадрату то ли кладбища, то ли парка: среди мощных заснеженных деревьев сияло там, вдали, скромное солнце церковного купола.

Оглядев добротные дома с высоты и поразмыслив, человек всё же двинулся не к жилью, а к гостиничному сараю, стоящему в низине, за косогором, – к той укромной его стороне, где меньше дуло. Здесь, скрытый от людских глаз, он с треском разодрал несколько картонных коробок из-под чая, выложил ими дно сломанного шкафа, валявшегося плашмя, и влез внутрь. Сберегая тепло, человек натянул вязаную шапку до подбородка, потом вслепую накрылся приготовленным картоном с головой, словно негнушимся одеялом.

– ...Нет! Если я нарисовался, меня не сотрёшь! – прозвучало вскоре под картоном мстительное, глухое ворчанье.

Ещё через минуту рука в короткой перчатке потянулась за откинутой половинчатой створкой шкафа. Она держалась на одной разболтанной петле и захлопнулась над человеком не сразу.

– Пр-р-роклетье... Я же двое суток не спал! – доносилось потом из шкафа с долгими перерывами. – Чтоб эту девицу икота на свадьбе одолела.

– Жалко, истопник загулял. Запропастился куда-то, зараза. Жди его теперь на холодрыге... Лежи тут, как сломанная кукушка в часах.

– Но если я нарисовался!..

Ворочаясь под крышкой, шурша картоном и устраиваясь удобней, человек не слышал, как проскрипели на крыльце кочегарки скорые шаги, как звякнули ключи, как мягко хлопнула обитая войлоком дверь.

Там всё пошло своим чередом. Бронислава разожгла дрова, засыпала уголь и потрогала трубы – они ещё не успели нагреться, но шероховатая их поверхность уже не была такой пронизывающе холодной, как раньше. За окном только начинало темнеть. Не включая света, Бронислава вынула из кармана зеркальце, присела на табурет у заиндеветого окна. В поцарапанном четырёхугольнике отражалось её лицо, красноватое в слабом свете сумерек. Небольшие серые глаза смотрели на Брониславу выжидательно и недоверчиво. «Нос, гляди-ка, синее, чтоб его...» – без особой досады подумала она. И, вспомнив, что на работе, в Заготзерно, весовщицы говорили, будто в крем, в «Снежинку», кладут ртуть, Бронислава сразу же и догадалась, что это – от ртути.

Она длинно вздохнула, повернула голову вправо, влево, не сводя глаз с зеркальца. После смерти мужа – он замёрз прошлой зимой в ложине около села – Бронислава заметно поправилась, шут знает от чего. Была она совсем не старая и тяжести своих сорока пяти лет никак не ощущала. Уже по ранней весне к ней в дом зачастили не по делу деревенские мужики. Бронислава, в радостном предвкушении долгой застольной беседы, выставляла на стол бражку, кислую капусту, а если выпивки не хватало – бежала к соседям за водкой. И часто какой-нибудь разомлевший в тепле гость уходил от Кочкиных лишь под самое утро.

Женской мести Бронислава и не думала опасаться: в селе знали, что связываться с ней – себе дороже. Только соседка Зина в сентябре, ни с того ни с сего, показала вдруг на короткое время чудеса храбрости, хотя её Иван заходил к Кочкиным всего раз, да и то давно: аж на девятое мая. К концу лета она перестала здороваться с Брониславой, с её дочерью Ниной и с зятем Антоном. А как-то поутру, когда Бронислава кормила во дворе кур, косматая Зина вытерла о грязный фартук руки и сошла со своего крыльца. Потом решительно облокотилась на изгородь.

– Чего не видала, Коробейничиха? – мирно спросила её Бронислава.

Зина будто только этого и ждала.

– Ты, Бронька, туды тебя в прясло, зачем моих кур загнала да своей краской переокрасила? Я не косая! Вон моё жёлтенько-то под твоим зелёным видать! – заголосила она на всю улицу.

– Заткнись! – по-хорошему посоветовала ей Бронислава. – У тебя мужик шалавый, а тебе куры виноваты.

Зина пнула забор что было силы – и одно звено тут же повалилось на землю с треском и грохотом. Куры с зелёными метками закудахтали, кинулись врассыпную по углам двора.

– Своего на тот свет спровадила? – яростно топча упавшую изгородь, орала Зина. – Так теперь чужих привечаешь, прорва?!

– А ты видала?!! Докажи!!! – гораздо громче Зины прокричала Бронислава и запустила миску с кормом к самой стайке. – Разоралась тут! Я тебе глотку-то быстро заткну!.. Лучше бы голову сидела-мыла, чем день–деньской с косматыми лохмами вдоль чужих дворов мотаться да заборы по всему Буяну ломать!

– А-а! Тебе, значит, моя голова не нравится, – обрадовалась соседка и побелела. – Щас поглядим, какая твоя будет.

Подобрав с земли влажный ком, Зинаида метнула его в лоб Брониславе:

– Вот тебе. Сучка. Сама заткнись! ...Заткнёт она.

Бронислава молча, в два прыжка, настигла Зину, развернувшись было к своему дому, рванула на себя вихор короткой её стрижки и сноровисто двинула соседку по рёбрам. Зина хотела пнуть Брониславу, однако промахнулась и тяжело шмякнулась на землю, успев задеть её кулаком по виску:

– Лови с правой, гадина!

Но Бронислава, схватив соседку за загривок, уже тыкала её лицом в землю, меж бессильно раскинутых толстых ног.

– Бронька, хватит! – отплёвывалась Зина. – Хватит!.. Броньк, да ты что? Шуток что ль не понимаешь?.. Сдурела прям. Да я кого?.. Я это – так: для разговора.

– Вот и молчи, коли так, – выпрямилась довольная собою Бронислава.

– Ты меня прости, – виновато кряхтела и поднималась Зина. – Не обижайся, Броньк, на меня. Он ведь, собака-то мой Иван, дома, почитай, и не ночует...

Толстое перепачканное лицо её жалобно дрогнуло, а голос стал по-детски тонким:

– Провалился бы он пропадом, в тартарары, такой муж...– всхлипывала она. – Ты думаешь, зря люди-то говорят? Что «горе – говорят, – муж Григорий, а у меня Иван – не дай Бог и вам»? Предупреждают – люди-то! По–ихому и выходит... Вот, удостоверилась теперь. Насчёт Ивана. Не один раз.

Ещё не остывшая после драки, Бронислава быстро поправила сбившуюся косынку. И разрешила, подбоченясь:

– Похныкай, похныкай. Лишний раз по-малому не сходишь.

– Да-а-а... А ты думаешь, хорошо мне – в окошки-то выглядывать, его до звёздочков ждать? – плакала Зина и сплёвывала землю с губ. – Я ведь стёклы свои все до дыр проглядела, Броньк, из избы-то. Насквозь! Все стёклы, Броньк, у меня – в дырах!

– Сама виноватая. Сидит, стёклы она теперь глазами сверлит, после время... Ты за свекровью-то, за матерью за его, как после свадьбы ухаживала? А? – припомнила ей Бронислава.– Кой-как ты её, хворенькую, обихаживала, и с печки ты её, тётку Марьюшку, в рукавицах снимала! Температурой заразиться ты от родной его матери боялась, все знают! И не отказывайся. Вот оно тебе и отливается... И ты, Зинка, за одни только эти рукавицы, хоть как – перед людьми всю жизнь свою виноватая будешь ходить. А Иван, хоть как – нет!

– Дык, дитё же, Броньк... Не Аришка бы если, разве бы я за него, за блуду, держалася? – причитала Зина, размазывая грязь по опухшему лицу.

– Мне б твоего Ивана, я б его на шаг от себя не отпустила, – сердито пожалела соседку Бронислава, отряхивая пыль с толстой её спины. – Он бы у меня как по мосточку ходил. Ни влево тебе, ни вправо!

– Как же! Загонишь его домой! Так он и послушал. Это, Броньк, разговоры разговаривать хорошо. Тебе-то что? Ты вон, подбористая, как кобыла. А я-то – видишь, как рано изнасилася?.. А ведь я, Броньк, помоложе тебя буду! Намного!.. Разлезлася вон вся... Чужую беду, Броньк, руками разведу. А если уж он повадился по чужим-то домам с ночёвками гостить, где ты его выправишь? Блуда – он блуда и есть. Блуда блудская.

– А ты поглядывай! – гордо щуря затекающий глаз, учила Бронислава. – Навострился он куда, а ты к нему сразу поласковой. Вроде, не соображаешь. Вроде ты – дурочка. Пряма дурочка с переулочка. «Давай, Вань, рубашку вот эту надень. На-ка вот тебе выходную, понарядней!» Надевай на него да поглаживай. Гладь его, Зинка, не переставай!.. «Ой, как тебе идёт, Вань!.. А ты бы горячего, что ль, на дорожку похлебал?» И – корми. Корми под завязку! Чтоб он дома, рядом с тобой, сомлел!.. А зверюгой-то не кидайся. От зверюги-то любой к другой наладится. Айда забор ставить... Ох, прохлаждаюсь я нынче, а у самой полы немые.

– Ты забегай, Броньк, если чего надо, – поднимая изгородь, натужно кряхтела Зина. – Не стесняйся, Броньк.

– А-а... Куда я денуся! – помогала ей с другой стороны Бронислава. И смеялась, отворачиваясь от забора: – Ссадины-то зелёной не прижигай, смотри! Чаем лицо промой... А то разрисуешься. Будешь кикиморой болотной в окошки-то выглядывать, Ивана до судорги пугать. Как бы насовсем со двора-то не убёг... Вот и гоняйся тогда за ним по всему по Буяну. С зелёным лицом... Умора!

– Правда что, индийской заваркой лучше умоюся, – щупала ссадины Зина – на лбу, на скулах и на подбородке. – А ты в любое время забегай, Броньк. Не забывай нас.

– Не бойся. Не забуду!..

Но забегала в основном Зинаида, и всё больше по вечерам, на ночь глядя. Зорко оглядывая сидящих за столом, спрашивала с порога медовым голосом:

– Броньк! Соли не дашь случайно?

– Опять сорок пять. Ты прям, Коробейничиха, интересная какая-то! Кто же соль-то занимать ходит? Поглядите-ка на неё, на чудо: без денег меня оставить хочет! Не обижайся, не дам. Я пока что не сдурела.

Зина топталась и не уходила:

– Ну тогда хоть муки с ведро отсыпь! В лавку схожу – отдам. Тесто на завтра, что ль, поставить...

– В сенях, в мешке. Отсыпь сама. Некогда мне с мукой тебе возиться. Не видишь? С людьми я сажу.

Зинаида долго ворочалась за стеной, брэнчала ведром и роняла то ковш с гвоздями, то жестяное корыто с лавки.

– Опять, значит, Иван–то загулял... – переглядывались мужики. И опасались: – Ну, умоет она его нынче опарой.

– Ладно, если только умоет,– рассуждали другие, прислушиваясь к возне. – Вон от неё прям током бьёт: как бы всю квашню ему на голову не надела.

– А это – смотря когда Иван домой возвратится. Дурак он что ль, к скандалу торопиться? Нет, раз уж Коробейников загулял!.. Пока к кумовьям заглянет, да пока всех дядьёв обойдёт... Хорошо, если к пирогам готовым заявится.

– Оно и правильно, – одобряли Ивана остальные. – Семь бед, один ответ.

Степенный застольный разговор шёл своим чередом.

– ...Да он же у Любани, у кладовщицы, песни с утра в дому поёт! – припоминали вдруг мужики. – С переливами. Шторки везде зашторенные, а самого за оградой слышать. «Когда б имел золотые горы». Так что, пироги-то Зинкины ещё и зачерствеют.

– Если у Любани...– призадумывались знатоки. – Тогда, конечно, зачерствеют. Там – не больно-то: там круть-верть – и мимо.

– Именно что. У Любани хоть трое суток пой. А толку? Одни хи-хи да ха-ха... Бывало дело!

– Бывало, конечно. Знаем, знаем.

– Зачерствеют!!! – дружно чокались все.

– За ваше здоровьице... За ваше здоровьице.

– И вам не хворать.

Бронислава обмахивалась чистым полотенцем, слушала и качала головой:

– Ну, умора.

И смеялась:

– Походил бы он от меня! Ох, поглядела бы я, кто б кого караулил!..

И всё было хорошо в доме у Кочкиных, да только старшая дочь Нина и зять Антон, жившие при матери, на гостей Брониславы смотрели косо. А к зиме и вовсе – спрятали от неё сберкнижку.

– Тебе уже зарплаты не хватает на гулянки твои! Привадила ораву! – выступала из своей комнаты дочь.

Она кричала с порога, раздвинув цветастые занавески обеими руками, пропадала, а потом появлялась в занавесках снова, как артистка в клубе:

– С книжки-то берёшь, а забыла, что деньги эти не ты одна наживала? Кочкин тебе их приносил!.. И Кочкин тебя в Заготзерно устроил, между прочим, когда бригадиром стал! А если б не Кочкин, много бы ты сама наработала? Кто бы тебя учётицей с твоим образованием взял?!

Как после семилетки в доярки пошла, так до сих пор на ферме бы ты ломалась! ...Вон, бабуля наша всю жизнь под коровьим брюхом просидела – и ты бы оттуда до пенсии не вылезла. Не знала бы ночью, куда рученьки уложить, чтоб не ныли. Небось, не до гостей тогда было бы!.. Забыла она. Что-то больно скоро забыла!

Теперь, когда Нина злилась, то называла отца по фамилии – Кочкиным. Будто нарочно отгораживала его, умершего, от Брониславы. И тогда Бронислава становилась виноватой сразу перед всем миром. В том, что вот, осталась она на свете – живая, и не померла тоже, не замёрзла, как порядочная, вместе с мужем, а вместо этого одна, без него, сидит теперь барыней, и ходит везде, и дышит как ни в чём не бывало.

«Да что же я тебе такого сделала, что глядишь ты на меня так? – думала Бронислава, не отвечая дочери. – Мы же тебя на технолога в городе с отцом выучили, как большого человека... Но – нет: не человек ты выросла, а прокурор».

И Бронислава устроилась в кочегарку при гостинице – подрабатывать после пяти: оклада что-то и вправду не хватало.

Зима в этом году выдалась крепкая. Но районная гостиница была небольшая – на двенадцать окон. И дежурные прибегали ругаться в кочегарку редко – только когда Бронислава засыпала от скуки и усталости на узком клеёнчатом топчане раньше времени.

Чтобы сбить дрёму, Бронислава выходила по ночам на крыльцо. Обь рано сковало льдом – река давно замерла, ничем не отличимая под волнистым снежным заносом от дикого поля, мертвенно-бледного в свете сильной, дымящейся от мороза, луны. Дальний бор угрюмо темнел за прозябшим селом. И в то, что морозы когда-то кончатся, уже не верилось – так основательно было выстужено небо с разлетевшимися в вышине острыми ледышками звёзд, так угрожающе гудели вдоль спящих улиц бессонные столбы, так уверенно ходили и выли протяжно над окоченевшей землёй студёные ночные ветра.

Бронислава стояла недолго и спешила поскорей назад – чтобы не застыть на холодной воле и не затосковать смертельной тёмной тоской. Иначе, чудилось ей, обомрёт она здесь, на крыльце, в полный свой рост, заледенеет – и уже не очнётся вовеки, потому что стужа охватила весь Божий мир навсегда.

– Угля-то две машины, то ли хватит, то ли нет... – глядя в светящееся поддувало, прикинула про себя Бронислава. И всё не включала света, подробно думая про всё своё хозяйство, про запасы в стайке и про незаботливого зятя. С прошлой зимы она быстро зябла, если оставалась в просторном доме одна, и потому топила помногу. Замёрзший муж не снился ей по ночам и никогда не мерещился в одиночестве, в глухой комнатной тишине, только тепло из сердца начинало уходить куда-то. Вытягивало его, тепло, ощутимо до боли, как в тёмную пропасть какую – как в бездну сырую, ненасытную.

– ...Прикупить, что ль, с полтонны, пока не поздно? – поёжилась Бронислава. – Батюшки–светы! Опять расход.

Однако о расходе она сокрушалась больше по привычке. Уголь в этом году достался ей дёшево. За машиной в Сельхозтехнику Бронислава так и не ходила. Увидала на дороге машину Сашки Летунова, встала перед мчащимся навстречу самосвалом – и ни с места.

Сашка затормозил, высунул из кабины перепуганное злое лицо.

– Ты что это, бесстыжий, мне угля не везёшь? – не дала опомниться парню Бронислава.  
– Нет, вы поглядите на него! У меня сын в армии во Владивостоке, а он всё мимо проехать норовит!

– ...Тётъ Бронь, я Витька вашего уважаю, – зябко вытирая под носом, мямлил из кабины Сашка. – Я привезу, как порожний из города поеду. Вот зуб даю, привезу.

– Ты мне брось, «как порожний»! – рассердилась Бронислава, забираясь в кабину с другой стороны. – Нужен кому твой зуб. Молочные, что ль, до сих пор падают?.. Давай езжай, у меня квитанции с собой.

– Тётъ Бронь, да не могу я! Правда, не могу. Меня в хозяйство заказали!

– Подождут! Скажешь, поломался. Давай езжай. Платить не буду. Бутылки с тебя хватит.

Сашка хоть и нервничал всю дорогу, но за углем съездил оба раза. И от бутылки отказался – затянул своё:

– Тётъ Бронь, да ты что? Меня же все засмеют. Скажут: Витьку без бутылки не помог... Не пью я. Честно, не пью... На кой мне бутылка? Я Витька вашего уважаю.

И тем сильно насмешил Брониславу.

– Ты и гостей, что ль, к студёному компоту приучил? – любопытничала она. – Гости-то у вас чем с мороза греются? Ну, чудной!.. Ладно, если что, должок за мной остаётся. Возьмёшь чистенькой, баушке своей. На компрессы. Муравьёв от ревматизма настаивать.

– Да не надо! Она в сенной трухе от ломоты парится, – отнекивался Санька из кабины. – Каждую баню в дубовой бочке по шейку сидит. Без всяких муравьёв.

– Ну, корень-борец пускай водкой зальёт. Натрётся к непогоде когда-никогда. Всю жизнь на ферме, под коровами, да разве же она рученьки свои не навихляла? Мосолки-то, небось, как на вьюгу ноют!

– Не уговаривай, тётъ Бронь, не возьму!.. Борца в чулане у ней на сто старух настоено: хворай – не хочу, – сердился парень, краснея. – Ладно, Витьку привет передавай, тётъ Бронь. И выкинь ты эту бутылку из своей головы!

Санька решительно хлопнул дверцей кабины, самосвал сорвался с места и выехал со двора, оставляя чёрный колёсный узор на снегу. А Бронислава расстроилась возле кучи задаром привезённого угля.

– Ты погляди, парня безо всего отпустила. Пустой поехал! – сокрушалась она, подбирая в ведро отлетевшие в сторону, поблёскивающие на сколах, чёрные куски. – Оно и не больно-то хорошо, по-моему...

Но успокоилась она быстро, как только принялась затворять большие тесовые ворота.

– А я баушке Летуновой милостинкой отдам! Вон, бумазейкой. Что ж теперь... Пускай сромодит на себя чего ни на то, да и носит, – сводила она тяжёлые скрипящие створы, подпирая их плечом. – Нарядится к радованице старушоночка наша, носатенькая. В мягкое во всё... На солнышке с ключечкой посидеть в бумазейке сядет. В свежей.

Бронислава хорошо приладила брус – вогнала его в две чугунные, кованые скобки и крепко стукнула по торцу в последний раз, решив:

– А заодно и помолится пускай за меня посильней: за Агафию!

Гостиничный уголь был много хуже: и тусклый, и мелкий. Не намочи – огнём не схватится. Ну, пыль и пыль!

Прихватив ручку старой варежкой, Бронислава приоткрыла раскалившуюся дверцу печи. Осторожно, из-под низу, двинула кочергой. Бледно-алое жаркое пламя полыхнуло голубым. Зашевелившийся сверху чёрный уголь смешался с огненным, разгоревшимся. Из печи пахло дымным смрадом. Бронислава, морщась, захлопнула дверцу, помяла в руках подпалившуюся варежку. Включать свет и снимать пальто было всё ещё лень. Она снова села к тёмному окну и едва устроилась поудобней, как тут-то, без всякого стука, отворилась и захлопнулась дверь. У порога стоял человек, неподвижный, чёрный и незнакомый.

Бронислава сощурилась, вглядываясь в плохо видное горбоносое лицо. Человек молчал. Молчала и Бронислава. Розовый отсвет печного огня лежал на чистых половицах и подрагивал. Сонно гудело в трубе. Стало слышно, как с окна закапала стаявшая вода. Человек пошевелился и повёл узкими плечами, растирая руки.

– Свет в–в–включается? – заикаясь от стужи, выговорил он и зашарил по стене.

Щёлкнул выключатель. В выбеленной комнатёнке стало светло и хорошо. Мужчина насторожённо озирался, пряча крутой сизый подбородок в шарф.

– Холодно в болоньке-то! – заметила Бронислава.

– Ещё бы, – сердито отозвался человек, сдвигая со лба вязаную шапку – чёрную, с бурой полосой.

Теперь он смотрел на Брониславу исподлобья, с досадой. И ей показалось, что когда-то давно она обидела его чем-то, незначай и сильно, и забыла про то. И про него самого – тоже забыла нечаянно навсегда! А он вдруг здесь и всё помнит.

– Холодно. Грейся... – сказала Бронислава.

Он важно выпрямился – и шагнул к ней, вытянув руку с плотно сжатыми пальцами:

– Кеша.

Рука была ледяная и незрелая. Бронислава пожала её осторожно, словно неживую:

– Броня. Кочкина. Вот, топлю.

Лицо его ещё не отошло с мороза, и улыбнулся он поэтому криво.

– Поэт, широко известный в узком кругу. Частично – актёр. Художник из города. И тому подобное! – со значением сказал он, круговым движением дорисовывая над своей головой всё остальное.

И Бронислава поняла: это он из скромности не договаривает про себя самое главное и самое хорошее.

– А я вот – топлю, сижу... Грейся. Холодно в болоньке-то, – повторила Бронислава.

Он, ёжась, подсел к печке. Его знобило.

– Дер-р-р-евня! Никто ничему не верит. За гостиницу – и то платить нечем!

– Не деревня. Село тут, – неспешно поправила Бронислава, разглядывая его с любопытством. И не поверила: – Разве ты про наш Буян не слыхал?.. Вот чудо-то. Чудо в перьях прям... Это про нас везде врут: лихие люди да лихие люди. В Буяне, врут, там птицы без голоса, цветы без запаха, а женщины – без сердца! Видишь, чего болтать наладились? С перепугу.

Печь выстрелила алым угольком на пол. Бронислава живо подхватила его пальцами и закинула в поддувало, мимо Кеши.

– А здесь не люди, а места такие. Строгие, – устраивалась она на прежнее место, вытирая пальцы тряпкой. – Боятся чужие сроду этих мест. Ну и завидуют, конечно: не без того... А как не завидовать? Мы ведь, сроду без никого, живём тут, в медвежьем-то углу, покрупче всех. Сами только по себе сроду живём... А ты как же попал, в глухомань-то нашу?

– Как, как... По ходу жизни! – нахмурился он.

И возмутился, передёрнув плечами:

– Нет, на улице мне что ли теперь ночевать?! Предложил дежурной девице похорошему: «Давайте я около вас бесплатно посплю». Так она меня, с ружьём наперевес, до самых ворот гнала. «Я – дева чистая, а вы – стрекулист!» Бандитка. Бандитка с белым воротничком... Х-х-холод же страшный!

– Клавонька, она добрая, – успокоила его Бронислава. – Стреляет, конечно, без промашки. И ростом под потолок. А так – добрая... Она бы только прикладом стукнула.

– Понимаю, – кивал ей Кеша, нервно соглашаясь.— Кто спорит: добрая. Девица. В кружевном воротничке... Но, гадство, с ружьём!!!

Бронислава вздохнула. И согласилась:

– Плохо без денег. Я вон уж скоро год одна, без мужа, так вот... подрабатываю.

Брониславе стало грустно после этих слов и жалко себя. Она отвернулась к тёмному окну, оттаявшему поверху.

– И ни одна сволочь не занимает! – вскинулся Кеша. – Журналисты называется...

– Он из города на попутке добирался. В ночь уже, – качала головой Бронислава, не оборачиваясь. – Потом пешком шёл. От грейдера самого... Костры по дороге жёг, в сторожке ночевал. А перед Буяном видишь чего... Не надо было ему из уазика выходить. Ох, не надо!.. Зачем он от шофёра этого отстал, а?! У него бы в доме переночевал лучше. Небось, место-то чужое до дыр не пролежал бы.

Она задумалась. Провела пальцем дорожку по узкому подоконнику – чтобы скорей сбегала по ней талая вода.

– Уазик, видишь, латаный-перелатанный был. Всю дорогу ломался, – со вздохом объяснила она, переставляя на полу банку под зачистившие капли. – И шофёр – чужой, по грейдеру дальше один уехал на соплях. Он, сломанный, в Буян заворачивать не стал: передумал... А холод был!!! Батюшки-светы! Х-х-холод – страшный... Ну, им, Кочкиным, сроду море по колено: вылез. Чуть не двести километров по Дикой дороге отмахал. А перед Буяном...

– На работу, проклятье, ехал! Добрался, называется... – от тепла Кешу затрясло сильнее.

Он сжимал и разжимал перед раскалившейся дверцей сведённые стужей, непослушные пальцы.

– Устраиваться, что ль, будешь куда? – обернулась Бронислава.

– Да я-то – хоть куда могу! – презрительно фыркнул он. – В газету, в клуб... Умею писать. Знаю законы жизни и сцены... Досконально изучил психологию людей и женщин. Это для меня так: семечки. Вот денег – нет!.. Редактор где-то в командировке торчит. Отдал им два стихотворения – деньги в редакции не начисляют. Рассказ целиком отдал! Нет, бухгалтер – баба, упёрлась, проклятье, без редактора копейки не даёт. Парадокс!.. А насколько и где этот редактор застрял, никто не знает.

Сочувствуя, Бронислава покивала ему:

– Что ж теперь. Труднодоступный район! Правильно про нас говорят. С трёх сторон – лёд, с четырёх – тайга. Всякое, конечно, в дороге может быть.

– Тебе лом нужен? – неожиданно спросил он.

– Нет... А ты с ломом что ль из города ехал?

Ответа не последовало. Они помолчали, глядя на печную чугунную дверцу, уже раскалившуюся поверху до малинового нежного цвета.

– Мне-то жить ещё можно! – вслух рассудила Бронислава, отряхивая угольную пыль с полы и запахиваясь потуже – не от холода, а просто так, для красоты. – У меня и дом, и корова, и огород. Баню только вот без Кочкина никак не дострою. А зять...

Она обиженно поджала губы и махнула рукой:

– Время у него на баню нету. У зятя. На рыбалку – есть, на охоту – есть, а на баню...

– Такие стихи отдал! – поднял голову Кеша. – Что они в них понимают? И каждый о себе чего-то мнит... Р-р-райончики. Бездар-р-рность...

– А я Антону-то, зятю, начну про баню говорить: «кругляка, говорю, доставать надо»! А ему не докажешь... Всё на «потом»! А этого «потом» никак потом не дождёшься.

– Лирические стихи! – сокрушался Кеша. – Псу под хвост!

– Всё лето ведь про кругляк ему талдычила! Антону... Нет: то сидит – блёсны наждачкой трёт, все кряду. Полирует прям. А то пыжи из валенка старого режет. Патроном наточенным. Вот режет и режет, режет и режет! И по всему полу пыжи валяются, как опятки, а он молотком ухобачивает – и не подбирает!.. Куда их столько-то?! Наколотил... В бочку солить что ль?!

– ...Два юмористических рисунка предъявляю, как понимающим людям, а они? «Это же под копирку с «Крокодила» срисовано!» Кретины.

– А брошка моя, думаешь, куда в позапрошлом году подевалась? – оживилась Бронислава и развернулась в сторону гостя поосновательней. – Нет, ну – куда? Куда?.. Просверленная в блёснах лежит! И тройной крючок уже к ней присобаченный. «Я думал, ты эту железку сама выкинула!» Думал он... А она ведь – с глазком! Железка-то. С синеньким.

– Ты Заковырина знаешь? – подозрительно спросил её Кеша, отстраняясь.

Бронислава растерялась:

– Да у нас, вроде, таких и не было никогда... Заковырины, говоришь?

– Тьфу ты, его же весь край знает! – повёл он бровями от возмущения. – Ну – художник из Повалихи!

– ...Ну?

– Мой друг! – со значением произнёс Кеша.

Бронислава взглянула на него уважительно.

– Ну, про Хрумкина ты не слыхала, он городской. Флейтист! У него троюродная тётка в Греции прозябает. Сам он, конечно, бездарность, но по вопросам политики советуется... А Панина – знаешь? Фотокора из Шерстобитова?.. Вот, дер-р-ревня... Тоже – друг! Он меня знает.

– Ну и что ж теперь, – пожала плечами задетая Бронислава. – У моей племянницы муж тоже фотограф. В быткомбинате работает.

Но добавила помягче:

– Зарабатывают они, конечно. Ничего не скажешь, – и выплеснула талую воду из банки в ведро с углем.

– Эх, лучше бы в Шерстобитово уехал! – хлопнул он себя по колену. – Ну, до Шерстобитова денег не хватило. Здесь, в Буяне вылез, пр-р-роклятье.

– А что ж без денег-то поехал? – поразилась Бронислава.

– А-а. Жена выгнала. В чём был. Без копейки... У друзей, по ходу жизни, перехватил. Бутылку красненькой с одним на вокзале выпили – у меня ж копейки остались! Думал, с шофёром договарюсь по-хорошему: чтоб до Шерстобитова довёз. Нет, тут высадил!.. Но я его вычислил: скрытый кержак, между прочим. Судя по генетическому упрямству и врождённой непреклонности.

– Плохо без денег, – снова сказала Бронислава.

И отмечала, разглядывая его обстоятельно:

– Вон, как всего тебя колотун-то колотит. С пяток до макушки. Навроде припадошного ты прям... Промёрз до кишок. В чувыках в нарошинских. Ботинки, вон, на тебе холодные, как копыты. Ноги-то, поди, совсем околели.

– Ничего, не сильно. Они же всё-таки в газете! В «Независимой».

– А лицо-то наморозил, батушки-светы, – сокрушалась Бронислава. – В пятнах прям лицо, как у лишаястого... Ты барсучьим салом смажь! Обязательно. А то лентами кожа сойдёт. Чего тебе линять-то? Не уж и не змей ты всё же: человек.

– Я три дня н-н-н-ел! – зло и тонко выговорил Кеша.

Бронислава, неожиданно для себя, стала оправдываться:

– Я дома ем. Нету у меня тут... У меня дома всё. Я с собой не беру... А так-то – не жалко бы, конечно.

И ей стало неловко оттого, что она сытая и что пальто на ней – тёплое, хоть и не новое. А новое, синее, она берегла, чтоб не выцвело: надевала в каждую зиму раза по два, не больше.

Он повернул к ней озабоченное тонкогубое лицо.

– Слушай, заведи меня к себе! – с раздражением потребовал он.

Бронислава молчала.

– Заведи! – сердито повторил Кеша.

– ...Ну пошли. Вот этот уголь только прогорит. Новый получше намочу, засыплю ведро – и пойдём, – согласилась она.

И поудивлялась:

– Никого знакомых у тебя тут, значит, нету... В гостинице-то у них – три с половиной гостя кукуют. А тебе, значит, и узенького местечка не нашлось. На половичке, у порожка... Ну и пускай кукуют. Ничего! Им до утра тепла хватит. А в девять сменщик затопит. Не замёрзнут!

Задумавшись, она прикинула ещё раз: правильно она решила или нет? И вздохнула:

– А-а, и ладно. Что ж теперь...

Идти надо было через всё село. Кеша убежал вперёд в своей болоньке, крепко обнимая себя за плечи. Потом стремительный скрип его шагов резко обрывался. Кеша останавливался возле спящих бревенчатых домов и кричал Брониславе из темноты, сквозь собачий лай:

– Туда? Или туда?

– Прямо иди! – махала Бронислава.

И звонко наказывала вдогон:

– Да дорогу-то на обратно запоминай маленько!.. Ночью тебе, конечно, лучше одному не возвращаться. А то налево собьёшься – к старому руслу уйдёшь. Там – овраг на овраге, обрыв на обрыве. Ухнешь в снег-то с головкой, чего доброго, как глухарь. Выволакивай тебя потом оттудова утром, на вожжях... А правой возьмёшь – к берегу выскочишь. Ещё в прорубь в старую с концами угодишь. Под снегом-то лунки не больно видать! А там их полно пешнями пробито.

Она доходила до очередных тесовых ворот и останавливала собачий лай спокойным окриком:

– Трезорка! Не шуми. Свои идут. Не прыгай! Не акробатничай там зазря.

Со двора доносилось недоверчивое рычание. Потом звякала и брнчала цепь. И, наконец, всё стихало за высоким забором.

Но волна разноголосого собачьего лая неслась дальше, за Кешей следом, уже из других дворов, и набирала силу.

– Да ты что, Найда? С ума сошла на старости лет? Разголосилась на весь Буян, как дура молодая. Сбрендила прям, – сквозь ворота стыдила Бронислава следующую знакомую собаку. – Хозяев-то зря разбудишь. Они тебе что, спасибо утром скажут? Ну и Найда. Чудная.

– ...Свои, Урван! Спи давай, иди... Свои, свои.

И думала, глядя на стремительно удаляющегося чужого человека: с какого же он года – ровесник или маленько постарше?

За столом Кеша съел сковородку только что нажаренной картошки. Нашёл на плите полкастрюли супа – он был вчерашний – и быстро выхлебал, бойко стуча ложкой. Доел борщовую заправку из трёхлитровой банки. А потом очистил валяющуюся на столе луковицу и молча сжевал с хлебом и солью. Он долго и сосредоточенно смотрел в угол и сказал наконец с сожалением:

– Хороший был лук!

– Хороший, – согласилась Бронислава, прилежно разглядывая его модный, узкий в талии, пиджачок в полоску, не застегивающийся на отвислом животе, и вылинявшие коричневые брюки, и жидкий галстук с грязным кривым узлом. «Глаза-то вон, неприкаянные какие, – сокрушалась она про себя, потихоньку. – Тоски полно теперь в городах. И как собаки большие они стали, городские-то. Приползают такие, что – горе! Вон, хоть Козина возьми, который в ДК здесь устроился... Ой, горе горькое: и замыкался же там человек!»

А Кеша косился на колючие, словно щупальца зелёного осьминога, стебли столетника, раскинувшегося в раме окна, и на половики, сотканые из разноцветных мягких тряпиц. Они вводили через горницу в спальню.

– Что хороший, то хороший! – похвалила Бронислава лук. – Я у корейцев в городе никогда не беру. У них хоть и крупный, а сладкий. А этот – свой! С огорода. Душистый. А злющий! Как режу, так плачу. Плачу и плачу! Ну заливаюсь прям!..

– Выпить нет? – строго перебил её Кеша.

Бронислава нацедила в ковш молодой молочно-розовой браги, отпила сама и протянула ему. Он выпил всё до дна. А потом зачерпнул из фляги сам.

Ночь выдалась беспокойная. Кеша до самого рассвета то и дело выбегал во двор, накинув на майку болоньевую куртку, а возвращаясь, проворно шарил в кухонном столе и

стучал дверцами поочередно: тук, тук. Потом говорил Брониславе, забираясь к ней под одеяло и дожёвывая то корку хлеба, то прошлогоднее завалившееся печенье «Привет»:

– Ты – чудо, я лично таких не встречал, – он чмокал её в щёку. – Напротив тебя, Брошка, они все – калоши. Один писатель, француз, ты его не читала, сказал: «Яблоки в мире кинуты, каждое пополам. Знал свою половину только старик Адам!» Это, кстати, я сам написал. У французского немного по-другому было. Но у меня лучше... Да. И этот Адам, значит, половину свою – знал. В лицо. Перед ним женских лиц больше не было: он её, свою Еву – не помню отчества, ни с кем не путал, никогда. Даже другими женскими именами ни разу нечаянно не называл, представляешь?.. А остальные люди всю жизнь в поиске. Рыщут по свету, как борзые! Найти стремятся именно свою женьшень! Все с ног сбились. Но... без толку! Не везёт им, понимаешь? А мне одному – раз и повезло. Ты – моя половина. Точно-точно! Не смейся! Я тебя нашёл. Искал, искал... Долго искал! Вас ведь всё-таки тыщи... Это, выходит, я тебя искал... И – вот она! Только у Адама и теперь у меня. Исключительно у нас двоих. Представляешь?.. Ну, он – старик, Адам. А я – нет.

Довольный собою, Кеша задумывался. Но вскоре хватался за голову:

– И ведь сколько никчёмных, тягостных встреч я пережил! Со всевозможными пресловутыми женщинами... Сколько вынес жестоких любовных драм! Сколько чудовищных, душераздирающих романов преодолел! Жуть во мраке... А ведь я же – не бабник какой-нибудь оголтелый, правильно? Нет, серьёзно! Ты не смейся... И откуда я знал, что моя половина в такой глуши живёт? Моя – и в глуши? Парадокс!.. Я сразу, между прочим, понял, по глазам: она, думаю, топит... И ведь когда нашёл? Когда полностью отчаялся! Я, знающий законы жизни и сцены, презирающий людей и женщин, вхожу в кочегарку – темно. И вижу: сидит, в пальто! И – ореол, гадство! В триста ватт. На полкочегарки – вот такой ореол!..

Он собирался сказать ещё что-то, особенно важное и хорошее, но неожиданно вскакивал, торопливо совал босые ноги в калоши и выбегал снова. За окном проносился стремительный скрип его шагов.

Прикрыв глаза ладонью, Бронислава изумлённо и недоверчиво перебирала в уме только что услышанное, и душа её там, под ложечкой, тревожно томилась и будто летела. В свои сорок пять она и не знала, что есть на свете такие удивительные слова, и все – только про неё. Все – про одну...

Её Кочкин по ночам сроду не разговаривал. Даже не храпел. Разве только кричал, когда снилось страшное. Да и то неразборчиво...

Утром она наскоро погладила Кешину грязную рубаху и пожалела, что не догадалась постирать её ночью. Он проснулся сам, взъерошенный, помятый и отчего-то злой.

– Щи сварила, – улыбнулась ему уже припудренная Бронислава. – У нас, в селе, кого сварить? У нас по-простому: щи да каша.

– Где? – требовательно спросил он.

– Да в селе, – нараспев повторила она.

Кеша сморщился:

– Тьфу ты... Щи – где?

– А на плите! Где же ещё? Налью сейчас, – засуетилась она.

– С мясом?

– Ну!

Он успокоился и стал одеваться, не глядя на неё.

Из комнаты вышла Нина. Поднявшись на приступок, она сняла с печи валенки, молча обулась, надела пальто. Кеша прокашлялся.

– Дочь? – спросил он, приосаниваясь и приглаживая жидкие волосы ладонью.

– Нинок, это... Викентий, – неуверенно сказала Бронислава ей в спину.

– Кто-о-о? – обернулась Нина, нехорошо усмехаясь.

Бронислава и обиделась, и рассердилась:

– «Кто»! – вспыхнула она. – Молодая ещё, матери-то «ктокать»! ...Муж! Вот кто!

Нина накинула пуховую шаль, осмотрела Кешу молча, безо всякого выражения. Прежде, чем уйти, она постояла перед портретом, висящим на стене. Портрет был цветной и выпуклый. На нём рыжий пожилой амбал с закрученными усами хитро улыбался в сторону, скосив глаза по-кошачьи, и одна его щека была заметно румянее, чем другая.

Нина сняла отцовский портрет, медленно протёрла его рукавом пальто, нарочно нагледелась подольше ещё раз – и понесла к себе в комнату, двумя пальцами: за верёвочку. Потом прошагала в валенках к выходу, не проронив ни слова. Дверь захлопнула прилежно, без злости – словно тех людей, на которых ей надо было злиться, не осталось больше на свете и словно была она теперь, при живой-то своей матери, уже полная горькая сирота.

– И не поела, – расстроилась Бронислава. – Щи-то разве виноваты? Поела бы да и пошла. А там, сытая, сердись, сколько хочешь... Щи-то – они ведь ни в чём не виноватые! Ни перед кем.

– Завтра же подадим заявление! – с запоздалой угрозой прокричал Кеша вслед Нине, торопливо вскидывая палец. – Заявление в Загс!.. Документы им вечно предъявляй. Не верят они без печати ни во что светлое – и всё тут! На каждом шагу сталкиваюсь с этим чудовищным предрассудком каменного века. А сами – кто? Подумаешь, бездарность... Завтра же!

– А чего? – с угрозой в голосе подхватила Бронислава, подтягивая на ноге чулок. – У меня ведь в Загсе все знакомые. Вон, Нюронька-то Зайцева. Да ей только шепни! Разве она не распишет?

– Вот и распишемся, – успокаивался понемногу Кеша. – Я же здесь уже: нарисовался – хрен сотрешь... Наливай. Где тарелки? Погоди, я сам подам.

И, уже торопливо глотая горячие щи, рассудил:

– А что? Паспорт у меня, между прочим, новый. Без штампов. Представляешь, вышел весной из ресторана – удар по голове. Очнулся летом – парадокс! Денег нет, документов тоже. Снова всё выписывал. И трудовую, и паспорт... Да если бы и штамп был! Подумаешь, делов-то! Всё равно бы расписался... Я их хлоркой свожу.

– Живёшь ты... как попало, – пожалела его Бронислава. – Так же, Кеш, не живут.

– А я хоть как могу, – с удовольствием ел Кеша.– Ну, давай жить, как живут! Кто спорит? Вот, с тобой и начнём.

– Так я... Я что... Я колхозница. Мы же тут, в Буяне, сроду все по-колхозному живём. По-старинному. По-отсталому, – поскромничала Бронислава, и ей было интересно, что Кеша на это ответит.

– Дай на бутылку. Заму надо поставить.

– Заму – это обязательно! – одобрила она. – Чего ж с пустыми-то руками соваться? Оно и не хорошо. Правда, Кеш?

– А хочешь, вместе пойдём? Ты, небось, и в редакции ни разу не была, – засобирался он, надевая через голову свой жёлто-зелёный галстук и поправляя его с важностью. – Заодно и к этой твоей заглянем. Как её? К штамповщице. Если мне не изменяет память, к Зайцевой... Можно и вправду заявление подать. Это же солидней: приду устраиваться на работу – почти семейный человек! Приехал с серьёзным намереньем. А что? Перед вами – не кент с улицы! Я же всё-таки не хмырь какой-нибудь пресловутый, правильно?... Одно дело, когда тебя из автобуса выпнули. По ходу жизни. А другое дело, когда ты из него сам, с намереньем вывалился. С твёрдым.

– Как ты точно всё, Кеш, говоришь! – поразила Бронислава, всплёскивая руками от восхищенья. – Ну, пошли... Ох, прогуляю день! Голова, скажу, болела... Что ж теперь.

Она нахмурилась, обдумывая всё ещё раз. И решила снова:

– Ладно, зимой можно... Ничего! Не уборочная, поди-ка.

За воротами Кеша стал озираться по сторонам.

– Вот, дер-р-ревня, – ворчал он. – Вся вразброс! Порядок здесь, точно, не ночевал. В отличие от меня... Дома – и там, и сям. То поле, то буераки. Кошмар... Разве тут можно жить образованному человеку?

От всего увиденного он долго морщился, а потом вскричал с тоскою, жалея себя:

– Викентий! И куда ты попал?! Улицы – и те кривые.

– Да как же они прямые-то будут? – удивилась Бронислава. – Овраг, он ведь глубоченный. Его в половодье подмывает. Рядом с ним не выстроишься... А от оврага, вон там, луга заливные начинаются, на сколько вёрст тянутся! До самых озёр... Нет, уж кто в этих лугах по весне заплутал, тот не скоро из комаров-то вылезет. Там ведь не в каждом июле – лывы-то просыхают. Зато трава – ой, буйная! По макушку... Вот, подальше от лугов и строились. А тут – подальше от балок.

– ...И мост, вон, узкий. Вообще без перил! – вышагивая по накатанной дороге, указывал Кеша вперёд. – А если машина попадётся? Там же не разойдёшься! В овраг, что ли, прыгать? Заведомый парадокс! Костей потом не соберёшь... Вот, бездар-р-рность. Есть же, в самом деле, хорошие инженерные проекты! Надо будет подсказать.

Вдруг Кеша озаботился:

– Кстати, начальство какое-нибудь здесь поблизости живёт? В соседях?

И строго наказал Брониславе:

– Познакомь. Обязательно. Влиятельные люди, солидные родственники – мне важно о них знать всё. Обо всех. Подробно. Поняла? Особенно – детали!.. Мельчайшие детали мне вообще о многом говорят. В смысле психоанализа.

Бронислава сильно задумалась. Однако тут же махнула рукой:

– А! Щас познакомлю. Раз надо, Кеш... Я что? Разве я про детали не понимаю? И познакомлю, и расскажу. Всё-всё, как есть! Вот только по дороге кто попадётся – сразу.

Бронислава и сама посматривала по сторонам: не видит ли кто, как она идёт: не одна, а с Кешей. В новом, в синем, пальто. Не в валенках, а в кожаных сапогах. С опушкой. Тесные они, конечно, и скользят. Зато – нарядные.

И тут улица ожила. Сначала от Макаровых выскочил рыжий озабоченный кот. А за ним Лёха – мальчишка лет восьми. Кот прыгал в сторону, Лёха – в треухе, в коротких валенках и в толстом чёрном свитере, подпоясанном бельевой верёвкой, – ловил его красными от мороза руками, однако не успевал схватить и кидался на кота снова. И со стороны казалось, будто мальчишка пляшет вдоль улицы вприсядку.

– Вот! Лёха наш! – обрадовалась Бронислава, дёрнув Кешу за рукав. – Гляди, гляди.

Наконец мальчишка ухватил кота за хвост и, пригнувшись, поволок, как за верёвку, к дому. Кот сдался. Он покорно скользил на двух вытянутых лапах задом наперёд, прижав уши и не выпуская когтей. Но вдруг вывернулся, перемахнул через сугроб и взлетел рыжей молнией на высокий забор. Потом Лёха вкрадчиво звал кота снизу – «кис-к-с-кис!» – и лез к забору, проваливаясь в снег по пояс. А кот не боялся и фыркал на него с высоты.

– Лёх! Иди, с дяденькой познакомься! С городским! Он тут всеми интересуется... Соседями!.. Да что ты к коту пристал, как репей? – строго спросила Бронислава.

– А, ну его! – отвечал мальчишка про кота, не переставая лезть. – Шатущий! Мотался неделю по лесу. Пускай дома сидит. А то ищи его потом, ходи на лыжах целый день. В капкан ещё попадёт...

– Дурак он что ль, в капкан лезть? – не поверила Бронислава.

– ...У, с-с-собака! – обозвал мальчишка кота, запуская в него снежком, но не точно, а нарочно – мимо. – Расселся! Шатущий.

Кот слабо дёрнул ухом, стряхивая снежную пыль, и отвернулся, не собираясь покидать забора.

– А кто капканы-то ставил? Отец ли – кто ли? – продолжала Бронислава. – Кеш! Постой, не беги.

– Ну! – согласно мотнул головой Лёха. – Коробейников да он. Там лисы около птичника ночью ходили. Следов полно. А они капканы-то – волчьи поставили!.. Большие да тугие. Додумались.

– А тебе что? – удивилась Бронислава. – Не на тебя же капканы большие ставили: на лис!

Лёха от удивленья сел в сугроб, упёрся в снег голыми руками и онемел, не понимая, отчего Бронислава так поглупела.

– ...Да отрубят же лисе ногу! Она на трёх ускачет! – ругался и хмурился мальчишка из сугроба. – Только лис уродовать наставили, а не ловить.

– Ладно. Может, старая, двужильная, лиса-то попадётся. Как я. Тогда ей, точно, никого не перешибёт! – успокоила мальчишку Бронислава. – Зажмёт только.

– Говорил им! Не слушают. Талдычут оба: «капканы старые, там пружины ослабли». А я палку вот такую всунул – перешибло, аж перекусило! Напополам.

Озадаченный Лёха поморгал с досады, развязал, а потом затянул бельевую верёвку на животе гораздо туже прежнего, большим двойным узлом.

– ...Уж и не знаю: пойти что ль да все их разрядить? Капканы? – раздумывал и вздыхал он, сидя в сугробе.

Кот слушал мальчишку сверху, сощурившись и слегка поводя хвостом.

– Не разряжай. Наплюй на них! – велела Лёхе Бронислава. – Пускай лисы своими головами думают. У них ведь не только ноги есть. Правильно? Голова-то у них тоже для чего-то выросла! Вот и наплюй... Что ж теперь.

Довольная разговором, она нагнала скучающего Кешу и поскорее уцепилась за его локоть, чтоб не скользить.

– Дикость нравов! – отмечал он, между тем, часто оглядываясь на забор и поднимая ворот болоньки повыше. – Отсталость общего развития. И первобытное мышление.

Кот казался ему вылитым рыжим Кочкиным с выпуклого портрета и тем был неприятен. А мальчишка был неприятен своей привязанностью к такому коту.

– Дopotопная жизнь в вашем Буяне. Дикость, дикость. Непролазная дикость.

И Бронислава не поняла, про кого это он: кот дикий – или Лёха у Макаровых?

– Да чего там? Оба неслухи, – махнула она рукой на всякий случай, ступая в тесных сапогах мелкими шажками. – Этот Лёха-то лучше бы и в школу не поступал! Химичить там сразу научился... Вон, гляди, гляди, Кеш: ящики почтовые у нас по всей улице раскуроченные висят. Лёха в прошлом году повзрывал, как только грамотный сделался!.. А Иван – то Корбейников сварщик. Разозлился – страх: «Ну, в мастерской сварю ящик!.. Из восьмимиллиметровки. Тогда и поглядим, как он его взорвёт». Сварил. Не ящик, прям танк на забор-то повесил. Уж Лёха этот мимо него ходил! Кругами, кругами. Мимо ящика. Всю голову свою искрутил. Потом пропал, гляди-ка, аж дня на три. Опилки в сарае напиливал. День-деньской на всю улицу напильником скрежетал. Во все лопатки прям. Пока ни одной алюминиевой ложки у матери не осталось. Кеш, слышишь? Про соседей-то ты спрашивал?

– Слышу... – буркнул он на ходу.

– Ну и вот. Про них, значит. Ни одной ложки алюминиевой у Макаровых-то теперь нету! Из-за Лёхи этого. Нержавейками одними они теперь едят. И под вечер гляжу из своего окошка: чтой-то мальчишки на той стороне под черёмухой больно смиренно стоят? Напротив Иванова дома. Прямо подозрительно. Думаю, Зинаиде, что ль, в окошко стукнуть, пока не поздно? А уж там Иван Корбейников, сам, за шторкой своей не дышит прямо, в щёлку их караулит. Ну и я тоже – смотреть потихоньку стала. Ага: побёг Лёха к мальчишкам, под черёмуху, от Иванова забора. И взрыв как бабахнет! Мы и выскочили: Иван из своего дома – я из своего. Батюшки-светы! А мальчишки и не разбегаются: все с разинутыми ртами на ящик глядят: столбняк на них нашёл... Дымится, значит, этот ящик, а сам – целёхонький. Только был он раньше четырёхугольный, а стал – круглый как бочонок!.. И Иван Лёхе говорит: «Видишь? Раздуло. А – не разорвало» Лёха-то и смирился: «Вижу, – говорит, – дядька Иван. Твоя горка вышла». Ну, почтальон приходит наутро газету совать – что такое, ящик за ночь покруглел? Пузатый уж висит. Прямо ведро какое-то стал. Вроде – закоптёлое, с рыбалки...

– Хочешь сказать, перевоспитался? Этот юный бандит? – недоверчиво перебил её Кеша.

И дёрнул плечом:

– Не понимаю, о чём можно было с ним говорить, когда у него на лице написано: потомственный разбойник.

– Да у меня и Витёк такой же рос... – растерялась Бронислава. – А Лёха – он перевоспитался, Кеш! Он ящички-то больше пальцем не трогал... Поджиги только делать стал. И из большой рогатки завучу в форточку наладился стрелять. Бутылками взрывными... Иван рогатку сам смотрел. Сильно хвалил: царь-рогатку, говорит, Лёха-то придумал. На пружине она, и, говорит, коктейль Молотова хоть куда запустит!.. Ой, да это ведь не Лёха, а семь рублей убытку.

Кеша молчал. И Бронислава сначала посмеялась немного в одиночку, а потом застеснялась и помолчала тоже.

– ...Завуч-то у них был приезжий. К нашей жизни тоже, как ты, непривычный, – пояснила всё же она. – Галстук с заколкой с бабьей на себе носил. И он Лёху, как дурак, из школы исключил. На свою же голову. Так, веришь-нет – два раза пожар у себя в доме тушил!.. А третьего раза дожидаться не стал. Галстук покрепче заколкой застегнул да в город бегом сбёг. Вот тебе и детали все... Оно, правда что, съедешь: или Лёху в школе сам же восстанавливай – или сгоришь на корню.

Бронислава решила было, что рассказала всё подчистую:

– Ох, прохлаждаюсь...

Однако спохватилась:

– А теперь мортирку, что ль, какую-то поджигательную Лёха-то придумал? За пазухой носит... А вот какую, даже не знаю, Кеш. Я что-то и поглядеть не догадалась... Да он к Ивану Корбейникову в мастерскую бегаёт, ты у Ивана лучше спроси! Спроси-спроси. Иван тебе ещё больше наскажет. Деталей разных. Про Лёху-то нашего...

Кеша хмурился, с неудовольствием глядя на дальний притихший бор, на сонный, долгий полёт галки над заснеженным полем, на крепкие избы, срубленные из толстых дубов. Торцы старых брёвен на углах темнели, будто чёрные многие солнца наступившего белого дня

– друг над другом, в ряд. И чёрным отсвечивали стёкла маленьких редких окон, не пропускающих с улицы ни ветра, ни холода, ни лишнего взора...

Тишина вокруг была такой строгой, что Бронислава вслушалась в неё поневоле – и оробела. И поняла: зря она всё рассказывала. И смеялась нарочно нараспашку – тоже зря. Нехорошо так... Будто выскочила она на улицу, как невзрослая, как полудура какая, и наскоморошничала, не помня себя, в угоду какому-то прохожему, а теперь не знала, как же и зачем это вышло.

И всё вокруг было теперь ей в укор: в укор качался и трепетал уцелевший сухой лист на заснеженной берёзе, в укор молчали собаки за серыми тесовыми заборами, в укор желтел и тоскливо светился вдали голый глинистый обрыв балки, занесённый снегом чуть не доверху. И пасмурный край неба тяжело приник к тихому бору – тоже в укор... Недовольная собой – «...а зачем же я из кожи-то лезла?» – она поскущнула тоже.

– Ты говори, говори, – вдруг очнулся Кеша на ходу. – Я, между прочим, всё это время пытаюсь выяснить, что у тебя в подсознании. По Фрейду. Это псих такой один был – Фрейд. Иностраный. Ты его не знаешь. Он всех психов научил, как подсознание у нормальных людей контролировать. Меня, между прочим, тоже. Так что, продолжай. В том же духе.

Он важно прокашлялся.

– ...Да Макаровы – они сроду такие! – отмахнулась Бронислава, ничего не поняв про иностранца. – Порода ихняя такая... В гражданскую-то как только чужие на подводе въедут, в Буяне как остановятся, так под ними солома и задымится. А это уже Макаров дедушка молодой сверху, с сосны какой-нибудь, линзу большую навёл. Они и скачут назад, портки свои тушат: «Колдовское место, колдовское место!» Да небылицы потом про Буян везде плетут, на людей страх нагоняют...

И возмутилась:

– А какое оно колдовское?! У нас и церковь не закрывалась. Мы, помню, после каждого пионерского собрания всем звеном туда молиться ходили. Нам никогда не запрещалось!.. Везде церкви рушили, а нашу-то, небось, – пальцем тронуть побоялись! Оно самое чистое место поэтому и осталось – Буян... Тут раньше линзы из песка плавил, в Зыкиной балке, вот такие – по колесу прям... Гляди: вон там, в Шерстобитове да в Ключах, кержаки сами себя в молельных домах, как дураки, жгли. А мы, Кеш, – чужих. Завсегда – чужих только! ...По-моему, так оно и лучше. Правда, Кеш?

Он замедлял шаги, что-то соображая. Потом свирепо оглядел Брониславу. И ничего ей не ответил.

– Чужих, чужих... А я тут при чём?! – озлился он через минуту. – Хм, скрытая пугачёвщина. И поголовная разинщина. Впрочем, ты не поймёшь.

Бронислава растерялась, не зная, в чём же она виновата.

– Так это – ранешные люди жгли! – догадалась она, как его успокоить. – А при Советах-то уж такого не было! К нам и не лез никто – при Советах... Один, правда, председатель был присланный. Давно. Аж полгода у нас, гляди-ка, проработал... Пока его Нечай графином не убил.

Кеша сплюнул в сторону. Он не спрашивал больше ни о чём. Лицо его потемнело до чугунного цвета. И смотрел он теперь прямо перед собою, вышагивая особняком.

На всякий случай Бронислава вытянула руку из-под его локтя:

– Ох, прохлаждаюсь...

Теперь она шла рядом тоже как посторонняя. А он не замечал этого вовсе. «Вот тебе и детали все, – удручённо вспомнила она развёрсты́й часовой механизм, который чинил когда-то Кочкин на кухонном столе. – Детали-то – все, а шестерёнки – разные. Зубцы друг дружку не цепляют. Не совпадают зубцы, хоть тресни!.. Я ему про Ерёму, а он мне всё – про Фому. И ходу от этого нет никакого разговору нашему. И у всех кругом – ходики да ходики, а у нас с ним что-то одни неходики только получают: вот чего!»

Вдруг перед мостом Кеша остановился, будто вкопанный.

– Кеш! – обеспокоилась Бронислава. – Чтой-то ты как рыбьей костью прям подавился? Как парализованный стату́й ты сделался... Кеш! Да что такое-то?

Но тень мрачного изумления не сходила с напряжённого его лица.

– ...Там, – только и вымолвил он, не шевелясь.

На краю оврага, в заснеженном бурьяне, стоял заржавевший остов грузовой машины без колёс – с разобранным кузовом, но с целой кабиной без стёкол. Однако мотор её надсадно гудел, словно машина поднималась в гору. Было слышно, как переключаются скорости. Машина без колёс загазовала с воем! И Бронислава рассмеялась.

– Айда, – сказала она. – В ней Миня дурачок каждый день сидит. Играет он так! С детства мало говорит, а зато урчит точь-в-точь как машина, и не отличишь. Катается он! В машине в этой в своей. Здоровенный мужик, а, видишь... Ну, умора.

– Слушай! Тут нет другой дороги? – пришёл в себя Кеша.

– А это – аж по той улице обходить!

– Пойдём по той, – резко повернул Кеша.

– И на кой ляд?.. Миня-то – он же добрый! – догоняла его Бронислава.

– Откуда я знаю, что у него на уме? У вашего доброго? Меня уже одна ваша добрая чуть прикладом в гостинице не долбанула, – сердился и отмахивался Кеша, убыстряя шаги. – У них же интуиция как у зверей, у всяких неполноценных. Это с вами он – ничего, а чужого... Шандарахнет, по своей доброте, монтировкой. Или запчастью какой ржавой. Устроит парадокс, с последующей реанимацией. По ходу жизни... У меня один кореш был. Добрый тоже, кстати. А в психбольнице отлежал – и стал людей наказывать. За неправильный ход мыслей!.. Мысли там научился читать, представляешь? Его гипнозом перелечили. И он от гипнотизёра приёмов нечаянно нахватался: передозировка в него перешла. Прочитал одну мою мысль – до сих пор на башке шрам, – почесал Кеша под шапкой.

– А что за мысль у тебя там раньше была? – показала Бронислава пальцем на его шапку. – В подсознании?

– Да так. Обыкновенная. Подумал, как его с диагнозом выписали: и к чему теперь этому шизофренику – нормальная жена?.. Ну, она учительница была. У неё специальность такая: учить. И вот она его учила – день и ночь: круглосуточно. Не останавливалась. Его уже в

психушку везут, а она за скорой помощью по дороге бежит и вдогонку ещё его учит, сквозь железную дверь, с вытаращенными глазами. Не успевает изложить всё как следует, до конца. Специальность у неё такая – воспитывать. Призвание.

Он прошёл ещё несколько шагов, перебирая прошлое.

– И как это люди на училках женятся? – строго спросил он Брониславу. – Можешь ты мне объяснить?

Она засмеялась и пожала плечами.

– Всю жизнь потом в учениках живут! – поражался Кеша. – Или – на медичках?! Медичка – ещё хуже: она же в любое время тебя нужным препаратом отравит безошибочно, как специалист! По науке. Один неверный шаг с твоей стороны – и ты на том свете... Нет, никогда не подвергал себя такому возмездию. В вопросах женитьбы я вообще очень разборчив. По ходу жизни... А училка мне потом вот эту шапку шизофреникову насовсем подарила. На память. «На! – говорит. – И сгинь! С меня одного дурака достаточно». Я же, совершенно неотразимый, к ним жить пришёл, потому что у меня в ту зиму шапки не было. Нарисовался – хрен сотрёшь!.. Она глаз на меня, между прочим, сразу положила. Только разозлилась, что я её надежды на кухне не оправдал. Думала, я настойку левзеи выпить не догадаюсь. Из домашней аптечки. Рассвирепела до безобразия... А сама, между прочим, кокетничала после уроков как бешеная! Вращала передо мной своими глазными яблоками – просто напропалую. Причём обоими. Особенно за ужином... Но ты же меня знаешь!

– Пришли, – дёрнула его за рукав Бронислава. – Стой.

Кеша с недоумением принялся читать вывеску на бревенчатом доме, длинном, будто казарма.

– Как у вас, в Буяне, загсы... – близко! – поразился он, мрачней. Однако на крыльцо шагнул уверенно.

Они попали сначала в тёмный длинный коридор с певучими прогибающимися половицами и долго шли, как слепые: держась друг за друга. И поворачивали в кромешной тьме дважды или трижды. Наконец Бронислава и Кеша нащупали дверь, обитую дерматином.

В Загсе никого не было. Только заведующая стояла на столе и прилаживала над окошком гардины с новыми негнушимися шторами. Бронислава заглянула сначала, а потом шепнула Кеше через плечо, в темноту коридора:

– Ч-ш-ш, тут постой. Я одна пока... Уйди только с этой половицы – скрипит.

Зайцева обернулась, не опуская рук:

– Бронь? Ты что ль? С кем ты там толчешься?

– Да вот, говорю: ну и Анна Павловна, красоту наводит. Весёленький матерьяльчик, это почём такой? У нас выкидывали? Прямо весёленький.

– Слышь, ты убери-ка мне с окошка «Ваньку мокрого», а то ведь точно занавеской поломаю...

Бронислава перетащила тяжёлый горшок с цветком на стол.

Полюбовавшись шторами, Зайцева сказала:

– Всё! – и тяжело спрыгнула со стола.

– Гляди, как он у тебя хорошо растёт, – кивнула Бронислава на разросшийся огромный куст, усыпанный сплошь алыми мелкими цветками.

– Не скажи! – посуровела Зайцева. – Совсем доходил. Думала: не жилец. Домой брала да водой, которой мясо мыла, поливала. Дух от земли, правда, тяжёлый шёл. Зато смотри, как окреп: пальцем ткни – брызнет. А бутончиков-то, видишь, сколько набил? Цветёт всю зиму без роздыху.

– Тебе смородины кручёной, Нюр, надо? Я много накрутила. А вчера банку достала да про тебя вспомнила. Думаю, Анна Павловна сегодня совсем без смородины сидит.

– Ох, не говори. У кого огороды в низине, смородина прям совсем не уродила. Вода-то в этом году когда сошла... Ну, оно ведь с трёх сторон – Обь. Считай, полуостров. А раньше, говорят, вовсе остров был, – завздыхала Зайцева. – Как же тут низины не зальёт? При половодье-то при большом?

– Поздно, ой поздно, Нюр, вода спала! А меня, прям с весны самой, мужик один всё сватал...

Зайцева непонимающе заморгала светлыми ресницами.

– Я на базаре ведро чёрной брала, – сказала она наконец. – Вареньем переварила... А кручёной – нету.

– Ну, я тебе пару банок дам. Заходи.

– И что за мужик?

– Да ты не знаешь. Он в каждом письме сватал, а я не соглашалась. Думаю, кто их, городских, знает, – отщипнула Бронислава с «Ваньки мокрого» пожелтевший листок, заботливо отыскав его у самых корней. – У нас и моды-то здесь такой нету, не за здешних выходить. За озёркинских ещё – так-сяк, а уж за шерстобитовских – нет. Не говоря про городских... Ну, вот он щас ко мне приехал.

– Батюшки! – взмахнула руками Зайцева.

– Он уж на работу устраивается. В редакцию. У нас работать будет, – похвалилась Бронислава со скромностью. – Обещали ему.

– Ну?!! – не поверила Зайцева.

– Ага. Говорит: айда распишемся, на этой работе нельзя не по закону жить.

– А ты что?

– А что я? Думаю, вот: с Анной Павловной посоветоваться надо. Она законы знает... Прям не знаю, расписываться что ль? Или погодить? Всю голову себе изломала. И вдоль – и поперёк.

Зайцева подпёрла веснушчатую щёку рукой, строго сдвинула густо накрашенные брови:

– Ну, он тебе-то как? Самой-то?

Бронислава вздохнула, потупила глаза. Потом выискала привядший крохотный цветок. И сорвала прилежно, неторопливо:

– ...Нравится, Нюр. Что нравится – то нравится.

– Ну а кого же тогда советоваться? Город из-за тебя, гляди-ка, бросил!

– Он тут, в коридоре ждёт.

– А-а-а! – в изумлении открыв рот, Зайцева тут же зажала его ладонью и стала опасно поглядывать на дверь сквозь цветущий куст.

– А я ему говорю: как щас Анна Павловна скажет. Я что думаю? – зашептала Бронислава, пригибаясь к столу. – В один день, думаю, расписаться-то лучше – без шума. Правильно? Потихоньку.

Зайцева отряхнула извёстку с кофты, поправила жёлтые кудри над чёрными бровями и немного подумала.

– Зови! – хлопнула она ладонью по столу.

Но дверь распахнулась тут же, до всякого приглашенья.

– Что, лампочку вернуть нельзя, в преддверии семейной жизни?! – сердито сощурился Кеша на свету. – Загс называется... Тоже мне, ботаники. Держат людей как в погребе! Без всякого фотосинтеза, проклятье... Тут, в вашем коридоре, самый цветущий жених поблекнет. По ходу жизни... Вот, дер-р-ревня. Пока не подскажешь...

Зайцева сначала широко раскрыла глаза, а потом отрезала:

– Там у нас – женихи временные. А постоянный – вот он, раскудрявый наш: «Ванька мокрый». Весь на свету. Нам этот – главней. А всякие залётные перебьются. За пять минут не облезут... Облезлые тем более, – прибавила она с вызовом.

– Какие пять минут?! – взвился Кеша. – Я, образованный человек, поэт, художник, должен битый час торчать в темноте чиновничьих лабиринтов!.. Проклятье. Другой бы художник, между прочим, давно сбежал. Из вашей тьмы веков. Если бы дверь, конечно, нашёл... Особенно, если бы магазин рядом был.

Зайцева между тем придвинула к нему бумаги.

– Ну, шутник, – неодобрительно сказала она про Кешу. И задумчиво заметила, разглядывая его с ног до макушки. – Ладно. Пускай пошутит. Напоследок. Минут пятнадцать ему осталось. Ты шути, шути.

– Какие тут шутки? – обиделся Кеша. – Западня у вас, а не коридор. Без окошек, без дверей. Загс сконструирован по принципу мышеловки! Выскочить невозможно... Впрочем, вам не понять.

Бумаги он решил заполнять сам. И долго с оторопью смотрел в паспорт Брониславы.

– Старая, что ж теперь! – весело сказала Бронислава, стоя за его спиной. – Ничего. Не намного... Ты, вообще-то, старей выглядишь.

– Уж это точно: не больно-то раскрасавец. А она у нас – ягодка опять, между прочим! – со смехом поддержала Брониславу Зайцева.

Но Кеша от «ягодки» не развеселился. Он писал всё медленней, хмуро выводя полупечатные буквы. В кабинет, между тем, вошёл, пригибаясь, огромный старик – в новых негнущихся валенках и в новой чёрной спецовке. Фёдор Фёдорыч, бывший конюх, был теперь здесь истопник и сторож, и четыре дня назад получил со склада всё ненадёванное.

– Доброго здоровьица, – степенно поклонился он Брониславе, коротко глянув из-под всклокоченного чуба. Пегие с сединой, волосы его дыбились своевольно и жёстко, высокие скулы были обветренными и шершавыми, а узкие глаза – насторожёнными, как у лесного чуткого зверя: они горели уверенным, беспощадным светом.

– И вам не хворать, – поклонилась ему Бронислава.

– Витёк чего пишет? – сдержанно спросил старик из-под потолка, оглаживая бороду, торчащую во все стороны подобием сухого терновника.

– Пишет, служит.

– Поклон ему от меня черкни. Мол, Фёдор Фёдорыч стараться наказывал, – распорядился старик со своей высоты. – Отпиши: буянские завсегда веселей всех команды исполняют – и завсегда в живых остаются! Запоминай, дочка. Помереть, отпиши, никогда не торопись! Потому: помереть – дело не хитрое, и мы к нему – не способные. А ты всех победи, да без царапины сам останься – вот где ты молодец умный выйдешь! Молодец-удалец. Да... Буянские – мы все с пелёнок так приучены. Вот то-то и оно. У нас больно пьющих-то нету и сроду не было. И мы из-за этого всегда в силе! И в силе, и при ружьях, и в полном весёлом уме... Отпиши, дочка, в точности: не забудь.

От диктовки старика Кеша морщился, резко вздыхал, и ручка его то и дело зависала над казёнными бумагами в воздухе, будто в недоумении.

– Отпиши! – вдохновлялся старик всё больше. – Пускай враг помирает, тудыт его растудыт! Потому: вражье это дело – помирать, а – не наше! Епонец ли, китаец – нам разницы нету: любой пускай наскочит! И мы его тут грамотно упокоим. Немца кто от Курска поворотил? Отпиши: буянские. Пока цельный полк наших не пригнали!.. А без нас бы – кого?..

Фёдор Фёдорыч махнул рукой и стал сидеть без дела на стуле, под картиной, оглаживая свою жёсткую, разветвлённую бороду с важностью.

– Видала ты нашу картинку? – заскучав, спросила Зайцева Брониславу.

И указала пальцем:

– Вон она висит. Художник, который все колдобины здесь срисовал, лет десять назад приезжал, – помнишь что ль? Тоже – художником работал, как твой... Ему дядя Федя про молодость рассказывал. И вон, гляди-ка, как он его молодого раскрасил, дядю Федю нашего. Протянул.

Зайцева, Бронислава и полуобернувшийся старик полюбовались на картину вместе. Там исполинский дядя Федя, устремившийся с Буянной горы вниз, рвал на себе белую рубаху. А две дюжины мелких румяных бабёнок в цветных полушалках сдерживали неистовый его порыв – висли на руках гроздьями, болтая в синем небе ногами, и не доставали щегольскими красными сапожками оттаявшей земли.

– «Буйство Фёдора по весне!» – с гордостью огласила Зайцева название картины. – Говорят, такая же в музее где-то прибитая есть. Только там вместо баб у дяди Феди на руках хомуты висят. «Фёдор с хомутами» называется. Не помнишь, в каком музее-то, дядь Федь, ты на стенку прибитый висишь?

– В Сквык-твык-каре, вроде? Забыл я... Это что! Если б он про Халхин-Гол нарисовал! Я ведь ему про Халхин-Гол толковал, а он... Про это у нас и Миня дурачок наваракет... Чугунок-то с картошкой ставить на плиту иль погодить? – спросил старик у Зайцевой. – А то у нас, на Халхин-Голе, разведёшь, бывало, в ямке костерок, а большой – нельзя: степища!..

– Погоди, дядь Федь, – отмахнулась от него Зайцева, потому что Кеша кончил писать и сидел теперь, заносчиво отвернувшись от Фёдор Фёдорыча и нервно качая ногой.

– ...Твой что ль? – спросил старик Брониславу, глянув на Кешу мимолётно и хмуро, из-под низких лохматых бровей. – Ишь. Барбос.

– Нет ещё! – улыбнулась она Фёдор Фёдорычу. – Ничей пока что. Не занятый.

Кеша по-прежнему не обращал на старика своего внимания. Только ещё выше вздёрнул подбородок и поправил кривой узел галстука.

Покашляв для солидности, Зайцева сверила написанное с паспортами. Потом в мгновение ока достала из ящика стола четырёхугольную печать,дохнула на неё – и вдавила в Кешин паспорт с недюжинной силой.

– Как?! – вскричал потрясённый Кеша. Он пристал со стула. – А месяц думать?!!

Но строгое покашливание Зайцевой заставило его сесть снова.

– Вы сюда думать ехали или жениться? – постучала она по столу кулаком. – Тут вам – учреждение, между прочим! До сорока лет он в городе не надумался, видите ли. Во всех удобствах в своих.

Зайцева прицелилась – и хладнокровно шлёпнула печать в паспорт Брониславы.

– Ну, жениться!.. Приехал! Жениться! По ходу жизни! – взбеленился вдруг Кеша. – Как вы могли предположить... И возмутительно! Просто возмутительно... Я что, не понимаю? Это же солидней: женатый человек и всё такое! Есть жена, дом... Это вам – не кент какой-нибудь с улицы!.. Но у меня же чистый документ был! Без штампов!.. Всего месяц. Был. Чистый!..

Фёдор Фёдорыч слушал, почёсывал то одну, то другую ногу, натёртую жёстким краем неразносившегося валенка, и бормотал что-то себе под нос, неодобрительно косясь на Кешу. Впрочем, долетало временами и нечто внятное:

– Хох ты, какой! Барбос... Фу ты, ну ты... Женишок!.. Женишок. С вершок. Выбил хреном потолок.

Кеша схватил свой паспорт со стола и принялся изучать печать как следует.

– ...Жирная какая-то! – сказал он с отвращением.

– Что-о? Не нравится?! – грозно удивилась Зайцева.

– Да нет, нравится, конечно. Нравится... Только печати у вас тут... слишком жирные! – упорствовал он. – Разве можно порядочным людям такие штампы всобачивать?! Был новый паспорт, а теперь – печать, чуть не насквозь. Зарегистрировали, называется. Прямо навьлет.

И Фёдор Фёдорович рассудительно заметил, сидя под картиной и расправляя усы:

– То-то. У нас места строгие, тудыт-растудыт. У нас не забалуешь.

А потом повторил гораздо громче, нарочно для Брониславы:

– Ничего, дочка. У нас не забалует! Мы ведь там, на Халхин-Голе... Воткнул, я помню, в него штык! А он – верещит, как заяц! Как заяц, верещит.

Фёдор Фёдорович, воодушевившись снова, тут же встал во весь свой исполинский рост, мотнул под потолком косматой головой. И сначала показал, как он воткнул штык в поверженного наземь врага, с полного большого и аккуратного замаха. А потом поверещал тоненько, – «и-и-и!» – изображая японца и щурясь для сходства.

– Ой, дядь Федь, иди картошку вари, – отправила старика Зайцева, затыкая уши.

И пожаловалась Брониславе:

– Я этого японца слышать не могу! Мне от него прям каждый день в груди тошнёхонько.

Старик неохотно двинулся к двери в негнущихся своих валенках.

– Какая ты старшина выросла, Нютка, – ворчал он на ходу и косился на Зайцеву. – Хох! Тебя на передовую – ты всех супостатов, Нютка, щас построишь по ранжиру и веником угонишь до самой границы. Дай тебе волю – две возьмишь... Ты бы лучше теперешних генералов, Нютка, поучила! А то они нынче: не рыба, не мясо – во рту мухи пасутся, тудыт-растудыт.

– Всё. Поздравляю. Особенно вас. Супруг! – сказала Зайцева Кеше, не пожав его протянутой руки.

Помедлив, он сунул паспорт в карман и вышел вслед за стариком, независимо приподняв правое плечо.

– ...Не Сквык-твык-кар – Хантыйск-Мансийск! – раскатисто доносилось в приоткрывшуюся дверь из дальних глубин тёмного коридора. – А кто поворот войне сделал? Вот то-то и оно: богатыри – не вы! Тудыт-растудыт...

И оглушительный грохот уроненной стариком печной заслонки сошёл сначала на пляшущее дребезжанье, а потом – на долгий звон, который затих, наконец, под грозный стариковский окрик:

– Куда из рук скачешь? Распрыгалась, дурында. Стоять! Смирно!..

Зайцева всё это время с жалостью смотрела на притихшую Брониславу, сидящую по ту сторону куста. Но едва Нюронька открыла рот для прямого и беспощадного разговора, как Бронислава встрепенулась:

– У Фёдор Фёдоровича бок-то у коровы – хорошо зажил что ль? – озабоченно спросила она.

– ...У Вислы? Давно уж зажил, – не сразу откликнулась Зайцева и принялась убирать бумаги в шкаф. – Этот, бык-то у них, Одер, ещё в августе её рогом пропорол. Вислу... Ну, его, видишь, Хасан напугал. Кинулся, как дурак, залаял. Не на цепи был. Одер и понёс. С места да в карьер. А Висла как раз в стойле сено жевала. Ну и шарахнулась. На одеров рог прям... Я так от дяди Феди слыхала. А другие говорят: Одер, вроде, Хасана лягнул, а Хасан и не виноватый на солнышке лежал. Потом уж залаял. Не знаю... Дяди Фебина сношонка всё креолином мазала, рану Вислину. Чтоб мухи не наплевали.

– А я когда узнала, так я за Вислу переживала! Прям страх, – торопливо засокрушалась Бронислава. – Ой, Нюр. Жалко её было, никаких слов нету. Корова-то – ведерница!.. Креолином, говоришь? Не марганцовкой? Вот, помогло, значит.

– Быстро, Бронь, помогло. Только молоко с месяц креолином пахло. Хасану его выливали... Она уж стеленая ходит, Висла! Доить бросили.

Зайцева запирала теперь ящики и створки шкафа, часто пощёлкивая жёлтым ключом.

– Ну? – удивилась Бронислава, неотрывно следя за её веснушчатými проворными руками. – Рано как... А Одер что ль Вислу покрыл? Или в стаде она огулялась?

– Он.

– Гляди-ка, подпустила она его, – удивилась Бронислава. – После этого... Простила, значит. Одера-то. Висла.

– А куда ей деваться, в одном дворе? – снова уселась за стол Зайцева. – На развод, что ль, с Одером подавать?

– Ой, точно, Нюр! – поспешно согласилась Бронислава и покивала сочувственно. – Им, коровам, так! Им не любо – да смейся.

Зайцева сосредоточилась и сдвинула брови, во второй раз настроившись высказать Брониславе всю свою правду – про такое замужество. Но Бронислава и тут опередила её с ловкостью:

– Он как, Фёдор Фёдорович, Вислиного телёнка-то назовёт? Придумал что ль?

– Ну... – кивнула Зайцева и сбилась с основной мысли. – Придумал. Если тёлку – Эльбой.

– А бычка? – ещё больше оживилась Бронислава.

– Бычка? ...Прут, вроде, – нахмурилась Зайцева.

Они помолчали.

– ...А я гляжу: чтой-то Хасан у них всё на цепи да на цепи? А это значит, после того случая, – поняла Бронислава.

– После того. Не спускают они теперь Хасана. Разве только на ночь. Доверие он у Фёдор Фёдорыча потерял.

– А-а-а... А свинья-то пятнистая, здоровая у них ходит?..

– Свинья – Шпрея.

Они помолчали снова.

– Ну, ты, Броньк, и нашла, – не выдержала и посочувствовала всё же Зайцева. – В мужья-то себе. Одет как стрекулист. А уж купоросный!.. У нас хоть мужики как мужики. И спокойные и при силе. А этот... Судорга и судорга. Нет, на лицо он, конечно, ничего. На артиста какого-то похожий. А так... уж больно городской. Ручки-то – слабенькие, коротенькие. Брюшко-то – вислое... Пряма кенгуру.

– Хватит вам! – вдруг решительно остановила её Бронислава. И, промахнувшись, вместо отжившего цветка оборвала хороший. – То барбос, то кенгуру. Заладили!.. Пускай кенгуру, зато моё!!!

– Ну ты приходи, Нюр. За смородиной, – тут же сменила она тон на самый скучный. – Сумку только большую возьми. Чтоб две банки встало.

– Да ладно! – вздохнула Зайцева, перетаскивая «Ваньку мокрого» на подоконник, подальше от Брониславы. – Чего уж – две. Если б ты за нашего, за путёвого выходила. А за такого-то... и одной банки много: некуда девать.

– А вот это мы поглядим! – Бронислава с фасоном понюхала сорванный непахнущий цветочек. – Охх, продешевишь, Нюрк! Чую – точно продешевишь!!!

И растёрла его накрепко, а потом похлопала, стряхивая ладони:

– Ну, побегла я, Нюр. Всё!.. А то задубел там, поди. На холоде. Викентий-то. Нам ещё к нему на работу заскочить надо. В редакцию. Ох, прохлаждаюсь я нынче, а у самой – с позавчера с самого половики не трясённые.

– Перетрясёшь дотемна, – неприветливо заметила Зайцева. – Лежат они и лежат. И никуда они из дома не убегут! Половики. Не как дурные мужья... Ладно. С новым счастьем, Бронь.

– А что? – приосанилась Бронислава и широко развела руками. – А я от своих счасток и не отказываюсь!

Из загса Кеша повёл Брониславу в редакцию. Бледное солнце, похожее на луну, забывшую уйти в ночь и заблудившуюся в дневном тяжёлом небе, слепо глядело сквозь серую недвижимую пелену. И заснеженная земля была теперь ярче и светлее небес. Она освещала снизу пасмурные, нависшие над селом, облака-сугробы.

Брониславе было странно ступать по светящемуся снежному пространству и немного неловко, как если бы она шла по нечаянно упавшему под ноги небу. Но низовой ветер уже начинал полегоньку сметать снег на дорогу, расчищенную бульдозером. И мелкие языки белого

пламени стлались по ней, рвались куда-то и угасали. И быстрые призрачные тени сновали за ними, исчезая.

«Расписаная иду», – думала Бронислава с осторожностью, чтоб не сглазить. И вздыхала: «Уж не знаю: к худу ли, к добру ли, а всё ж – расписаная! Не так себе».

Кеша держал её под руку, будто полусонную. Ему давно хотелось идти быстрее, а она с непривычки двигалась теперь в тесных сапогах совсем короткими, частыми шажками.

– Хм...– нетерпеливо поглядывал на неё Кеша. – С китайской императрицей я бы добрался до районной газеты гораздо быстрее, чем с тобой.

– Да сапоги... Пряма сами ездют, Кеш, во все стороны. Даром что на заказ шитые, – оправдывалась Бронислава, не прерывая своего тщательного, прерывистого движения по ускользающей из-под ног земле, похожей на небо: туп-туп-туп... – И надела утром, они капли не тёрли. А теперь усохли что ль? Даже не знаю.

– Не надо было надевать. Если тебе их скроили из шагреновой кожи, – заметил Кеша весьма неодобрительно.

– Нет, Кеш. Они из телячьей. У нас Корней Платоныч-то из дерьма не шьёт. Даже не берётся.

Чтобы двигаться побыстрее, она сама уцепилась за Кешин локоть. И всё рассуждала:

– Была бы я в валенках, за мной бы никакая императрица не угналася. А если ты, Кеш, по-другому считаешь, ну тогда и женился бы на ней. А не на мне.

– Как-нибудь в другой раз. Непременно! – пообещал он.

И завздохал:

– Эх, знал бы Хрумкин, как быстро я погружаюсь в тину бессмысленного супружества, в очередной раз... Снова потянула меня женщина за собой, на дно семейной жизни! Он мне предрёк, между прочим, что как художник я состоюсь в той самой мере, в какой отброшу от себя всё, кроме своего творчества. Флейту изо рта вынул и предрёк... Кстати о погружении: что ты про своего сына говорила? – вдруг озаботился он.

– Когда? Я и не успела... А кого говорить-то? Ты его на карточке видал. Над календарём она висит. С автоматом которая.

– И что с того?

– С которого? – не поняла Бронислава.

Она поправила шаль под подбородком, перевела дух и заулыбалась в ожидании ответа.

– ...Ну и что ты молчишь, как бешеная?! – не выдержал он. – Должен я иметь представление, в конце концов, кто у меня в родственниках обнаружился? По ходу жизни?

– А-а,– махнула рукой Бронислава, двинувшись снова. – Витёк-то? И учился, вроде на четвёрки, а по поведению... Я, Кеш, за один карбид пять раз в школу вызывалася. Не говоря про калоши. Про директорские. К полу гвоздями прибитые... Ну, он, директор, по лыжным гонкам классы неправильно судил. Домой уж было собрался, чосонки свои белые надел, в калоши

ноги-то сунул. Да и упал в них, в прибитых, в своём кабинете, вниз лицом. Плакал. Даром что буянский... Вот горе-то было! Витёк потом его даже пожалел. Сам прощенья просить пошёл. А директор-то заплаканный как упёрся – так и не простил. На педсовет его вынес, Витька. Ну, пока они голосовали там, за двойку по поведению, Витёк тогда всю одежду учительскую через петельки на один замок, на навесной, нанизал да на ключ и запер. На вешалке прям. Пола к поле... Учителя эти толкуются после педсовета, а ни одно пальто от другого не отцепишь. И ключа нигде нету. Им – хоть каруселью, спина к спине, домой нараспашку иди: вот как наголосовались... Сторожиху ведь к нам домой присылали. Передали с ней: двойку на тройку Витьку исправили, чтоб он ключ щас же отдал. Вот, в одиннадцатом часу ночи польты-то свои и разомкнули... Ну, разве они, учителя, не понимают? Дети, шалют помаленьку... А зато, когда Нина училась!..

Но Кеша, не дослушав, побежал вперёд, натянув вязаную шапку до глаз. Он похлопывал себя по плечам, и Бронислава едва поспевала за ним следом. Тогда она отстала нарочно: «И что мне теперь торопиться?» Потом отряхнула полу пальто просто так, для красоты. И сощурилась ему вслед: «А-а, пускай, расписанный, хоть в какую сторону бегёт! Никуда не денется. Пошарашится разве только, а уж – всё: на кукане, считай, как судак... Может, Нюроньке ещё мешочек земляники сушёной дать? Попозже? Они ведь в этом году на просеку, вместе со всеми, не ездили. Не собирали. Зайцевы».

И решила окончательно, пошевеливая в сапогах пережатыми пальцами ног: «Радёхоньки будут небось – отдам! Правильно. Пускай пирогов с земляникой напекут. Да и едят пускай с медком. За наше здоровье!»

Сама с собою, Бронислава стала вспоминать на тихом ходу, как летом к ним в Заготзерно заглядывала одна из редакции этой, свиристелка. Дяди Паши Струкова племянница. Сама – плоскодонка, а вся в обтяжку. Говорила только с начальством, да бойко так... Иван Павлыч и рта не успевал открыть, а она уже всё за него скажет и в блокнотик это самое всё запишет. «Они там вон какие! В редакции-то. Модней городских. Незамужние все, небось, – с тоской думала Бронислава и чувствовала, что волнуется. – Хоть бы уж не устроился, что ль...»

Редактор из командировки ещё не вернулся. Кеша усадил Брониславу в комнате с табличкой «Секретариат», а сам побежал в гараж искать зама. Брониславе было жарко. Она расстегнула полы нового пальто и сидела, неудобно сдвинув для приличия колени. В комнате пахло лежалой бумагой. Забегали люди, не румяные, курящие без остановки, и стояли вокруг женщины тесно, как маринованные огурцы в банке. Говорили непонятное – про квадраты, про шапки, про собак – и выбегали пулей.

На Брониславу никто почему-то не смотрел, хотя Бронислава всякий раз выпрямлялась. Глянула только плоскодонка, но мельком. «Ещё сильнее, гляди-ка, обтянулась, – неодобрительно поджала губы Бронислава, проводив её долгим пристальным взглядом. – ...Бедняжка. Совсем её, значит, никто не берёт, если уж так-то вся выщелкнулась».

Полная солидная женщина с гладким лицом сидела за столом и чертила по железной линейке цветными карандашами косые кресты на плохой большой бумаге. И Бронислава не поняла, то ли это Сашки Летунова тётка – тех Летуновых, что на курмыше живут, то ли сватья Макаровых.

Женщина швырнула карандаш на стол. Ей было скучно, и людей, которые всё время забегали и тревожили её, она за это не любила. Бронислава видела, что ей хотелось думать про что-то своё, не очень весёлое. Огромная песцовая шапка была нахлобучена у женщины по самые глаза. «В шапке сидит, причесаться не успела, – поняла Бронислава. – А муж – пьёт или больной». И ей стало немного спокойней.

«Надо будет Зинаиду спросить, кто муж-то у этой бабы, – наказала она себе, чтоб не забыть. – И если только он её бьёт, пускай мыло ему в баню даст. Которым покойника обмывали. Один разок он руки этим мылом, покойничким, намылит – они у него и не поднимутся. Замахиваться, конечно, будет, да прыгать, как петушишка, а уж ударить – нет... Пряма сейчас её про мыло научить? Иль погодить маленько?»

Но тут дверь распахнулась во всю ширь. В секретариат по-хозяйски влетел Кеша.

– Нет зама в гараже! – сказал он, и в комнате запахло водкой.

Волна запаха дошла до женщины, она сморщилась, помахала перед носом рукой, но промолчала.

– Рассказ правили? – враждебно спросил женщину Кеша.

Та протянула ему соединённые скрепкой листы, потёртые на сгибах. Кеша подозрительно осмотрел первый лист, второй, третий, швырнул их на стол и сказал женщине, подбоченясь:

– Не смейте править мои вещи! Этот рассказ без правки передавала радиостанция «Юность»!.. Вы зачем вот тут начеркали? Вот тут? Тут?.. Вы что, того? – он покрутил пальцем у виска.

– Ах, скажите пожалуйста! Писатель к нам заявился! Свет в массы принёс! – пронзительно закричала женщина. И скука сошла с её лица. – Как мы вас тут ждали! Все глаза, считай, проглядели.

Бронислава увидела, что ругаться ей нравится гораздо больше, чем чертить. И передумала говорить про мыло. «Зевластая, – косилась она на женщину. – Эта и без мыла с кем хочешь справится. Лучше, чем с мылом... Там и мужа-то, поди, уж никакого нету, у такой зевластой. Убёг он бегом! И дом у неё, поди, давно – бессобашный. Безмужний дом стоит: вот что!»

– Мы вообще не притрагивались к вашему материалу! – с удовольствием кричала женщина. – Это не наша правка – вы его уже с правкой принесли! А мы ваш рассказ ни в каком виде не берём! Везите весь свой бред обратно в город! Печатайте его у себя. Забирайте его отсюда сейчас же!

Она с силой двинула листы по столу от себя – к Кеше. Тогда, пряча их за пазуху, Кеша пообещал с угрозой:

– Ну, вы за это ответите! Я, между прочим, не одного начальника сместил! По ходу жизни. За всяческое исполнение своих низменных обязанностей... Если мне не изменяет память, вы ушли вчера с работы раньше на пятнадцать минут, между прочим! Хотя я с вами ещё пытался разговаривать насильственным путём, вы махали на меня шапкой, как бешеная, и ещё непочтительно кричали мне в спину всякую дребедень: про птиц без запаха, про цветы без голоса!

Договорить ему не удалось. Потому что женщина спросила напевно:

– Чего-о? – и встала из-за стола неожиданно легко.

Схватив оторопевшего Кешу за галстук, она вывела его, как овцу на верёвке, в коридор, а потом оглушительно захлопнула за ним дверь.

– Мне с утра нынче нервы мотают, – пожаловалась женщина, утирая лоб батистовым платочком, вытасканным из-за рукава. – У нас и так нервы шпагатные нужны, на всех планёрках. А тут ещё этот свалился. Незапланированный.

– Что ж теперь! – поднялась со стула ни капли не расстроенная Бронислава. – Небось, и в других местах работа есть. Получше вашей. Доброго здоровьичка вам.

– И вам не хворать! – охотно попрощалась с ней женщина.

Через минуту Кеша спустился вместе с Брониславой по высокой, как на корабле, занесённой снегом лестнице.

– ...Бездар-р-ность! – возмущался он, приостанавливаясь на ступеньках то и дело. – Дремучая женщина – этот ваш ответсек: жуть во мраке. Как только приехал, говорю девицам в редакции с самой обольстительной улыбкой. С неотразимой, между прочим: «Кто из вас готов накормить меня по высшему разряду?» А ответсек эта, эта Махно пресловутая, шапкой замахала как ненормальная: «Ха-а-ха! Тут у нас птицы без... голоса! Женщины без сердца!» Нашла, чем гордиться.

– А цветы? – деловито подсказала Бронислава. – Ещё – цветы без запаха.

– ...И потом, разве я у них сердце просил? Хоть у одной?! – жаловался он Брониславе, не слыша её и держась за перила. – Я даже своё предложить не успел! Если мне не изменяет память, речь шла исключительно о вкусной и здоровой пище, не более того. Ты же меня знаешь... Нет, так отстать от жизни! Представь себе: они тираж до сих пор хлопают на двух плоскопечатных машинах!.. Ты представляешь? Представляешь?

Бронислава охотно кивнула ему два раза подряд.

– Каменный век! Сидит, понимаешь, всякое убожество, – не унимался он. – Кретины пресловутые. Их просвещать и просвещать ещё – тысячелетиями!.. А если меня сюда по направлению прислали?! Для борьбы с поголовным невежеством? Что тогда?

Он поскользнулся, но удержался на ногах:

– Пр-р-роклетье... А если бы меня сам Коновалов из края к вам направил?! На укрепление? В связи с новыми веяниями? Под государственным секретом?

– А что же ты ей сразу не сказал? – поразилась Бронислава. – Что под секретом ты?

– Им я докладывать не обязан! – заносчиво вздёрнул подбородок Кеша. – Обойдутся. Разве она – редактор? Она не мой уровень.

На улице вьюжило. Разгулявшийся низовой ветер усиливался всё больше. Он уже обдавал лицо сухим колючим снегом, взлетая над дорогой, и припадал опять к млечному и сплошному течению быстрой позёмки. Бронислава с тревогой подумала, как бы нос её на ледяном ветру не начал синеть. Кеша взял её под руку.

– Бездар-р-ность! – громко ругался он. – Нет, какие у них причины для такого самомнения? Ты мне можешь объяснить? Можешь?

– Кеш, – ласково сказала Бронислава, решив сегодня же выбросить крем «Снежинку», хотя там оставалась ещё половина. – Кеш! Ты погоди, погоди. Может, тебе в Сельхозуправление сходить? К Ильшину? А?.. Глядишь, там скорей устроишься. И зачем тебе в этой редакции работать? Ну на кой ляд она тебе сдалась? Я у них пять минут только посидела, мне прям дышать плохо с сердцем стало: и бумага у них прееет, и машины – плоские. Плоские, как эта – бегаёт там одна... И чего только я там не наслушалась!

– Чего наслушалась? Про меня? – сразу насторожился Кеша.

– Ну... Разное.

– Говори! – приказал он.

Бронислава, досадуя на себя, стала объяснять нехотя:

– Да работают – все в дыму, как при заморозках. И сами бледные, вроде уж морозом убитые. Одно слово: табашники. С виду только культурные, а на самом деле... Молотят, чего попало, даже не поймёшь. Ой, голова кругом до сих пор идёт, от разговора ихого дымного... Тьфу. Ничего хорошего в этой редакции нету: я сразу поняла. Кеш, ну зачем ты туда, к ним, стремишься?

«Не выкину, – вдруг попутно решила она про "Снежинку". – На пятки лучше измажу. Небось, не посинеют».

– Ну, разве можно на человека так орать, Кеш, как в этой редакции орут? – рассудительно продолжала Бронислава. – ...А как она тебя за галстук волокла? Батюшки-светы! У тебя же глаза, Кеш, прям все наружу вылезли. И я за тебя так испугалась! Думаю: «Всё: удушила, зараза. Ты погляди: чужого, моего молодожёна личного, схватила и галстуком насмерть в минуту удушила! Халда зевластая». А ещё образованная считается.

Она глянула на Кешу, чтобы проверить: говорить ей дальше или уже хватит. Он, отворачиваясь от ветра, шевелил бровями одобрительно и гневно. Тогда Бронислава охотно кивнула сама себе:

– ...Ну, вот! Только, думаю, из Загса пришла, в редакции на минутку, замужняя, присела – и что? – всплеснула она руками. – Тут же вскакивать, к Нюроньке Зайцевой этими же ногами, что ль, назад бежать? Свидетельство о смерти тебе оформлять? Тем же числом?..

Кеша поперхнулся. Она крепко стукнула его кулаком между лопаток. И попугала ещё:

– А если бы удушила? Вот смехуто было бы! Ведь стыда, Кеш, потом не оберёшься. Стали бы мне в глаза всю жизнь тыкать: «Вон! Это она – которая на полчаса замуж выходила!» А про тебя знаешь, чего скажут? Скажут: «Пожалели его! Удушили сразу, чтоб с Бронькой не мучился». Народ, он ведь у нас такой: ох, насмешник – весь народ у нас!..

– Не задушила бы. Я поэтому удавки не ношу, – поразмыслив, сказал он. – У меня галстук на резинке. Мне его Хрумкин подарил. Со своей шеи. На мою.

– Не-е-ет, Кеш: галстук, конечно, галстуком, а лучше в Сельхозуправлении тебе работать. Чем в редакции... В Сельхозуправлении люди все – серьёзные. Солидные. В возрасте. Там ведь свиристелок-то всяких близко не держут! Плоскодонок-то разных. С бедными-то грудями.

Кеша остолбенел и шумно задышал. Глаза его запылали от гнева.

– Ты что, Кеш? – растерялась Бронислава.

– Какое такое Сельхозуправление!? Какой ещё Сельхознавоз?! Я же – художник! – потряс он её за плечи. – Я в Топчихе два месяца художником работал. По ходу жизни.

Они снова пошли вдоль улицы.

– Я тогда ещё с Сонькой-керосинкой жил, – нервно уточнил Кеша.

– А в Повалихе? – вдруг вспомнил он, останавливаясь ещё раз. – Я же плакаты в клубе целый месяц рисовал! Даже забор частично покрасил. Розовой краской... С Ленкой-козявочкой жил, помню. В подсобном помещении.

– Ну вот, может, они тебе, в управлении, чего по художеству и подыщут! Подсобное чего-нибудь, – с готовностью подсказала Бронислава.

Кеша неприязненно стал рассматривать тёмное бревенчатое здание Сельхозуправления, круглую заснеженную клумбу перед ним, похожую на огромную ватрушку, и казённый яблоневый сад – деревья за забором стояли, будто в деревянных подстаканниках, защищённые дранкой от ночных зайцев.

– Ну! Будь что будет. Чего хочет женщина... – громко заявил Кеша.

И тронулся было с места. Однако тут же озаботился:

– А чего она хочет, она и сама никогда не знает, – попятился он. – Парадокс!

– Иди давай! – Бронислава толкнула его в спину кулаком.

– Эй, слушай! Ты потише. Рука у тебя... Нет, это не женщина, а метательница какая-то. Я что тебе – ядро, чтобы запускать меня в трудовую жизнь таким насильственным образом? Безобразия.

– Давай-давай, – рассмеялась польщённая Бронислава. – Я вон на лавочке подожду. Только сядь от него подальше там, от Ильшина. А то он не любит. Они там весь день трезвые бегают. Бумажки наперегонки таскают. Я сама видала, не один раз! Ильшин – он пьяного духа капли не терпит. Они, Ильшины, такому, как ты, из своей посуды дома-то, у себя, напиток не дадут. Из гостевой только. Хоть и из нарядной, а всё ж – не из своей. Чтоб чужой дух бы ни во что в жизни не проникал... Ты уж не дыши там на него, Кеш. На Ильшина.

– А что? Пахнет? – обеспокоился Кеша.

– Ничего, не сильно... Сядь, в общем, подальше.

Бронислава смела варежкой снег с лавки – с той, которая стояла за клумбой. И устроилась, чтоб не мело в лицо. С длинной доски почёта передовики, в лёгких рубашках и летних нарядных платьях, счастливо глядели на Брониславу сквозь летящий снег, щурясь от жаркого солнца. А с такой же длинной доски, «Вы служите, мы вас подождём», улыбались остриженные наголо парни, одетые потеплее – в фуфайки. Лобастый и весёлый, Витёк победно махал ей с фотографии рукой, в которой была зажата полосатая косынка самой красивой и

самой тонкой девушки Буяна – Ксенечки Макаровой. И Бронислава помахала ему варежкой из метели тоже.

– Ничего, – успокоила она сфотографированного Витька насчёт Ксенечки. – Родит – раздастся: никуда не денется. Выправится!.. Зато без тебя она на танцы не ходит. Дома всё кого-то вяжет, Вить. Вязельным крючком. Да заочно на сырного инженера учится, не перестает. Вот.

Она сунула руки в рукава пальто и ссутулилась, пока никто не видит: так сидеть было и теплей, и уютней.

– Бронь! – прокричал кто-то из метели.

Макарушка Макаров, начальник гражданской обороны, стоял по ту сторону клумбы. Он махал красной папкой над волчьей своей шапкой:

– Ты чего не в Заготзерне?

И Бронислава выпрямилась так, что помолодела:

– Вот, Макарушка, прохлаждаюсь!.. – засмеялась она от радости. – Около сада нашего сию. Помнишь, яблоньки-то мы в пионерах как сажали? Я яму копала, а ты мне в капюшон воды из банки налил. Я и не заметила: полил ты меня, как яблоньку... А я думаю, чтой-то за офицерик такой молоденький, в унтах да в военной фуфайке, мне издалёка кричит? А это ровесник оказывается – ты! Распуржилось как, не сразу видать.

– Витьку написала? Насчёт народной дружины? – прокричал Макарушка.

– Ну, – сияла Бронислава, запахивая полы синего пальто потуже – для красоты. – Как только, так сразу!

– Вернётся – ротой в ней командовать будет. Мы теперь, в ГО, народное ополчение укрепляем!

– От этих, что ль? Забываю...

– От заграничников. Город которые захватили. Цены только на всё повышают, как кожу с людей живьём сдирают. Слой за слоем. И свет, и тепло у городских поотключали, чтоб денег побольше из них выжать. Они, заграничники, по-культурному называются – олигархи. Бизнесмены. А по-старому – аспиды. Вон, в Ключах да в Шерстобитове всю власть они скупили и абрекам за деньги перепродали. И наши теперь у абреков – в батраках все. Они же прописываются везде за взятки, абреки разные. Таким образом теперь, Бронь, города и сёла наши оккупируют! Потом звериный закон свой устанавливают для нас, для русских. Рабовладельческий. Как для туземного населения.

– Слыхала! Что впроголодь в Ключах-то стали жить, не пикни. И режут наших, и стреляют, и девок местных портят. Ой, это ведь меня Зинка Коробейникова нарочно сбила! – вспомнила Бронислава. – Азеры да азеры. А они Пизнесмены по национальности, оказывается!.. А Нина у нас давно раскусила: это русских специально без зарплаты везде оставили, чтоб они должности по дешёвке бы чужим уступали. Любым, кто с деньгами зайвится... Нет, Москва-то куда смотрит, Макар? Совсем безглазая, что ли, она сделалася? Вон, и дороги нам ценами большими перекрыли: что железные – что по воздуху. И живут людишки наши, как опята на пеньке. С места-то уж больше никто не сдвинется: не на что им.

– А в Москве нерусь одна затаилась. Москва весь этот закон для нас и установила. Апартеид – закон называется! Если по-культурному, – пояснил Макарушка с удовольствием и засунул красную папку за пазуху, довольный своей политической грамотностью. – Апартеид в отношении всех коренных народов! В интересах международных аспидов.

– Ой, беда с этими спидными – с заграничниками всеми! Даже не говори, – охотно засокрушалась Бронислава. – Ну, щас вся страна – как изба незапертая, нарасхлебянь стоит. И что за бандитов они завтра на нас нашьют, даже не разберёшь, не знаючи. А ведь оно всё, если что, на твою голову упадёт, Макарушка. На оборонную. Любая банда.

Макарушка топтался и не уходил. И тогда Бронислава спросила поскорей:

– А чего делать-то в ней надо? Витьку? В дружине-то в твоей?

Макарушка засмеялся:

– Всё, что скажем!.. Его в армии учат, чего с захватчиками делают. Он знает.

Потом добавил, помрачнев:

– У нас денег больших нет. И не будет: мы ни анашой, ни Родиной не торгуем. У нас – нравственность. Православная. Поэтому вся власть чужими скуплена везде почти что... Обороняться от дурных денег придётся, Бронь! Того гляди, землю из-под нас выдернут, как в Ключах, хоть в небушке живи. Опять отстаивать её пора настала, землю.

Бронислава оглянулась на спокойный казённый сад – огромный, неподвижный, овеваемый пургой, будто кисей.

– Да, Макар. Не примотали бы вот к яблонькам нашим дранку, и зайцы бы всю кору обгрызли с них догола. И каких яблоков от сада покалеченного тогда ждать?! А?.. Разве же можно допускать, чтоб кожу–то с нас живьём сдирали, как с городских да с ключевских? Нет. Они заграничники – а мы пограничники тогда везде будем. И против ихого одного у нас тыща выйдет. Вот Витёк вернётся – и оборонимся, – успокоила она Макарова. – Может, ещё и погоните паразитов-то этих, хриstopродавцев, от Буяна – и до самой границы.

– А никуда не денешься, Бронь: деньгами воевать мы, русские, не можем: нам остаётся – кулаками... Ну, ничего! Распрямимся как один, разве мы иуд богатых не разгоним? Разгоним. И с большим ускорением.

Он снял волчью шапку, сбил с неё снег, сильно ударив о колено, и нахлобучил снова.

– Да, капитализм оскал звериный всем показал. Он на Россию нынче накинудся. Слыхала, как владивостокских опустили? Через водку. Рисовой водкой дешёвой, в пакетах, весь край забросали... Ох, протрезвеют мужички после время. В ярме в китайском.

– А против водки-то как бороться? – растерялась Бронислава. – Оно наверно и не придумано. Разве что в рукопашную.

– Против водки? Как против химического оружия!.. Странные вопросы, вообще-то, задаёшь, Кочкина. Эх, ты: броня крепка и танки наши быстры!

Но налетевший ветер взвихрил с клумбы снег, осыпал снова и Макарушку, и Брониславу, и кружащееся снежное марево скрыло их друг от друга.

– Ну, привет ему передавай! Витьку... А я к Ильшину иду, – говорил невидимый Макарушка уже издалёка.

– Насчёт чего? – ласково кричала ему в слепой снежной пустоте Бронислава.

– Насчёт фи-нан-сиро-вания!

– Так он, поди, не д-а-а-аст!

– Даст! Договорились! Районное собрание про дружину всё решило! – долетало из пурги. – Подписать осталось. Дело-то святое... Яблоньки прикрыли, а людей не прикроем? Прикроем! А то какие мы хозяева у себя будем? Да никакие!

– Ладно, коль то! – кивала и кивала ему, невидимому, Бронислава со своей стороны клумбы. – Ладно! В добрый час!

И не сильно верила: «Неужель и к нам кто сунется? Себе на погибель?.. Ну, пускай, пускай попробуют. Не плутали они ещё в наших-то лугах. В прорубях вверх ногами не бултыхались, эксплуататоры. Проведают, значит, лиха. У нас места строгие: у нас – не больно-то».

После времени Бронислава вдруг обеспокоилась. В прошлый раз Макарушка сказал: «Витьку вашему взвод даём! Решили». «А в позапрошлый про отделение написать велел, – размышляла она. – Теперь что-то про роту говорит... Это понижают Витька или повышают всё время?»

Однако Макарушка, с красной папкой подмышкой, сделавшись видимым на миг, уже толкал плечом дверь Сельхозуправления. И снежная пыль взвилась снова до самого неба.

– У Антона спрошу, – утирала она ладонями лицо, мокрое от снега, словно умывалась. – Он отслужил, понимает... А выюжит-то как! Прямо света не видать. Ух! Сижу как в стакане с молоком.

Бронислава пригорюнилась и ссутулилась снова. «Вот, расписаная теперь, не вдовая никакая... Макарушка-то и не знает. Ладно, пускай люди ему про меня скажут. А он пускай – удивится».

И тут же осердилась на себя: «А чего ему? У него жена вон какая. Фельдшерица всё же: в халате в белом. С хлястиком... Нет, что уродилась бабёнка, то уродилась: вся больница, конечно, в неё влюблённая, – грустно радовалась Бронислава за фельдшерицу. – И женихов у ней на койках разложено со всего района полно. Рядами. С любой болезнью выбирай: какая больше понравится... До сорока лет всё как девка красная она! И училась на четвёрки, и мух в учебниках не рисовала... Сроду положительная она была! Не отрицательная».

– Да у нас дети вот-вот поженятся! – спохватившись, одёрнула она себя со всей строгостью. – Чужому мужику разлыбилась, когда сама опять замужняя стала, повторно. До маленького язычка прям, до кутних зубов... Ну, чудная. В школе лыбиться-то надо было, когда вместе учились! А не мух на промакашках рисовать до самого звонка.

Вся метель прилегла вдруг к земле. Она летела понизу и змеилась, посвистывая. А Витёк снова победно махал с фотографии полосатой косынкой.

– Вот и породнимся, может, с Макарушкой, – грустно качала она головой. – Ой, как ножи-то по сердцу тогда заходят! Батюшки-светы, боюсь я прям. Иль ничего, притерплюся?.. А,

притерплюсь: у меня свой теперь есть! Городской. Образованный всё же. И с фасоном он. Не так себе.

Она посидела смиренно, глядя на Витька. Потом спросила его негромко:

– Вить! Другую, может, найдём? А? Торопиться-то зачем? Видишь, время военное настанёт... И чего ты в эту упёрся? Не ещё в какую? И что она тебе, мёдом что ль намазанная, Ксенечка-то Макарова?.. Ты послужи пока что, послужи! А там тебе, может, командир какой опытный и подскажет. Мол, эта штучка-то бабья – она ведь у каждой есть, не у ней одной. Мол, все девки с ними по шоссе на каблуках день-деньской ходят. И у всех они, штучки эти, прям как орденские подушечки: не плохие. Одинаковые!.. Так что, на любой женись, и не прогадаешь. Вот так бы вот в армии Витьку кто-нибудь объяснил! По-военному. По-культурному. Ты бы и приостыл.

Бронислава вздохнула. И прищурилась насторожённо: а вдруг чужую из армии привезёт? С крашеной головой? Ух, как сядет она у окошка, да как начнёт ногти пилить, с утра и до вечера! Рашпилем-то своим. Курящая какая-нибудь. Надымит, хоть топор вешай.

И она увидела, как на яву, потолки в доме – не белые, а закопчённые, будто в бане чёрной. И содрогнулась от ногтевого несусветного скрежета. И поморщилась от резких запахов из пузырьков, перебивающих вокруг все запахи чистоты и свежести.

– Нет уж, лучше тощая, да буянская! – решила она раз и навсегда, ударив себя кулаком по колену. – Я ведь всё перетерплю, любое родство и даже разлюбое. Ох, только бы теперь этот самый командир с пути бы мне Витька не сбил! Вот чего. А то как наплетёт ерунды всякой. Про орденские-то подушечки... Командиры, они ведь какие опытные есть! Даже чересчур. Парнишкам-то молоденьким разве это на пользу – знать?

Потом Бронислава приободрила сына – насчёт ГО:

– Ну, воевать в Буяне, если что, надо будет сильно, да недолго. Тут сама земля наша их съест, денежных-то этих. Прям с потрохами. А мы ей поможем. Все поможем, Вить! Даже не сомневайся.

И, разобравшись во всём, она стала сидеть бездумно, как барыня, – отдыхая полностью на дне метели, кружащей до небу. А когда сильно щурилась от снега, то белое движение становилось похожим на холодный яблоневоый цвет, накидываемый на неё ветром щедро, охапками.

Кеша вышел вскоре, довольно потирая подбородок. Он натянул вязаную шапку с важностью. Затем сказал, торжественно разводя руками, с того самого места, где стоял недавно Макарушка – через белую, будто творожную, клумбу:

– Надеюсь, ты не забыла, что сегодня день нашей свадьбы? Если мне не изменяет память, мы отныне муж и жена! – и поиграл оттуда бровями для завлекательности.

Тогда, ни о чём не спрашивая, Бронислава встала и повела его в магазин. Она купила три бутылки белой: чтоб и для Нины с Антоном. А потом ещё одну: на опохмелку без бражки. И Кеша засунул их все во внутренние карманы своей куртки, отчего живот его стал казаться огромным и кривым.

Придерживая бутылки обеими руками, в безлюдном переулке Кеша начал приплясывать в метели и напевать, дурашливо заглядывая в глаза Брониславе:

– Остался у меня

На память от тебя

Портрет твой, портрет

Работы Павло Пикассо!..

И всё поигрывал бровями. А Бронислава шла с ним под руку, рядом, и смеялась, и ей было хорошо так идти, щурясь от снега, всё время сбиваясь с шага, поскальзываясь и приноравливаясь к Кешиным рывкам и остановкам.

– Это художник такой был, Павло Пикассо, – с удовольствием пояснил он. – Ты его не знаешь.

– Не из Повалихи? – пыталась отгадать Бронислава.

– Нет. Он выходец из этого... Но не уроженец, это точно! – сообщал Кеша сквозь летящий снег. – В общем, до сих пор никто не знает, где он родился. А он сам уже – того: дуба дал. По ходу жизни. Представляешь, для истории жалость какая? И спросить не у кого!.. Спросить же надо было вовремя, по-человечески: «Эй, ты, Павло!..» Нет, пока не подскажешь!.. Он, вообще-то, нерусский был. Скрытый хохол. Наполовину – скрытый хохол, наполовину – мессианец. Покорил Москву! Как все мессианцы. Она вообще только им покоряется, Москва. А остальные для неё – это отбросы общества. Я поэтому туда не еду. Лучше быть первым в Буяне, чем вторым – в Москве! Вторым быть вообще большое западло. Для меня лично.

– Умный ты какой, Кеш... Я и не знала, что в Москве в этой мексиканцы теперь живут. А чего тебе Ильшин-то сказал? – не выдержала она.

– Проницательный человек этот Ильшин! – растягивал удовольствие Кеша и с восхищением крутил головой. – Ой, интеллюю, я те дам!.. Конечно, я умею себя вести: причесался, поправил галстук. Нарисовался перед ним – хрен сотрёшь! А он пронзил меня насквозь, всевидящим сельскохозяйственным взглядом. И сразу же почувствовал, что у меня высшее образование. Даже диплома не спросил... Представляешь, а если бы спросил? Пришлось бы три часа объяснять, как я его потерял. По ходу жизни.

– Врёшь! – обрадовалась Бронислава. – Что ж ты раньше про диплом не говорил? Я бы Нине сказала. А то они с Антоном думают, что у них одних в доме дипломы-то эти есть! И Витьку бы в армию я написала. Ты на кого учился?

– На кого, на кого. На себя!.. Помнишь, я говорил про удар в районе ресторана? Вот и диплом тогда уплыл. Но что может добавить мне какой-то диплом?! Когда есть сам я! Вот он – я! Принимайте меня таким, какой я есть! Или вам казённая бумажка важнее человека?! Этого только кретины, кстати, не понимают. Причём, повсеместно.

– Кеш, ну ты всё равно восстанови. Всё-таки документ, – настаивала Бронислава. – Какой-никакой, а, может, пригодится.

– Поздно, поздно... В газетах, кстати, писали, но ты не читала. Мелкие институты тогда все расформировали. И слили. В университеты. И вот, «остался у меня на память от тебя...». Я,

между прочим, даже в университетской общаге полгода нелегально жил! Поступил на журфак, но его тоже сразу расформировали... А комендант у них, в общаге, рыскал! Ну, зверюга... Не пил, главное, принципиально. И там один пресловутый очкарик засел к экзаменам готовиться и заперся изнутри. А трое ребят с новой водкой в свою комнату попасть не могут. Парадокс! А двери там, знаешь, какие? Серёдка из двойного картона с фанерой. Но мы же – не знали. Всё же – крашеное! А кем дверь лучше всего выбивать?

– Батюшки-светы! Тобой, что ль? – переполошилась она.

– Правильно, мной. Я же солидной всех. Разогнали меня – и мной ударили. И дверь пробилась точно в форме человека. Я на свой фанерный трафарет в комнату рухнул. Под ноги очкарику. С него даже очки соскочили: он меня так быстро не ждал... А остальные с водкой в этот проём друг за другом входят, входят. Очкарика по очереди обнимают – соскучились всё-таки в коридоре. Поют: «Так будьте здоровы!» Поют: «Живите богато! А мы приезжаем»....

– Кеш! Они же тебя об дверь-то – расшибли, небось? Расплющили, небось, всего, дураки.

– И, представляешь, этот комендант меня вычислил, – не слышал её Кеша. – По силуэту дыры. К дыре всех по очереди приставлял. Искал, кто с дырой полностью совпадёт. Я нарочно, между прочим, раздувался, чтоб не совпасть. Воздуха полные лёгкие набирал, чуть не лопнул. Нет, пр-р-роклетье: всё равно совпал!.. Ну, меня же ни с кем не спутаешь, правильно? Пресловутый такой комендант был. Жуть во мраке... Устроил мне неожиданный конец университетской нелегальной жизни, зверюга. Отгадай, кем меня берут?

– Кем?

– Оператором! На птичник... Но я же ему сразу дал понять, этому Ильшину, что я – личность творческая! Так прямо и сказал: «Как человек проницательный, вы должны хорошо представлять, кто перед вами: я – птица высокого полёта, мне нужна работа, где можно сохранить себя для творчества. Я – мастер слова, между прочим. Мастер плакатного пера. Мастер кисти. И отчасти – ластика». А Ильшин мне сразу: «Птица?! Вижу! Ваш высокий полёт – говорит, – виден сразу, даже не сомневайтесь». – «Есть, – говорит, – у нас место именно такое: для вас! Очень ответственное. Эта работа механизированная, она вам по плечу». ...Там, оказывается, ничего делать не надо: конвейер! На птичнике. Механизация!.. Нет, ты представляешь? Я же образованный человек, это за версту видно... Проницательные деревенские люди, они образованным пришельцам с большой земли всегда рады, между прочим. Как своим старшим братьям. Мы для них – находка. У меня же западный уровень образования!

– Ой! Ой, помру, – прикрыв рот варежкой, смеялась и смеялась Бронислава. – Оператором! Щас помру, на месте прям, и не встану...

– Чего смешного-то? – не понимал Кеша.

– Да я ничего, – присмирела Бронислава. – Пусть оператором. Я – сельская. Я любой труд уважаю. Ты мне хоть кем будь. Начнёшь оператором, а там, может, где место освободится.

– Что значит «хоть кем?!» Тебя что, и это уже не устраивает?! Быть женой оператора?! Ну, знаешь. Запросы у тебя.

– Кеш, да у нас там дядя Паша Струков работал, старичок трухлявенький. С четырьмя классами.

– ...Значит, он не справлялся с современными механизмами! – посуровел Кеша. – Без надлежащего образования.

– А чего там справляться-то? – вытирая варежкой повлажневшие от смеха глаза, рассудила Бронислава. – Помёт-то чистить, что с четырьмя классами, что с высшим образованием: всякий сумеет.

– Какой помёт?! – взревел Кеша.

– ...Курячий, какой же ещё, – притихла Бронислава. – Там другого нету.

Кеша свирепо оглядел её с головы до ног, крепче сжал бутылки на животе и вприпрыжку кинулся вперед, в метель, летящую сплошной стеной.

– Кеш, ты погоди, – неловко догоняла его Бронислава в снежной круговерти. – Кеш! Сапоги же у меня эти... как шагреневые прям. Жмут, Кеш.

– Сволочи! – с чувством говорил он на бегу, пряча лицо за ворот болоньки. – Сказал же Ильшину, что я без творчества себя не мыслю. Я ему про дело. А он – про механизацию. Жирно им будет... Завтра! Завтра же – в газету! Устроюсь в редакцию, ну я ему закачу парадокс. Этому крестину. Я ему дохнуть не дам. Замучится фельетоны про себя читать по ходу жизни. Пускай узнает, на что по большому счёту способен пишущий и рисующий человек!

Он резко остановился, и Бронислава едва не налетела на него.

– Я тебе говорил, что я проработал весь испытательный срок в «Сельских зорях»? Ну, помнишь, я тогда ещё с Галькой-мотыгой жил? – нервно спрашивал он. – Красивая такая женьшень. С ресницами. Говорил, по-моему... У неё много ресниц было. В два ряда. Одни свои, другие наклеенные. Она в них из драмкружка пять лет назад со сцены убежала. Чтоб не отняли... С тех пор не снимает. Её не научили, как... Хлопает ими без остановки. Казёнными ресницами. Когда казённой метлой вдоль рядов метёт... Они вдвойне глаза от пыли защищают...

– Кеш! – потянула его за рукав Бронислава. – Ну что ты весь так раздёргался-то?

Ей захотелось поцеловать его в щёку, мокрую от снега, но она постеснялась:

– Кеш, завтра всё будет хорошо. Вот увидишь!

Однако завтра не принесло ничего хорошего.

Седовласый редактор, высокий и сутулый, слушать Кешу не стал, а подобрал ноги в дорогих зимних ботинках под стол и сразу попросил документы. С минуту он изучал единственную запись в «трудоустройстве». Потом вернул её и напряг морщинистые мешочки под глазами.

– Год назад вы были приняты к Сахарнову, в соседнюю районную газету, и там вас не оставили.

– Да, я в «Сельской нови». Трудился. Тоже. Успешно.

– Зачем? – чеканя слова, спросил редактор. – Зачем вы обещали Сахарнову проломить голову топором?

Кеша задохнулся от возмущения:

– Я? Топором? Да это не я! Он, Сахарнов, работать никому не давал, вечно заглядывал и заглядывал. Такая привычка у него, над душой стоять, когда пишут, ребята сразу говорили. Вы их лучше спросите! Мало ли что наплетёт какой-то пресловутый редактор! Вы, как проницательный человек, не могли не заметить, что Сахарнов... Зануда он!.. Но я не мог себе этого позволить, тем более – проломить: я там был вместо женщины, ушедшей в декрет!

– Так, так... – барабанил редактор пальцами по столу.

– А Гриша Зобнин срочный материал писал и нервничал. Ну и сказал: «Если он ещё раз заглянет, я проломлю ему голову топором». А Сахарнов под дверью стоял и подслушивал. Да у него же привычка такая, у Сахарнова, подслушивать! Причём, не левым ухом – он левым слышит, – а правым, глухим. У него в правом отит завёлся, если вам не изменяет память.

– Хм. В правом?

– В правом... Не я это, а Гриша Зобнин, зав отделом писем! А Сахарнов – на меня: «Я взял вас вместо беременной женщины, а вы – не соответствуете!» Парадокс! Полное бескультурье обнаружил. Притеснил по половому признаку. И Гриша ему говорит: «Это я – вам, а не он – вам!» А он сразу к Грише поворачивается правым ухом – и принципиально не слышит!.. Это же не я был!!!

– Вы! – разоблачительно повторил редактор. – Меня о вас предупреждали. И учтите: вас хорошо запомнили не только в «Сельской нови».

– Н-ну, ёлки... У нас с Гришей просто голоса похожи! Меня же оттуда – за другое. За одну творческую смелость и за два творческих простоя! Я был не понят! А топор – это только слабый повод!.. Хотя ничего, кроме топора, этот Сахарнов, конечно, не заслуживает. И было бы, между прочим, справедливо, хряснуть его обухом по тупой башке с разными ушами... Ну, он ещё дождётся. Своего парадокса. Вот увидите, Анатолий Спиридоныч. Это я вам обещаю. Я, между прочим, не одного начальника сместил! По ходу жизни. За всяческое исполнение низменных обязанностей.

– К сожалению, у нас мест нет. Своих талантов некуда девать... К тому же, вы нам никак не подходите. М-да, никак.

Редактор встал.

– Да вы что, совсем уже? Того? – обиделся Кеша и покрутил пальцем у виска.

– Освободите кабинет, или я вызову милицию!

Редактор положил уверенную костлявую руку на трубку телефона.

Шесть дней Кеша горевал, а на седьмой, после обеда, бражка кончилась. Кеша оделся и вышел на улицу. Он брёл по селу, подняв воротник куртки, вдоль занесённых снегом домов. Мелкие собачонки вились под ногами, тявкали и отбегали. С гулом проносились мимо машины, и тогда долго кололо лицо колючей снежной пылью. Стылое белесое небо нависло над селом.

Кеша свернул в переулок и засмотрелся на пёструю курицу, неподвижно стоящую на одной ноге возле навозной кучи. Прошло пять минут, десять – курица так и не шелохнулась. Только ветер слегка шевелил её перья. Кеша заинтересовался и подошёл к курице поближе.

Выругавшись, он легонько пнул её, тяжёлую, как камень. Та проскользила на боку, и Кеше показалось, что она тихо зазвенела, уставившись в небо пустыми глазами.

Румяная щекастая женщина в коротком полушубке и тугих синих гамашах, шедшая мимо с ведром золы, сказала про курицу:

– Глаза-то ворона, поди, выклевала, – и посмотрела на Кешу с любопытством.

– Не подскажите, как добраться до грейдера? – неожиданно для себя озаботился Кеша.  
– Далеко тут?

– Да нет. Если на лыжах, через Зыкину балку – через кедровник, так рядом. Километров сто пийсят будет, – не сразу ответила женщина с ведром. – А если по Дикой дороге, через бор, то километров двести. Дорога только вёрткая. По кореньям вся. По пенькам... Пока доедешь, баранкой руки-то себе до плеч извихляешь, конечно. Склизко!

– А автобус как ходит?

– А никак! – засмеялась она. – Каменский к нам заворачивает. Раз в десять дней, когда не выюжит. Через нас на Шерстобитово с ночёвкой уходит. А так он только по грейдеру туда идёт. Не через нас – мимо... А вы чего хотели-то?

– Чего я хотел? Хм. Чего хотел... – Кеша впал в глубокую задумчивость.

– Философский вопрос! – наконец оторвал он взгляд от навозной кучи. – А философские вопросы, как известно, существуют без философских ответов. Философы, если вы успели заметить, они как дети: «Что? Зачем? Почему?» И – ни с места... Впрочем, вы не поймёте. Занимайтесь лучше вашей золой.

Он прошагал немного, думая, что женщина – ничего, справная, и оглянулся. В тот же миг она обернулась тоже и с непонятной улыбкой стала смотреть на него издали.

– ...Это – если только с местными шоферами договариваться. Чтоб к грейдеру подбросили! – сказала она наконец.— Ну, им с работы отпрашиваться неохота. Потом четыреста километров руки вихлять – туда да обратно... Склизко! А чего вам надо-то? Собрались что ль куда?

– Чего надо?.. – задумчиво переспросил Кеша.

Не дождавшись ответа, женщина опрокинула своё оцинкованное, помятое ведро и стала гулко стучать кулаком по дну, отворачивая лицо от серого облака, взвившегося по ветру.

– Склизко! – морщилась она, и стучала, уже забыв про Кешу совсем. – Ой, склизко там...

Кеша вздохнул, пошёл дальше, размышляя про то, что настала пора уезжать и отсюда, а вот отчего-то жалко. Вдруг нечто тёмное стремительно пролетело сбоку, тупо стукнулось о мёрзлую коровью лепёшку. И под его ногами брызнул взрыв. Полыхнуло небольшое мгновенное пламя.

– Мать!.. – коротко выдохнул Кеша, отпрянув.

Он оглянулся с перепугу. На улице не было ни души. Только мальчик в пальто, подпоясанном бельёвой верёвкой, деловито съезжал на валенках с ледяной горки, наросшей под

чугунным носом колонки. Насвистывая и придерживая что-то тяжёлое за пазухой, мальчик промчался вокруг Кеша два раза и скрылся за углом ближайшей избы. «Мортирка!» – догадался Кеша. Он хотел окликнуть мальчика, однако замешкался, припоминая, как того зовут – «Лёха, что ли?» За избой раздался короткий, сильный взрыв.

– Вот почему я никогда не любил детей, – понял он.

И подумал: если бы он жил в Буяне, он бы их – ненавидел.

Ему захотелось тут же потолковать с местными мужиками. Об этом безобразии и о быстротекущей, но вечной, жизни – тоже. Особенно о политической! А то живут все в непроходимой дикости. Погрязли в своём колхозном, туземном невежестве. Работа, дом, скотина. Лес, огород... А где жизнь души? Где?

Судьба наверняка забросила его сюда с тонким расчётом! Чтобы было кому делиться с простыми людьми своими свежими знаниями, догадался он вдруг. Глубокими, между прочим.

Однако в магазине лишь три молодые крупные женщины стояли неподвижно, как три закутанные ступы, под яркой лампочкой, горящей среди бела дня, и слушали долговязого старика и дородную старуху, приоткрыв рты от внимания. А пожилая, очкастая продавщица за прилавком вязала шерстяной носок. Она вслух сосредоточенно считала петли, сбивалась на слове «шешнадцать» – и принималась отсчитывать снова, поблескивая тонкими спицами, как лучами.

– Слава работникам прилавка! – поприветствовал её Кеша.

– Семь, восемь, девять, – сказала продавщица, не подняв головы.

– И всем потребительским корзинкам – слава, слава, слава! – Кеша улыбнулся трём женщинам поочерёдно и поиграл бровями – для завлекательности.

Женщины, не сводящие глаз со старухи, даже не сморгнули. Только одна, самая молодая и румяная, с досадой почесала ту щёку, на которую смотрел Кеша.

– ...И вот, падчерица уж больно хорошо перед ним плясала! На этой самой на гулянке ихой, – размеренно выпевала дородная старуха проникновенным и тихим голосом.

Поверх тонкого пухового платка она была накрыта ещё кашемировой тяжёлой шалью, застёгнутой под подбородком на булавку.

– ...Плясала, значит, плясала. Отчим и говорит: «Проси, чего хочешь! У меня всего полно».

– А я... – припомнил что-то старик.

– Мол-чи!!! – вдруг резко крикнула старуха.

Потом топнула валенком в гнев. Но усилием воли заставила себя остыть. И продолжила умильно, тихо:

– И вот он, перед которым падчерица-то больно хорошо плясала... Этот... – сбилась она вдруг с мысли.

– Ирод? – то ли спросила, то ли подсказала одна из закутанных женщин с готовностью.

Старуха недовольно поморщилась. Потом махнула на неё рукой, досадуя:

– Какой ещё Ирод? Не Ирод... Ну, барин этот. И вот барин этот говорит: «Проси чего хочешь!» А падчерицу мать уж с утра самого подучила: «Иоаннову голову проси!» Она и попросила, – глядела старуха на женщин ясным взглядом, исполненным строгого благоговения. – Барин-то – ага: делать нечего...

Кеша хмыкнул. От скуки он принялся громко стучать ботинком о ботинок, сбивая с них уже подтаявший снег. И ещё потопал без всякой на то нужды. Но, затаив дыхание, все три женщины не сводили глаз со старухи.

– А я... – встрепенулся было старик.

– Мол-чи!!! ...А барину-то делать нечего: он уж посулился. Назад пятками ему идти неохота. Ага... Он слугам-то и сказал: «Ступайте в темницу! Отсеките. И принесите моей падчерице, вот этой вот самой, на золотом блюде. За её пляску, за красоту – отдайте. Она Иоанновой головой навечно владать хочет. Падчерица моя вот эта самая»...

Зевнув, Кеша отошёл к прилавку. И стал разглядывать ценники на бутылках, на коричневых пряниках, на рыбных консервах, тоскливо перебирая в кармане мелочь.

– ...Слуги-то и принесли. Мать-то уж больно была довольна. Что дочка её послушалась. И что вы думаете? Прошло уж много время, и какая смерть её, падчерицу баринову, настигла? Плясунью-то?

– А я... – часто замигал старик редкими ресницами.

– Мол-чи, сказала!!! ...Ну, в грех меня вводит – и всё. И как только он мне за целую жизнь надоел!

Обидевшись, она отвернулась от старика, помолчала. И возвратилась к своему повествованию, вновь приводя лицо в выражение кроткое и разумное:

– ...А эту падчерицу баринову вот какая казня за всё настигла. Пошла она, значит, один раз по льду. Падчерица. Идёт, идёт она по льду – и провалилась. И две льдины на неё с двух сторон – как сдвинулись! И с двух сторон ей шейку-то – раз! Голова-то и отсеклась. Как ножницами. По льду-то и покатила.

– А я...

– Мол-чи!!! ...А барин-то с женой глядят с берега: ну, вот тебе и наплясалась! Навеселилась. Красавица. Туловище-то с ножонками с плясучьими – бултых-бултых в воде. Под льдом всё. Скрылось. А голова-то – как кочанчик: катится. К барину под ноги прям. Здрасьте.

– Ну, дер-р-ревня! – не выдержал Кеша. – Ну, каменный век...

Он решительно направился к выходу. Однако приостановился от возмущения.

– Никакой политики здесь в принципе не существует! – разоблачительно выкрикнул он. – Нет ни малейшей тяги к современному знанию! Везде – узость кругозора... Тьфу. Дикость! Просто безобразия какое-то...

– А барина-то с женой – как наказало, тётка Матрён? – не слышали его женщины и перетаптывались в сильном и нетерпеливом возбуждении. – А им какая же казня-то за это вышла?

– А как же им казня не выйдет? Вышла! Ещё какая!.. Сперва его за это Господь ума лишил, барина. Свой-то ум у него отобрал, а германский ум ему – вставил. Барин-то и удумал: надо теперь уж всех Иванов с земли согнать, а своим богатым друзьям, нерусским, русскую землю – отписать. «Я, – говорит, – падчерице одну уж голову-то подарил, Иоаннову. А теперь всем своим друзьям остальные, Ивановы, головы налево, направо – раздариваю! Берите их – и владайте ими, как только хотите. Навечно». Пообещался. И распорядился он, чтоб все Иваны голодной смертью без земли бы перемерли. Чтоб люди-то сначала за каждый шаг, по земле-то по отобранной, по рублику друзьям бы его платили! Как шаг – так и рупь, как шаг – так и рупь. А если и рублика ни одного уж нет – то чтоб в рабство к ним, к друзьям бы этим, люди шли: долги за каждый свой шажок отрабатывать. И чтоб потом за любую корочку русский бы народ им, друзьям бариновым, в пояс кланялся бы только, да приговаривал бы – смирнёхонько да тонёхонько, со слёзкой да с улыбочкой: «Что в рот – то спасибо! Что в рот – то спасибо»"...

– Это ведь за падчерицову головёнку, красивенькую-то, лёдом срезанную, всем Иванам он теперь лютой смертью до конца времён будет мстить! – охнула румяная женщина.

Старуха согласно кивнула:

– А как же!.. Народ–то сначала вилы да топоры в руки брать не стал. Поговорил только: «Нам ведь барина-то надо – с русским умом! А не с германским. Ну, может, как-нибудь германского-то этого барина мы перетерпим и своего барина, какого-никакого, дождёмся. А этот, с чужим-то умом, может как сам поддевается куда ни на то!» Да... Плюнул народ на всех бариновых друзей. И подался от них в дали дальние. В глушь забился: в леса да в чащобы, – спокойно выпевала тётка Матрёна. – Молчи!!! ...А барину неймётся. И стал он огнём горючим всю землю догола палить – и леса, и чащобы все: людей русских выкуривать стал, чтоб все Иваны как на блюде бы оказались. Из земли русской – блюдо голое он делать стал! А кой-где плотинами наводненья устраивать велел, чтоб Иванов-то на нет извести и с лица земли народ весь русский – смыть. Чтоб земля голая, ничья бы стала: баринова вся. И он бы с барыней со своей да с друзьями по ней бы, по ничьей, на ночь глядя с собачками гулял. И вдоль бы гулял, и поперёк, и наискосок – тоже: с ними.

– Видишь, чего? – догадалась другая женщина. – Одной–то Иоанновой головы ему мало. Это уж, если он во вкус вошёл, то сам во веки веков не остановится. Ирод.

– Дак, они же – алкоголики от нашей крови делаются! Оно давно всем известно, – заметила продавщица снисходительно. – Двенадцать, тринадцать. Что барин, что друзья его, они уж без нашей крови не могут, шешнадцать... Жаждают крови нашей – у-у-у, демократы! Мы что, разве не видим? Красноротые все мужики, в телевизоре-то которые сидят: как насосались!.. Один. Два. Нет, их теперь только в элтэпэ: от кровяного запоя лечить, упырей этих! Восемь. Девять. Они сами уж от крови русской не отвالتها, пиявки. Пристрастились! Одиннадцать.

– Ага! – кивала старуха. – Беконного откорма они. На голодной России откормились... А люди опять, во второй раз, значит, собрались: «Пока мы не перемерли все до единого, может, пора топоры хватать, и барина этого, с германским-то умишком, в Германию прогнать? Она, Германия, – страна крохотная, как раз по его мозгам: она ему подходит. А для большой России не ум – умище нужен. Он где его, барин, возьмёт?! Прогоним, а то барин-то её до своего пониманья скоро всю скукожит, Россию нашу. И война есть война. И она против нас давно идёт, а мы кого же? Мрём да терпим. Терпим да мрём»... Мол-чи!!! ...А с Афона им уж весть подают: «И времена все – вышли, и больше времён у вас – не осталось, – говорят. – Мор, на вас

насланный, сам не кончится, а только сильнее на детей ваших падёт: спасайтесь сами – никто вас не спасёт ниоткуда. И чего вы ждёте?! Бог, что ль, с винтовкой за вас против барина-

то пойдёт? А вы со стороны только, что ль, глядеть хотите? Нет, вы – идите. Сами. Своими ногами. Портянки на них намотайте – и ступайте. А Бог – поможет вам, если вы все, со святой молитвой, за всю святую Русь...»

– Вот, убожество! Да вы хоть знаете, какой век сейчас?! – строго перебил старуху Кеша, очнувшись от вразумительного и тихого её толкования. – Сейчас, между прочим, каждый должен сделать счастливым – себя! А не заботиться о других. Тогда только получится общество счастливых людей! Теперь модно беспокоиться о своём «я»! А не о своём пресловутом «мы». Пишут, пишут вам во всех газетах... Кретины. «Люди собрались все!..», – передразнил он. – Причём здесь «все»? Страна давно перестроилась на «я»!.. Я же сам читал. Лично!

В магазине наступила полная тишина. Продавщица перестала вязать на счёте «семь».

– Гадство! Жалею, что я эту газету всю в клочья истоптал, ноги ею обёртывал. От мороза. У меня ботинки прохудились... А то устроил бы я для вас чтение вслух. В борьбе с вашим дремучим, отсталым невежеством. С коллективным, между прочим... О своём «я» лучше позаботьтесь!!! Колхозницы!

Старик с дородной старухой, недовольно поджавшей губы, отошли в дальний угол и стали отыскивать что-то в своей общей сумке.

– А я?... – успел только вымолвить старик, как вдруг старуха грозно побагровела и выпрямилась.

– И зачем ты твердишь одно и то же?! – взорвалась старуха: – «А я в десанте!», «А я в госпитале!», «А я в больнице на рентгене»... – кричала она на старика, поправляя булавку на шали без всякой надобности. – Пристал: «я» да «я»! «Я кого» да «я чего»... Ну, твердит и твердит пустое! Якало... Не знаешь, что ли?! Грудные – и то все давно в зыбках научены: вон, «я» – то на воротах мелом написано было, а корова-то одна – чесаться подошла, да обдристаной жопой его и стёрла! Вот тебе и всё «я»: цена ему – такая... Твердит! И что за привычка у тебя – в грех меня вводить?!

– Тётка Матрён!.. – ждали женщины продолжения. – А барину-то как потом за всё отплатилось?! За Иоаннову голову да за злодейство-то – над Иванами нашими?.. Народ-то русский с ним как поступил? Расстрелял – иль повесил?.. Иль на кол посадил?

– Викентий, и куда же ты попал? – всё бормотал и не мог успокоиться Кеша, переступая с ноги на ногу. – Эх! Лучше бы до Шерстобитова пешком дошёл, невзирая на истёртость газеты...

Однако удалиться просто так он не мог.

– Ну, бабьё! – выкрикнул он решительно. – Нет, вот вы, молодые, ответьте хотя бы: кто у нас возглавляет правительство? По ходу жизни? Это вы хоть знаете?! Ну: кто нами руководит?

Только тут все, остолбенев, уставились на него. И одна из закутанных женщин сказала, выходя из оторопи:

– Как – кто?.. Заграница.

А потом, отвернувшись от Кеши, спросила остальных в недоумении:

– Это ещё чей? Городской что ль какой?

– Да Бронькин, вроде, – раздумчиво ответила другая. – Неужель не городской? Вон, буром, гляди-ка, прёт... Город! На боку дыру вертит.

Все разглядывали теперь Кешу неторопливо и обстоятельно.

– Ну, темнота, – поражался Кеша. – Послушал бы вас Хрумкин... Читать вам больше надо!!! Образовываться! А не пресловутых каких-то стариков у прилавка слушать. Работать надо!!! Над собой!!!

– Во-о-он чей. Бронькин... – скучно протянула продавщица, снова засверкав спицами. – Восемь. Девять. Десять. Кешка-город, значит. Он.

А третья женщина, самая румяная и самая молодая, рассмеялась лёгким добродушным смехом:

– Вот, грозный ё...рь!

Кеша шагнул за порог, выкрикнул было женщинам через плечо: «Ну что вы материтесь? Как маленькие дети!..» – однако тугая дверная пружина уже сработала. И Кешу не услышал никто, кроме него самого.

Улица по-прежнему казалась безлюдной и задремавшей среди белого дня. Только стая снегирей поднялась с высокой ольхи, осыпав снег с ветвей, и унеслась в сторону дальнего бора.

– В самом деле – немые... – изумился Кеша, проводив стаю подозрительным взглядом. – Они, пр-р-роклятые. Птицы без голоса...

Похаживая вдоль магазина то влево, то вправо, он долго чесал шрам под шапкой. Однако вскоре оживился: поодаль, в закутке около магазинного склада, одиноко стоял мужик в тяжёлом драповом пальто, уцепившись за дощатый забор. Кеша присвистнул и направился к нему.

– Слава сельской интеллигенции! – хлопнул он мужика по плечу.

Тот обернулся всем туловищем, выпустил забор из рук – и рухнул в рост, на спину, крепко ударившись головой о перекладину; дерево задумчиво загудело.

– Эй! Ты! Сельский интеллигент... Дышишь ещё? Нет? – нагнулся над ним Кеша.

Мужик открыл глаза. Он смотрел на Кешу отсутствующим мутным взглядом, но видел не его, а что-то совсем иное, вызывающее у него тоску и застарелое, сильнейшее отвращение.

–...П-п-подавись! – с ненавистью выговорил мужик. И успокоенно сомкнул веки.

Уже через минуту, понурившись, Кеша слушал мирный его храп и видел вдоль забора только жёлтые брызги на снегу да небольшие дырчатые углубления.

– М-да... – с чувством подытожил он. – Окончен бал. Погасли свечи, гадство. И, если мне не изменяет память, цветы роняют лепестки на песок.

Он брёл без дум, без цели и уже без желаний – по длинным улицам, вдоль тесовых серых ворот и высоких дощатых завалинок, и сворачивал потом в какие-то переулки, засыпанные золой тут и там. И снова двигался, как в затяжном бреду. Мимо серых добротных заборов, мимо низких, насыпных и тёплых, коровников и курятников, мимо срубленных на огородах низких бань. Серое небо казалось ему неприветливым, дальнейшее заснеженное поле – тоже. И чёрные деревянные солнца срубов, выстроившись друг над другом в цепь, смотрели ему прямо в затылок с углов изб. И эти же чёрные древние солнца возникали перед глазами, куда бы он ни направлялся.

Вдруг неожиданно одна из улиц перешла в кладбище. Кеша озирался теперь, стоя на прочищенной широкой дороге и не понимая, когда он успел шагнуть за кладбищенские ворота. Ровные ряды крепких тёмных крестов кинулись ему в глаза. Шорох венков на ветру то усиливался, то стихал. Широкий верховой ветер летал над могучими старыми дубами. И детский голос, переживая за кого-то, всё повторял и повторял невдалеке покорно, светло и настойчиво, и горевал, и молил:

– ...Прости его. Прости за всё, Господи, миленький мой.

Кеша свернул с дороги на боковую тропу. Там русая девочка лет пяти, в широком зелёном пальто, в клетчатом взрослом платке, затянутом на спине большим узлом, деловито переходила от могилы к могиле. Она останавливалась перед каждой, и сначала поправляла сползавший с макушки клетчатый платок, а потом старательно крестилась красной от мороза рукой, двоеперстно, и кланялась быстрым земным поклоном.

– Прости её, – просила девочка, задирая голову к белёсому, безучастному небу. – Пожалей её. А то она померла давно. Тётенька эта... Она давно не молилась за себя. Мёртвая она теперь, Господи.

Девочка доверчиво показывала варежкой на заснеженную могилу за проржавевшей и покосившейся оградой и как будто ждала ещё ответа оттуда, сверху.

Кеша покашлял. Но девочка не услышала его. Она снова поклонилась истоиво, прежде чем прошагать к соседней ограде. Слабо проскрипел снег на тропе под её крошечными скорыми валенками.

– ...И его – прости. Прости тоже! – говорила теперь девочка в беспечальной печали, указывая небу на три широких креста с расплывчатыми фотографиями. – И – её!.. И дяденьку этого. Всё, всё им прости. А то они ждут на небушке, чтоб за них тут молились. Ждут все... Пожалей их, миленький Господи, не наказывай. Помилуй их! Всех... Всех!

– Эй. Как тебя зовут? – негромко окликнул её Кеша издали. – Ты почему здесь ходишь? Одна? Без взрослых?

Девочка, вскинув лицо и глядящая ввысь, сквозь сплошные сонные облака, смолкла на полуслове, замерла с разведёнными руками и стала похожа на слепую.

– Зачем ты это делаешь? – спросил её Кеша. – Кто тебя заставил?

Теперь девочка пришла в себя и угрюмо уставилась на него исподлобья. Она заправляла выбившиеся русые пряди под платок – той рукой, которая была без варежки, и молчала, тихо потягивая носом.

– Кстати, почему у тебя такой тяжёлый взгляд? И лоб – тяжёлый. Хм, девочка, разговаривающая с Богом. Странная девочка.

– Никто не заставил! – ответила она невпопад.

– Такой тяжёлый взгляд, девочка, бывает только у убийц, между прочим. У бандиток!... А ты должна расти привлекательной! Не угрюмой. Ласковой, понимаешь? Для того чтобы нравиться мальчикам. Твоё природное назначение – нравиться мальчикам. Изю всех сил, между прочим. Ты должна из кожи лезть, чтобы... погоди, ты когда-нибудь изучала себя в зеркале? Нет, ну разве дети так смотрят?

– Какие? Дети? – насторожилась девочка, мрачней ещё больше и отодвигаясь.

Он шагнул было к ней. Она отскочила в тот миг – без страха, а только с проворством, и помчалась в глубину кладбища. Но тропа, расчищенная от снега, внезапно кончилась перед нею. Девочка растерялась, попробовала ступить в сугроб раз и другой, однако не осмелилась. И прижалась к ближайшей ограде. Опустив голову, она уцепилась за металлические прутья, пережидая.

Кеша понаблюдал за нею в недоумении, бормоча: «Дикость нравов, на уровне всех поколений». И не спеша направился к выходу.

– Они не могут больше молиться за себя! – беспокойно прокричала девочка ему вслед. – Потому что – мёртвые все! ...Они сами – не могут уже!

– Это – родные твои? – вежливо спросил Кеша, оборачиваясь.

Под порывом ветра сильнее и тревожнее зашуршали бумажные венки. Тёмные кресты словно качнулись разом. И осыпался снег с высоких ветвей.

– ...Всякие! – откликнулась девочка из-за ограды.

– Ну, вот ты за этого человека, допустим, молилась. А что с ним случилось – ты знаешь или нет?

Девочка задумалась, очертила ногой вокруг себя небольшой полукруг на снегу. Потом догадалась:

– ...Умер, наверно! – и скрылась за оградой.

– А между тем, ему двадцать один год. Видишь звёзды на погонах? Младший лейтенант, – с удовольствием показывал Кеша на застеклённую фотографию, глядящую с креста. – А год смерти? Это – Чечня. Скорее всего.

– Не Чечня... – высунувшись из-за ограды, угрюмо сказала девочка. – Это Егорушка наш.

– Всё равно. Не вернулся оттуда живым.

– Вернулся, – тихо упрямылась девочка. – На небо. К себе. Он за меня там молится, Егорушка. А за себя не может больше.

Кеша мог бы поговорить с ней ещё. От скуки и безделья. Но девочка уже уловила его намеренье, прыгнула в сторону и провалилась в снег по пояс. Пока Кеша решал, помочь ей или нет, девочка выбралась на тропу сама, отряхнулась и рассердилась.

– Уходите! – крикнула она. – Нечего. Нечего тут.

Подождав немного, девочка топнула ногой:

– Нельзя сюда!.. Они – не ваши.

– Но я же тоже умру когда-нибудь! – надменно заметил Кеша. – Ты и за меня бы тогда молилась. Не правда ли?

Девочка смотрела на него снизу, широко раскрытыми пасмурно-серыми глазами, которые видели, но не вбирали в себя образ чужого человека, а упрямо оставляли его стоять там, где он стоял. Потом девочка застенчиво пожала плечами и засмеялась.

– А где твоё кладбище? – живо спросила она, вытаскивая из кармана вторую варежку.

– Ну конечно же, не тут! – обиделся Кеша. – За кого ты меня принимаешь? Или я похож на плебея?

– Тогда уходи. На своё! – велела она, насупившись снова и глядя ему под ноги из-под тяжёлых, детских век.

– К сожалению, туда далеко ехать.

Но девочка решительно натянула варежку на красную руку и замахала, будто старуха:

– На своё уходи. Щас же!.. У-у, пустоброд непутный. Ходит!.. Иди, у себя ходи, пустоброд.

Она перестала ворчать, нагнулась, быстро слепила снежок и замахнулась им на Кешу. Но задумалась вдруг о чём-то. Снежок, выпавший из опущенной руки, шлёпнулся к её ногам. И крошечная девочка не заметила этого в своём глубоком и сосредоточенном размышлении.

Сильно рассердившись, Кеша приготовился поругаться с ней самым суровым образом. Однако спохватился:

– А не подскажешь ли ты... – искал он её глазами. – Девочка! Не подскажешь ли ты случайно, как добраться... до грейдера?

Её уже нигде не было. Стоявшая только что в зелёном пальто на тропе, она исчезла меж тёмных вековых стволов мгновенно, будто растворилась в белом сумрачном дне – в шуме ветвей, в шелесте венков, в страшноватом шорохе кладбищенской позёмки. И только отзвук её голоса – «Уходи!.. На своё!..» – ещё витал в пасмурном воздухе, меж заснеженных белых могил и не рассеивался в пространстве. Кеша напрягся было, сопротивляясь ему, – и попятился, и подчинился этому минувшему детскому повелению, как настоящему.

За спиной его часто и дробно зазвонил церковный колокол. И стая тёмных безмолвных птиц поднялась над куполом в белое, облачное небо.

Впрочем, через несколько шагов Кеша забыл про девочку, с живостью представив, как где-то здесь, под землёй, рядом с корнями дубов, лежит сейчас, хитро скосив глаза в сторону, румяный и рыжий амбал с закрученными усами.

– Велика честь – лежать бок о бок, – ворчал Кеша, боязливо прочитывая надгробные надписи. – Вот так состаришься в глуши, безвестно. И отбросишь коньки в полном бесславии, как пресловутый какой-нибудь...

Фамилии «Кочкин» на ближайших крестах не было.

Потом девочкин клетчатый платок возник у него перед глазами снова, сам собою, – клетки были коричневые и белые, – и не пропадал долго, хотя Кеша смаргивал и даже тряс головой, выйдя с кладбища. Вскоре он замешкался, напрочь потеряв дорогу к дому. И зашагал, в конце концов, наобум, по колее. И тут, глядя под ноги, он почувствовал приступ сильнейшего и горького восторга.

– Мне снился сон... – забормотал Кеша на ходу. – Гениально!.. Мне снился сон, что дядя Петя... Что за пресловутый дядя Петя? Впрочем, неважно, я его всё равно увековечу. И прославлю в веках, да... Мне снился сон... Нет, Хрумкин бы опять сказал, что я – абсолютный Такубоку! Мозаичность моего сознания, это вам не баран чихнул! Она достигается только с похмелья, по ходу жизни.

И стихотворение завершилось. Оно получилось коротким, таинственным и таким проникновенным, что у Кеши защипало в носу от большого и высокого чувства.

– Мне снился сон,

Что дядя Петя

Построил домик из воды!

Обрадовавшись, Кеша с удовольствием высморкался в чистый, поглаженный платок и быстро зашагал по мосту. «Мне снился сон!» – успел повторить он с сильным выражением. И услышал внезапно, как за спиной его взревела, отчаянно засигналила летящая на бешеной скорости машина. Кеша резко прыгнул в сторону... Он летел на дно оврага, хватая руками воздух. Последнее, что видел Кеша, сорвавшись с моста, – это широкое, доброе лицо огромного мужика в фуфайке, который гудел, отчаянно сигналил и усердно крутил на бегу воображаемый руль... «Я же искал! Что-то главное! Что-то я искал на этом свете, давно... Но что? Что?.. Поздно...» – промелькнуло у него в голове.

Миня дурачок, сбегающий с моста, рулил и вилял из стороны в сторону, там, в радужном сиянии, высоко-высоко. Сияние это быстро становилось всё более оранжевым, потом – красным, потом – багровым. В багрово-чёрном пятне бежал, виляя, круто рулил и стремительно уменьшался маленький глупый человек, счастливый от отсутствия цели. Дурачок уменьшался, пятно сгущалось – до тех пор, пока не погасло всё.

Вдруг, в последней запоздалой надежде, душа Кеши резко рванулась из темноты. «Брошу! Всю дурь! Честно, брошу! Я всё устрою, только пусть я останусь жить! Жить буду – чисто! Чисто! Чисто!!! Я стану другим человеком, другим!» – взмолился он уже из вязкого беспомыслия, не произнося этих слов. Он успел выбросить их, не звучащие, как выбрасывают белый флаг, в одном сильном, отчаянном стремлении – уцелеть: «Теперь – клянусь: по-другому!.. Только – жить!»

Кажется, в каком-то тёмном коридоре он судорожно нашаривал вслепую, искал за бесконечными поворотами, в крошечной тьме, дверь, обитую дерматином, за которой, он знал, был свет, и огромный куст «Ваньки мокрого», буйно цветущий среди зимы сплошным алым цветом. Он тянул руки к недостижимой уже двери, за которой был когда-то запах тёплых духов, женский говор, тихий смех... И нашарил. И открыл глаза.

Высоко над оврагом завывал сухой, холодный ветер, он срывал со склонов и сбрасывал вниз мелкий снег. Снежная пыль долго вилась на лету и редела. Потом, почти уже незримая, она попадала в глаза, таяла на лице. Влага тихо стекала к ушам. И Кеше было покойно лежать в снегу, будто в глубокой колыбели – или в холодной перине, послушно принявшей точные очертания его тела. «Всё будет по-другому... Совсем по-другому...» – беззвучно плакал Кеша на дне оврага, понимая, что жив, и был счастлив спокойным и кротким счастьем, пока не почувствовал, как зябнет затылок. «Пр-р-роклетье. А шапка где?.. – внезапно обеспокоился он. – Она же совсем как новая была! Псих её в своей больнице почти не износил... Да, судя по шапке, прогулки там весьма редко бывают...»

Кеша сел, ощупал себя. И удивился оттого, что нигде ничего не болело. Вязаная шапка его отлетела недалеко – она валялась на расстоянии вытянутой руки жалким комом, похожая на подбитую ворону. Чёрная, с бурой полоской. Он долго вытряхивал из неё снег, прежде чем натянуть по самые брови.

Потом Кеша опять посмотрел вверх – и понял с тоской, что выбраться из оврага невозможно. Синие отвесные тени спускались ко дну, где сидел он в глубоком снегу. Зловещие сумерки сгущались вверху, над землёй. Тут, в безлюдье, кричи, не кричи... От явной безысходности ему захотелось забыться: зарыться в снег поглубже, где теплее, и отдохнуть, не думая ни о чём. Утомлённый переживаниями, Кеша нервно зевнул. И почувствовал на себе остановившийся дикий, звериный взгляд. Он быстро оглянулся в страхе и смятении. Рыжий кот, замерший, взъерошенный, сидел в заснеженном бурьяне и смотрел сквозь Кешу дремучим взглядом.

– Кис, кис, кис... – зачем-то позвал его Кеша.

Кот не шелохнулся.

–...Кис! Кис, кис! – звал Кеша вкрадчиво и осторожно.

Но вот зверь дёрнул ухом раз, другой. Потом встряхнулся – и пошёл прочь, со dna оврага. Наверх. Кеша напряжённо следил за ним. Выбирая путь, кот неторопливо двигался по отлогим мелким проплешинам. Он огибал отвесные обрывы и занесённые снегом глубокие, провальные впадины.

Вдруг Кеша испугался, что кот исчезнет из виду. Торопливо поднявшись, Кеша двинулся за ним следом, но тут же увяз в снегу по пояс. Он выбирался, в спешке помогая себе руками, барахтался и почти полз. Зверь остановился на узком возвышении, с которого ветром смело почти весь снежный покров, и будто ждал теперь человека под отвесной глинистой стеной.

Наконец Кеша выбрался на кошачий путь. Теперь ноги чувствовали опору. А бурьян по склонам крепко держал его, цепляющегося за высохшие, заиндевевшие вершины. Впрочем, они до странности были похожи на вздыбленные корни – будто растения росли вверх ногами и, может быть, цвели там, под землёй, тайно, долгими зимами, вбирая с поверхности своими корнями хмурым светом холодных небес, будто пасмурную воду.

«Парадокс в голову влез!» – Кеша быстро сморгнул с ресниц странное мысленное видение. И понял: это – от психовой шапки. Сдерживая дыхание, он лез за зверем...

Больше всего на свете он опасался спугнуть кота и часто поднимал голову вверх, торопливо запоминая все извивы его замысловатого продвижения. Но рыжий кот останавливался. Зверь отрешённо смотрел на выбирающегося человека некоторое время, не давая, однако, ему возможности приблизиться слишком. Глаза кота вспыхивали в тени обрыва жёлто и неприязненно, и тут же гасли – кот шёл наверх.

Когда голова Кеша показалась из оврага, кот уже стоял понуро на огромном пустыре, поодаль, полуобернувшись. Зверь, неопратно взъерошенный, будто отошал теперь на ветру и обессилел враз. И в том, как он наблюдал за человеком, Кеше почудилась тоскливая и презрительная отчуждённость.

– Вывел... – не веря себе, восторженно бормотал Кеша, выбираясь из оврага окончательно, ноги его дрожали.

Однако прокашлялся он вполне солидно:

– Хм. Конечно, зверь чувствует, кого выводить, а кого – не обязательно.

Мгновенный закатный луч выбился из облаков у самого края небес. Рыжая шерсть ярко вспыхнула вдруг в снежной синеве – и померкла. Кот исчез бесследно.

Потом Кеша отряхивался на ветру, приходя в себя. Он решительно не понимал, куда мог подеваться этот огненно-рыжий кот среди огромного и открытого заснеженного пространства, быстро темнеющего перед ночью.

Но уже включался свет в окнах домов. Они казались совсем близкими. И Кеше было, куда идти – к теплу, к заботе, положенной ему по праву.

И, наконец, всё происшедшее стало казаться ему только глупым недоразумением – не больше.

– Ну, дер-р-ревня... – бодро вышагивая, поражался он недавним своим переживаниям. – Чокнешься – запросто, доходишь тут в чужой шапке... А что? Начнёшь ещё сам наказывать себя. Как псих пресловутый. За неправильный ход мыслей!.. Ну, не-е-ет. Я же всё-таки не кретин какой-нибудь, правильно? Это же за версту видно!..

Однако на душе у него было беспокойно. Звериный дремучий взгляд чудился ему за спиной. Кеша оборачивался, смотрел на замершее пустынное поле, на поднимающуюся над тёмным бором бледную луну – и не обнаруживал никого.

– Выходит, как будто ничего не случилось... Светит... – неприятно поражало его бесстрастное ночное светило, следующее над снежной равниной своим извечным путём. – А если б я погиб?! Безобразие. Посильнее бы долбанулся – и к утру был бы не живее памятника самому себе... Нет, я же вполне мог оконечить!!! Как пресловутый Кочкин какой-нибудь. Или... Или...

Ему тут же вспомнилась замёрзшая курица с выклеванными глазами, неподвижно стоявшая возле навозной кучи на одной ноге. И холодок пробежал по его позвоночнику, а голова неприятно втянулась в плечи. Вдруг взвыла в бурьяне, заводясь, машина – без мотора, без кузова, без колёс. Слабый её, тёмный силуэт был едва различим на косогоре. Переключились скорости. И она понеслась, недвижная, под луною, по несуществующим

буеракам, и задрезжала, загрохотала на неведомых колдобинах, будто везла кровельное железо. Остановившийся было, Кеша долго матерился на краю поля.

Но, шагая уже вдоль улицы, он осмелел снова.

– Подумаешь – с моста навернулся! – заносчиво повторял он одно и то же под скрип шагов, пытаясь переспорить то ли самого себя, то ли кого-то ещё. – Делов-то.

– Обычный парадокс! Без единой царапины, между прочим, – презрительно сплёвывал он.

На улице не было ни души. Только впереди, по узкой тропе, протоптанной в снегу, медленно плелась сгорбленная старуха в длинном чёрном пальто, с клюкой, и держалась за поясницу. Он нагонял её довольно быстро. Однако чёрная старуха вдруг суетливо качнулась прямо перед ним, словно собираясь завалиться на бок, но сделала неожиданно широкий шаг в сторону, к низкому освещённому окну совсем небольшой избёнки. И Кеша устался на комнатный свет во все глаза, поверх замершей у стены старухи – окно было приотворено на улицу, словно летом.

–...Что высишися, о убогий человеке? – доносилось оттуда чьё-то заунывное, распевное чтение. – Кал сый, и гной. Что дмешися и выше облак высишися? Помысли состав свой. Яко земля еси, и паки в землю пойдёши...

Вдоль окна, то ли на лавке, то ли на стульях, лежал прямо перед ними старый, сосредоточенный покойник в гробу. Мучнистое лицо его в чёрном бумажном венце, испещрённом белыми буквами, было совсем рядом. Вокруг гроба сидели, должно быть – не первый день, усталые дремлющие старушонки, в пуховых шальях и в фуфайках. И какая-то одна, невидимая, читала монотонные, усыпляющие слова писания, борясь с зевотой:

–...Богатый, благородный, сильный, гордый, напрасный, во един час овцы кротче ляжешь, и отыдешь как не являвшийся. И держащий – держим будешь, и рождённый аки не родився, и ведущий – ведом аки осуженник...

Между тем чёрная старуха, приникшая к завалинке, уже тихонько продвигала по подоконнику свою клюку, шурясь подслеповато, но прицельно. И вдруг ткнула ею гроб точно и коротко, будто бильярдным кием. Гроб дрогнул на мгновение.

– Как вы... посмели?! – выдохнул с улицы потрясённый Кеша прямо в окно.

Чёрная старуха, обернувшись, широко улыбалась в тёмное пространство беззубым ртом и не видела чужого человека вовсе. Она поплелась дальше со своей клюкой, держась за поясницу и бормоча что-то себе под нос. И Кеша увидел в тесной раме яркого окна вскочивших разом людей. Потом услышал чей-то страшный, бессмысленный вой. Затем хлынули из избы крики и торопливые причитания. Захлопали где-то двери. На улицу, одна за другой, выбегали из калитки старушки в фуфайках и суетливый домашний люд.

– Чегой-то было? – тревожно кричали все одновременно. – Чегой-то было? А?

– Да чуть из гроба не выпрыгнул, Данила-то!.. Как ворохнулся!..

– А сказал что ль чего? Иль молчком ожил?

– Да я и не расслышала.

– Спросил он! – зазвенел в темноте тревожный и уверенный девичий голос. – «Как вы... поели?!!» спросил!

Остолбеневший было, Кеша понял, что лучше убраться отсюда подобру-поздорову. Встрешенный люд в ту минуту притих у калитки. И кто-то произнёс в ночи с пониманием:

– ...Беспокойся, значит, Данила. Как бы людей плохо не накормили.

– Во-о-он оно что... Отец! Придётся, наверно, хорошую рыбу-то из погреба всю доставать.

– Чего же, достанем, – тветил озадаченный мужской голос.

– Ты погляди! Данила-то – умер-умер, а сам про рыбу, которая в погребе, не забыл. Из гроба прям дочери-то напомнил. Вскочил, не поленился... – переговаривались у калитки.

– Да. Уж как привык при жизни-то за всех радеть, обо всех печалиться, так после смерти и не остановится никак.

– Радетель!..

Неторопливо бредущую чёрную старуху Кеша обогнал, поравнявшись с колонкой.

– Бабушка! Старая, а озоруете, – поругал он её на ходу, ещё не успев толком придти в себя.

Она не обратила на него никакого внимания. Только ворчала за его спиной, двигаясь с горы потихоньку и мирно поскрипывая по снегу тяжёлыми валенками и клюкой:

– По полотенчику-то, небось, все возьмут, не откажутся... Дремлют, курицы... Их молиться позвали: спят, как на насесте... Вот, пускай, встрепенутся маленько, проветрятся! Курицы сонные. Наладились возле покойников спать... Побойчей теперь молиться-то будут с перепугу! За Данилу-то за Михеича за нашего... А то разоспались на стульях, как барыни!.. Какие это молещницы? Пришли к покойнику носами клевать. А по полотенчику – возьмут.

– Жуть во мраке, – оглядывался Кеша на неё, бредущую с горы в морозном, лунном свете. – Жуть! Жуть!

Старуха в чёрном плюшевом пальто услышала его. И ответила из-под звёзд внятно и отрешённо, опершись на клюку подбородком:

– Ты. Мало. Хоронил. Лебедик.

Бронислава была ещё на работе. В доме стояла гулкая уютная тишина. Кеша, не раздеваясь, взял ковш, зачерпнул из фляги, со дна, жидкое месиво, пахнущее перекисшим тестом. Выпил с отвращением, редкими глотками – и зачерпнул ещё. Жизнь стала медленно налаживаться в её прежнем виде. Он нашёл на плите тёплую тушёную говядину с картошкой, поел из кастрюли, стоя.

– Преследование судьбы! – заключил Кеша, разглядывая пустую ложку. – Нет ходу настоящему таланту. Давит бездар-р-рность! Давит.

Он кинул ложку в кастрюлю, сел за стол и попытался заплакать – легко и чисто, как плакалось в овраге. Однако у него ничего не получилось. И тогда он, проглотив жижи ещё с полковша, начал жалеть себя.

– Собачья жизнь! – с тоскою выкрикнул он, сжимая виски. – Рыжие путеводные коты... Девчонки хуже старух, старухи хуже девчонок. Эх, Викентий! И куда же ты попал!.. А молодухи?! Все – без признаков половой жизни... Кругом одно безобразие. Туалет – и тот на улице!!!

Но сердцу не хватало ещё какой-то горькой обиды, и тогда он встал посредине избы, перед старинным настенным зеркалом с пожелтевшим стеклом, и зарычал с угрозой и презрением:

– Ты что же думаешь? Захоботала интеллигента? Купила?! Вам всем нужно одно: денег мне дать как можно меньше – чтобы как можно дешевле меня купить... Как же, меня легко купить! У меня нет ни-че-го. Если мне не изменяет память, у меня нет даже коровы. Нет сарая и дома. А потому меня может купить всякая... Но не-е-ет!!! Врёте! Не захоботала! Вам всем только кажется, что вы меня покупаете! Ха-ха-ха! Вам всем только так кажется!!!

Он похохотал ещё – зловещим, раскатистым, торжествующим смехом, слушая себя. И резко воздел руки к потолку:

– А я – свободнее вас всех. Да!.. Если человек продал себя кому-то одному... чему-то одному... – он раб. Презренный раб!.. Но если он продаёт себя всем и каждому, он не принадлежит никому в отдельности! Он – свободен!.. На самом деле это я, я каждый раз заставляю вас служить моей свободе!!! – колотил он себя в грудь. – И, может, самая высокая цель ваших бесцветных, бессмысленных, бытовых судеб – это кратковременное служение мне!!! Иначе бы вы всю жизнь служили только своим пресловутым домам, сараям и коровам... Да, вы все – послужили мне! По ходу жизни. И в этом было ваше короткое счастье. И высший смысл ваших бездар-р-рных судеб!

Он замолчал, необычайно довольный собою и взволнованный, подумал ещё немного – и закричал вновь, вглядываясь в себя, туманно-желтоватого, потрескавшегося, будто сухая глянцевая глина:

– Захоботала?! Хха-хха-хха! Сколько вас, таких, думало подобным образом!.. И – если бы вы служили мне бескорыстно? Это бы вас как-то извиняло... Но нет! Вы служили в расчёте на то, что я впрягусь, и начну батрачить на вас! Что – отработаю: вот в чём парадокс!.. Ах, как мне вас жаль: вы просчитались, все до единой! Ведь вам-то у меня взять было – нечего! Вам нечего было у меня отобрать – ни-ког-да! Вы рассчитывали на отдачу, а я... Я же – парил, как орёл, не отягощённый деньгами! И всегда презирал и без того презренный металл! Да, вы были не властны надо мной... Гадство, жалко, Хрумкин меня не слышит. Он бы оценил. По достоинству.

Подбоченясь, Кеша гордо поворачивал вскинутую голову влево, вправо. Затем он принял в деревянной оправе зеркала вид грозный и беспощадный:

– Хотела, чтобы я снизил свой полёт? Вот – твоя низкая цель... На работу гнала – зачем? В первый же день совместной жизни – в свадебный день?! Чтобы мужик на тебя пахал? Ха-ха-ха! Привыкла выворачивать мужнины карманы?! Выгребать всё до копейки?! Сделала моё положение безвыходным? Загнала в угол? Прикормила?! Да, жалок мой сегодняшний удел. Я бьюсь в четырёх стенах, ур-р-родуя кр-р-рылья...

Потом он начал расхаживать по комнате, сбивая половики и пробуя зарыдать вслух в припадке бессилия и горького восторга, но кроме непродолжительного воя, которого он сам же и устыдился, у Кеши ничего не вышло.

– Ах ты, скотина... – услышал он вдруг. – Это когда и что я отбирала? И у кого? У тебя что ли?

Он быстро взглянул на Брониславу – та стояла у порога. Губы её вздрагивали от обиды. Кеша сжался от непонятного страха:

– ...У меня, может, заначка была! Сто рублей! Куда она пропала? А? Из кармана! Сто рублей! – неожиданно для себя закуражился он.

Бронислава между тем, деловито раздеваясь, тихонько бормотала:

– Ну, погоди. Я самого Кочкина два раза лупила, он пятьдесят шестой размер носил. А тебя-то... брюхо да ручки. Пингвин.

В руках у Брониславы мигом оказался круглый резиновый шланг из стиральной машины. Согнувшись, она дёрнула половик из-под Кешиных ног. Потолок и пол в его глазах неожиданно поменялись местами.

– Ты что?! – успел выкрикнуть он на лету.

– А не что!!! – крикнула Бронислава гораздо громче Кеши, огрев его шлангом по спине.

Потом Бронислава хлестала, не останавливаясь, с размаха, размеренно и больно. Его, так неожиданно рухнувшего – и барахтающегося. Прячущего лицо в половики и быстро отползающего. Кеша пытался увернуться и что-то прокричать под ударами. Но не успевал.

– Моп-поп... моп-поп... – вырывалось только сквозь его стиснутые зубы. – Моп!!! Поп-поп...

Но удар следовал за ударом. И взмах следовал за взмахом.

Наконец, измучившись, она швырнула шланг в сторону, подхватила Кешу и с трудом водрузила на кровать, кинув поверх него его же куртку.

– ...Я же люблю тебя! – слабо возмущался, бился и плакал под болонькой Кеша. – ...Козябра!

– Спи, алкаш, – почти ласково сказала Бронислава. Она сидела у кухонного стола и успокоенно смотрела перед собой, не поправляя выбившихся волос. Кеша затихал, постанывая всё глуше.

«Вот. Дожилася... – горевала Бронислава. – Из-за него и в гости никто не приходит. Ни Колюня Струков, ни Мишаня Нечаев... Все дорожку сюда позабыли. Даже Гришенька Летунов с Варварой... И все-то меня позабросили теперь. Одна Зинка через забор подглядывает, следит».

Она вспоминала друзей покойного мужа. Мало и скучно разговаривали они теперь с ней при встречах. И не спрашивали ни о чём, и не звали в гости, а торопились, торопились по своим делам. Борова паяльной лампой палить. Утопленное ведро из колодца кошкой доставать. Или баню срочно топить. А она, подкрашенная, как для клуба, и даже напудренная, всё стояла посреди разных буянных улиц, и там – и сям, и всё глядела им в спины, подолгу.

«Вы зачем такие-то? – каждый раз хотелось ей прокричать вслед. – Ну и замуж за городского вышла, ну и что ж теперь? Удавить что ль меня за это, как несознательную?.. Разве же можно плохому сразу верить, а не хорошему? Разве же можно – сразу душой на плохое-то поддаваться?! А?.. Да что же это шеи-то у вас теперь в мою сторону не ворочаются, как у волков? Не бирюки вы всё же, люди!.. Ведь вон, Лида Погода с фронта какого себе привезла – чужого, аж псковского, да на деревянной ноге, изувеченного, и что? Её вы капли не корили. А он тоже рюмку мимо рта не проносил, между прочим! Не за ворот лил...»

И перед Брониславой снова появились, как живые, они, бредущие внаклон, на почту, против жаркого пыльного ветра, уцепившиеся друг за дружку. Красивая, но темнолицая Лида Погода – и страшный Семён Война. Такой страшный, что от него шархались собаки...

Лида отвоевала связисткой, а потом заведовала метеостанцией – передавала из конторы по чёрному большому стенному телефону различные цифры, соответственные замерам. А Семён Война справлялся на почте, пришли или нет сообщения по розыску его псковских родных.

– Не было! Завтра, Семён, приходи – завтра день тоже почтовый! Не пустой! – кричали ему заранее.

Он вытирал уцелевшей рукой рваные, всегда влажные, веки и отходил к жене, говорящей в трубку. Конторские переставали щёлкать счётами, смотрели на её военную выгоревшую юбку, потом на неё саму, разминающую у аппарата папиросу «Беломор», и почтительно шептали:

– На фронте головой повредила. От позвоночного ранения.

– А ведь на учительницу совсем было выучилась. На литературную. Ученье-то всё зазря пропало.

И снова все мелко посматривали на Семёна – не прямо, а урывками: из вежливости. Потому что неловко было каждому здоровому человеку видеть открыто синие страшные оспины по всему лицу – от порохового ожога, и пустой правый рукав его, заправленный в карман пыльного кителя.

– Война... – вздыхали конторские над бумагами.

Все цифры с листа Погода прочитывала отрывисто и хрипло. Она говорила потом:

– Конец связи!

С клацаньем повесив трубку, Погода подхватывала своего Войну под уцелевшую руку, и они уходили, широко раскачиваясь.

– Курлы, курлы... – скрипела Семёнова деревянная нога и стучала по конторским половицам как колотушка.

Они отправлялись к себе – то под пыльным вихрем, то под вьюгой, то под секущими дождями. И ветер всегда дул им в лицо. А маленькая Бронислава нагоняла их с толпой ребят, чтобы обязательно избить того, кто примется передразнивать Семёна за его спиной – ковылять, припадая на одну ногу, будто стала она тоже деревянная, как у Войны, и скрипуче приговаривать:

– Курлы, курлы. Курлы, курлы.

И если Брониславе удавалось избить насмешника сильно, она бывала довольна собой и горда. А если не очень, то печалилась – будто кто-то там, наверху, видел её слабую, никудышную драку и мог поставить ей за это двойку...

Иногда мальчики не отставали от фронтовиков до самого казённого дома при метеостанции, в котором жили нелюдимо Погода и Война. Он и она сидели там за столом, у окошка, и напряжённо молчали друг перед другом. Между ними зеленела бутылка водки, всегда – полная, будто одна и та же. И летом, при открытом окне, можно было услышать с улицы только один разговор, суровый и короткий:

– Нет Бога! – говорил неподвижный Война.

– Есть Бог! – отвечала Погода хрипло, через время. – Найдутся.

Рядом, на огромном огороженном поле, возносились к небу на столбах две дощатые сквозные будки, похожие на скворечницы, и одно алюминиевое ведро. Погода взбиралась на лесенки по утрам. Она сидела на верхних ступенях и курила, глядя в небо. И определяла состояние послевоенных облаков прищуренным взглядом. А движение мирного воздуха перепроверяла по направлению папиросного дыма. Туманные пряди расходились от неё на четыре стороны света, поочередно, покачиваясь и истаявая. Погода понимающе качала повреждённой головой, следя за ними пристально и напряжённо.

Потом в её работе получился сбой. Она не пришла в контору со своим Войной день, и другой. На третий же повезла, простоволосая, на больших санках для дров, по рыхлому и тёмному весеннему снегу, дощатый ящик из-под приборов. В нём лежал в сером всегдашнем кителе Семён Война, положив тоскующую руку на грудь. Левая, никак не встречающая другой, дотягивалась зато до ордена, совсем нового, будто не надёванного ни разу. И медали позвякивали недоумённо, когда Погода, одетая в пальто из шинельного сукна, рывком дёрнула санки. Деревянные полозья присасывала снежная, чавкающая каша, не отпуская их. А влажный ветер играл концом шали, которой Погода закутала ноги Войны, и трепал прядь её непокрытых волос, выбившуюся из-под гребёнки.

Буянские сами выбегали из домов и тревожно кричали друг другу на широком, сквозном ветру, по всем улицам:

– Айдайте бегом! Там Погода Войну в одиночку хоронит!

– Ой, повредила. Зовите старушонку скорей. А в Пскове-то – не знают, поди, про сердешного-то нашего?

– Некому-у-у! Знать!..

И много, много народа сбежалось тогда проводить его. И жарко пылали в дневном сумраке, над Семёновой свежей могилой, свитые высокие свечи в десятки фитилей – как ни над какой другой. Потому что старухи принесли второпях не правильные, а пасхальные – праздничные свечи. Но никто не понимал этой ошибки...

Только Погоды уже не было рядом, среди почтительно молчащих буянских, одетых в спешке кое-как и прикрывающих нестерпимо яркие свечи от промозглого ветра руками и плечами. Она сразу отправилась курить «Беломор» – на высокую лестницу, под самое алюминиевое ведро, уставившись глазами в переменчивое небо, как в судьбу.

Малые ребята спорили, просидит простоволосая Погода на лестнице до утра или зазубнет без похороненного головного своего платка и уйдёт спать в тепло. Они остались в сырых кустах, возле метеостанции, чтобы узнать незаметно, кто оказался прав. А Бронислава вернулась домой. Весь тот вечер она писала на черновике левой рукой, не переставая, без ужина.

Утром её вызвали к доске и продиктовали предложение.

–...Броня! Разве ты левша? – спросила её озадаченная учительница.

– Я так выучилась, – хмуро ответила она от доски, не переставая стучать мелом.

– Зачем?!

– Чтобы я умела писать, если мне правую руку оторвёт, – ответила Бронислава.

И велела учительнице:

– Диктуйте дальше.

От мороза, окрепшего к ночи, что-то треснуло в бревенчатой стене.

– Батюшки-светы! – вздрогнула Бронислава за кухонным столом.

Потом загудел с посвистом над крышей ночной ледяной ветер. И кто-то свой, древний, родной, но совсем, совсем незнакомый, начал твердить ей с высоты, как маленькой – из глубины насторожённых, прошлых времён, давно взлетевших в небо и уже не видимых с земли: «Думе на счастье – не поддавайся. Думе на счастье – не поддавайся».

Она быстро подняла взгляд на тёмную икону, стоящую высоко, на угольнике, и зашторенную теперь кружевной нарядной занавеской, белой словно иней. Суровый Бог Саваоф не видел её, потому что видел всех людей на земле сразу: бывших, настоящих, будущих и безвинно умерщвлённых матерями во чреве: не открывших глаза на свет и не окрещённых никем. А она не видела теперь Лица сквозь снежные кружева, потому что сама зашторила занавеску наглухо семь дней назад.

Так, с занавеской, получалось скромнее – живёт она с Кешей, но не по-наглому всё же: не на глазах у иконы пока что живёт... А то ведь замуж за Кочкина этой иконой Брониславу благословляли. Не ещё за кого... Не за этого! Ой, не за этого благословляли!

Она пригорюнилась, потому что вспомнила, как с ней, с шестиклассницей, пошёл однажды в церковь после уроков председатель пионерского отряда Макарушка Макаров, самый красивый из всех круглых отличников. Креститься председатель умел, молиться – тоже. Но в церкви он научился от Брониславы целовать иконы, хотя была она троичница, а в красавицы не попадала никак – из-за широких плеч, слишком крепких ног и небольшого роста.

Это в доярках Брониславу погнало ввысь до головокружения и до чёрных мушек в глазах, так, что за зиму она вытянулась на двадцать три сантиметра и стала ходить на ферму в материнской одежде. Потом уж, когда заработала, оделась, как люди: в новую фуфайку, в полушалок магазинный козловый, и в новые валенки с калошами обулась. А нарядное ей справили попозже. Чтоб нарядное до свадьбы она вдрызг не износила бы. А то всё на ней

горело! Истлевало мигом от телесного жара. Никакого сатина не напасёшься. Не говоря про ситчик, конечно...

В церковном полумраке Макарушка целовал иконы ещё старательней, чем Бронислава. Он прикладывался к каждой, придерживая концы красного галстука на груди. И так переходил от одной к другой, пока не поцеловал план пожарной эвакуации, висевший у выхода.

Смеяться над Макарушкой в церкви Бронислава не стала. Только побежала скорей домой, через кладбище, напрямки, зажимая ладонью весёлый рот. Она никому не рассказала потом про план. Зато привыкла с тех пор думать о Макарушке в одиночку, смело и смешливо. И из-за этого полюбила его нечаянно совсем уж чудной любовью – сквозной, посторонней, не подходящей для жизни. Но пригодной для тоскливой и тайной радости. Про такую свою любовь люди не умеют говорить. Потому что находится она гораздо выше жизни. Летаёт там на полной, вечной свободе, и никогда не опускается вниз.

Но Макарушка тоже, один, не смеялся над ней в седьмом классе, когда она, в своей тоскливой радости, выщипала брови по ранней весне – так старательно и усердно, что остались от них только две жалкие запятые, похожие на пиявки. Красная от смущения, Бронислава тайком оглядывалась на красивого, чубатого Макарушку, сидящего за партой неподалёку. И он тут же показывал пальцами на своих бровях два крошечных отрезка. И сильно тарачил глаза, чтобы Бронислава немного развеселилась.

Да, веселил он Брониславу, веселил – весь месяц спасал от печали, пока пробивались, щетинились и росли новые её брови! Хотя на него в это время глядела дочка председателя сельпо, ещё не ставшая фельдшерницей. Со всяческим прищуром глядела. И капроновые диковинные банты всеми пальцами надменно поправляла!.. А Бронислава только перекидывала свою тяжёлую косу на спину, да и всё. И отворачивалась сразу к раскрытому весеннему окну. В него влетал зелёный быстрый ветер-сквозняк, пахнувший первой травой, полый водой, мокрыми щепками, и уносился ветер в школьные коридоры, громко хлопая всеми дверьми по очереди... Апрельский ветер хорошо студил безбровое лицо. Очень хорошо. Студил.

Перед свадьбой Бронислава нарядилась и поняла: любовь, которая пониже, проще и легче. При ней можно плясать, и ругаться, и на своём стоять – можно. Всё равно она кажется надёжной, как январский толстый речной лёд под стопой. Пока не поскользнёшься, конечно, на ней с годами... Да, и такая любовь не терпит чужого глаза и слуха. Кочкин разлюбил Брониславу по её же вине. И замёрз нарочно, из принципа – чтоб не жить с ней больше, с нелюбимой...

– И баню достраивать ему поэтому расхотелось, и ружьё новое покупать, – качала головой Бронислава, разглаживая кухонную клеёнку на столе без всякой на то нужды. – Вот, нечего мне было трещать без умолку: «Он меня на руках носит! Пылинки прям с меня все кряду сдувает! И я ему – во всём угождаю! Незнай как стараюсь!»

Так сочиняла она по-бешеному. А сама, как лапшу наливать, так шею куриную ему в тарелку клала... И он криком уже кричал, из себя выходил: «Я этих шей при тебе объел столько, что по длине они землю два раза обогнули и опять в рот мне упёрлись! Ну, ещё раз положишь хоть одну, ты меня больше – не увидишь».

А она и не верила! А она – опять: бултых из половника! Нечаянно... И вот, он от куриных шей на тот свет и сбежал. Задушила она ими Кочкина, со света сжила, вот что.

Да ещё твердила везде: «Я у него на первом месте!» А ведь останавливала Брониславу мать-то её, Парасковья Ивановна: «Смотри! Останешься со словами вместо мужа!» Не поняла её вовремя Бронислава, не остановилась. А надо было ей молчать – в тряпочку.

– Да, уж если приврал человек про любовь, приукрасил её перед людьми – всё: пиши, пропало! – суровым шёпотом рассуждала теперь Бронислава сама с собою. – Чем сильнее в думу на счастье кто нырнул, тем горше потом правда вся наружу-то выплеснется...

Вон как за Нюронькой Зайцевой Митряс электрик ухлёстывал, вспоминала она. Преследовал прям, как козёл душной. И что? Стал он везде делать вид такой, что промеж них всё сладилось, и что поженятся они вот-вот. И слова везде такие стал отпускать: со смыслом. Мол, кто знает, тот поймёт. А сам – врал на ровном месте!.. И так Нюроньке сразу омерзел через это! Страх.

Хуже горькой редьки он ей стал, Митряс. Аж пиджаки мужские Нюронька-то видеть не могла. Не переваривала даже их. Прям на дух не переносила. Как в магазине на мужской отдел глянет, на одежду мужскую как обернётся невзначай, на вешалках-то которая по ранжиру выстроилась, так её посреди магазина прям рвёт! Ну, рвёт прям – и всё... А что? Думе на счастье поддался Митряс. И в думу свою, как в правду, поверил раньше время! Вот и опротивел до тошноты...

Хорошо, за Зайцева она потом всё же вышла кой-как! Нюронька-то, сердешная. А то ей хоть из загса, с работы, увольняйся. Ну, на каждом свадебном марше её мутит, как в самолёте! И после каждого штампа у неё экзема начиналась по всей руке, и на спину переходила до самой ягодицы. Такое противное ей всё замужество сделалось. И если б не бабка Струкова!.. А она – что, бабка? Желтки крутые на спицу низала да над свечой их топила. Маслице желтковое по капле в банку собирала. И Нюронька им экзему свою на ночь мазала. Только это и помогло! А то бы и за Зайцева она не вышла, без бабки-то Струковой. Так её от мужского всего воротило...

– Вот и я. Приукрашивала много. Про Кочкина, – корила Бронислава себя. – И сама в это верила. А что оно и не сходилось, мне ведь было наплевать!

Да, понимала теперь Бронислава: вымолвленная, любовь перетекает в слова, как в кадучку без дна. И человек тогда остаётся один на один с тем, что выговорил, потеряв того, кого он любит, навечно. И остаются с ним только собственные его пустые сказки – вместо того, кого он любит. Как радужные пузыри перед глазами, остаются. Ну и лопаются они, конечно, в брызги прям.

Потом неосторожная душа долго остаётся растерянной, пока не сделается совсем пустой и не запертой для всякого пыльного, горячего, дурного вихря...

В стене, меж брёвнами, охнуло и треснуло ещё раз.

– Батюшки-светы!

И ночной ветер понёсся над крышей так, словно сорвало с места само ночное безбрежное небо. И снова предостерёг её из прошлых, напряжённых времён кто-то, переживающий за неё, свой и справедливый: «Думе на счастье – не поддавайся!.. В думе такой слабнет человек. Он теряет себя, теряет других – всё тонет навечно в думе о счастье!.. Не поддавайся».

– Из-за этого я не нужная никому, – поняла Бронислава и удручённо покивала себе. – Что поддаюся. Вот.

И как ведь обидно ей Кочкин перед смертью всю правду в лицо высказал! Говорит: «Никогда я тебя не любил! Никогда!.. А хотел только я, чтоб родила ты девочку, в точность на тебя похожую. И чтоб видал я каждый день, как она сызмала растёт! И каждый вечер, и каждое

утро чтоб видал её. Потому что не в одной избе мы с тобой с рожденья жили, и много чего из твоей жизни, Бронь, я пропустил, не понял в тебе из-за этого... Вот чего мне в жизни жалко!.. А любить – не любил. Врал нарочно! Не любил и не люблю... И Нину ты родила – нарочно вылитую Парасковью Ивановну вторую: тещу! А не себя ты мне родила!»

Да с этими словами кинул шею недоглоданную в тарелку – и уехал. Со слезами прям уехал... И не вернулся уж домой после этого. А внесли его озёркинские незнакомые люди. И лежал он потом в дому, как живой. Будто поглядывал всё на Брониславу с лавки и следил за ней неотрывно – такие несомкнутые веки у него были. Хоть и умер, а не пропускал все три дня, как тут Бронислава без него, живого, ходит. И как в день она живёт, среди пришлых сродственников, и как – в утро, и как в ночь – тоже. До последнего мига он её вприщур, мёртвый, видал, пока крышкой гробовой его не закрыли... Она ведь из-за этого за кухонной занавеской пряталась и там глаза луком натирала, не ещё из-за чего. А то ведь он посматривает, а слёз у неё – капли нету, и всё тут! Как заколодило прям! Ну, стыдоба.

– Думе на счастье поддаюся... И вот опять расписаная, а хуже блудницы я для всех что-то получаюся... И почему так, Господи? Третья-то любовь – она ведь кургузенькая совсем. И не летает она, а так – суетится, как куропатка в некосях. Жалельная она, третья-то любовь, неправдышная почти что... Что же, и такое счастье себе забирать, выходит, нельзя? То счастье, которое плохо лежит...

Бронислава ждала ответа насторожённо и долго, пока не устала слушать глухую комнатную тишину, в которой летали только, оторвавшись от её мыслей, самые последние, подуманные вслух, слова:

– Плохо... Плохо... Плохо...

Она оглянулась на Кешу. Тот спал, словно в обмороке, с широко разинутым ртом.

– У того глаза не закрывались, а у этого... – вздохнула она, сравнив мужей невольно. – Вот и этого излупила. Эх, жизнь!

– А ведь талант-то какой! – решительно и громко подумала она про Кешу.

Пошарив под клеёнкой, Бронислава вытащила помятую, но расправленную бумажку, исписанную прыгающим Кешиным почерком, которую берегла и хранила для себя. Буквы были пузатые, полупечатные, и каждая стояла врозь, как сирота.

– Мы встретились тайком

Тем дивным вечерком.

Смеялись от любви

Хрусталики твои... –

медленным полушёпотом прочитала она в который раз.

– Складно как... – снова поразилась Бронислава. – Разве же я ему пара? У меня и говорить-то по его не получается... Ох, разве ему такая нужна?!

Кеша слабо всхлипывал во сне и изредка дёргал ногами в городских рябых носках.

– Лысеет. Вон, волосёнки-то, как прополотые. А всё тычется кругом без толку, – раскачивалась и пришёптывала Бронислава. – Как ему одному жить? Старится уже... Это по молодости хорошо – скакать туда, сюда. А теперь... Пропадёт ведь.

Кеша что-то быстро, невнятно сказал, взмахивая руками. Куртка мягко шлёпнулась на пол.

– Дожился. И одеть-то его по-людски некому. Так весь век, неухоженный, проходит. И холодный, и голодный... – Бронислава смотрела на упавшую куртку, часто утирая кухонным полотенцем выступающие слёзы. – Нету у него приюта в жизни – и в душе уюта нету. И зацепиться ему не за что... Вот и несёт его по свету, несёт: Россия – она ведь вон какая... Просторная, без конца – без края. Как раскатишься в ней, так уж и не остановишься... И вот катится он по разным местам, как кубарик. То там его стукнут, то там. И всё – другие люди кругом, всё – новые... Да как тут не пить, с бесприютной-то душой? На сквозняках-то на широких – на широченных-то? Ох, батюшки-светы, батюшки-светы...

Бронислава вздохнула, открыла старый шифоньер, порылась в тряпье, сложенном как попало. Наконец вытащила огромный, добротный полушубок Кочкина. Моль совсем не тронула рыжего меха внутри – Бронислава догадалась засунуть в карманы узелки с нафталином.

– Перекрою, пускай носит, – бормотала она, размечая сухим обмылком, где надо распороть и срезать.

Вдруг обмылок замер в её руке, на весу.

– А Витюшка с Ксенечкой если поженятся? Внуки-то в кого уродятся?

– Вот! В меня да в Макарушку, – с робостью поняла она, стоя на коленях.

И покраснела густо, до гула в ушах:

– Ты погляди, как чудно на свете устроено...

Бронислава раскачивалась, улыбалась сквозь горячие, стыдливые слёзы, пришёптывала:

– Внуки-то в нас ведь уродятся. Всё равно – в нас с ним!.. И муж у меня свой есть: не плохой он, не злой. Господи... И все – вместе будем, все рядом. Как жить-то хорошо...

Но строгий взгляд с тёмной иконы достиг её сквозь кружева. И Бронислава оробела.

– ...А если и в фельдшерицу уродятся! – согласно махнула она рукой и поскорей отёрла лицо с покорностью. – Ничего, ничего. Я стерплю, не облезу я! Ничего... Ещё красивше тогда будут. Детки. Что ж теперь!.. Господи мой милый, Господи. Что ж теперь, коль так?!

И соглашалась – то ли сама с собою, то ли с кем ещё, всхлипывая легко и радостно:

– Ладно. Всё ладно на свете!.. А мы вот и не понимаем сразу. После время разве что. Всё злимся кого-то. Зачем?.. Ох, и чудные же мы у Тебя, Милостивый! Чудные-чудные, не знаю какие прям.

В сенях стукнуло, хлопнула дверь, по полу прошла, клубясь, волна холода. Вошёл зять Антон и стал смотреть, как Бронислава ползает на четвереньках вокруг полушубка.

– А Нина где? – спросила Бронислава, не поднимая головы.

– Идёт. В погребе она.

– Вот, думаю, перекрою! – показала Бронислава на полушубок. – А то вас с Витьком после отца носить не больно-то заставишь. Вам ведь новое одно подавай. А старое-то – не больно.

– Да ты и не предлагала. Полушубок этот, – без удивления сказал Антон. – Ни мне, ни Витьку...

Клубы холода снова прошли по полу.

– Корове сена давала? – недовольно спросила Нина с порога. И поставила в холодильник трёхлитровую банку с солёным сырым мясом, уложенным под металлической крышкой ровными розовыми кусками.

– Накормила, – ответила Бронислава, переползая от рукава к вороту. – Да ведро баланды ей споила. Тёплой. С аржаной мучкой. Щепотку соли ей туда кинула. Она, Майка, любит, чтоб с солью маленько... Ставь кашу на плиту, разогревай, Нин. Что, на собрании-то много народу было?

Брониславе никто не ответил.

– ...Небось, весь элеватор ходил?

Антон подхватил из-под умывальника переполненное ведро, пошёл выносить. Нина разделась, стала возиться у плиты, бросив на угли пару берёзовых поленьев. Дома сразу стало веселей – от их потрескивания и от лёгкого запаха чистого дымка из засиявшего поддувала.

– Вот, всё же крышки-то мы – удачные купили, Нин! – заговорила тогда про хорошее Бронислава нарочно весёлым, бойким голосом. – Мясо-то у нас в банках, прям как вчера закололи.

Дочь промолчала.

– ...А Иван-то Коробейников из города – уж такие чудные Зинаиде привёз! – вспомнила Бронислава, тяжело вставая с пола. – И как у них мясо под ними сохранилось? Под резиновыми? Под толстыми?.. Даже не знаю.

Нина не оборачивалась. Только гремела тарелками громче обычного.

– Резиновые, говорю, крышки для банок, Иван-то купил!.. Толстые! – прокричала она Нине, как глухой, усаживаясь за стол поосновательней.

Та по-прежнему не слышала её и нарочно не встречалась с матерью взглядом. Только кинула ложки на стол. Они продребезжали коротко и резко.

– Зинаида ему велела железных купить! Как у нас. А он...

– ...И что? – наконец буркнула Нина, недовольно поправив на животе цветастый фартук.

– Да она их парила, парила! Крышки-то новомодные эти. А они и на банки не налазят! Тяжеленные, резиновые... Толстые, коричневые – и калошем пахнут. Когда паришь.

– Ну? – Нина уставилась на Брониславу требовательным, беспощадным взглядом.

– А вот и гну!.. Замучилась она их, распаренные, на банки напяливать, говорю. Зинаида! – рассердилась Бронислава. – Расстраивалась. Кричала: «Ты что мне привёз?»... Кричала: «Их двумя руками на хрен не натянешь!» Резиновые-то.

– На что-о-о?! – строго и протяжно переспросила Нина.

– ...Нет ни на что! – поджала губы Бронислава. – Только штокать и научились. Все прям такие умные стали! Одна только мать у вас – дура... Вот, такая я! Дура, да!

Вернувшийся со двора, Антон стоял посредине комнаты и ничего не понимал:

– Из-за чего это вы схватились? – тревожно моргал он. – Стряслось, что ль, чего?

– Да из-за крышек! Провалились они пропадом все! В тартарары!!! И железные, и резиновые! – в сердцах выкрикнула Бронислава, схватила хлеб и принялась его резать на доске со стуком и крупно. – Мне уже и слова тут сказать никакого нельзя! Всё не так – всё не правильно! Не угодишь ни на кого в своём же дому!

Нина и Антон смотрели на неё сначала в полной немоте и неподвижности. Потом Антон выругался удивлённо:

– Ну, Япония, страна косоглазых...

– Ни на какой козе ведь ни к кому не подъедешь! – размахивала Бронислава ножом. – Все только уросить горазды. Уросить да купоросничать. И дуются, и дуются! А ты – бегай за всеми, да в глаза всем заглядывай. Да вникай только, успевай. У-у, нервомоты!..

Она замолчала было, но тут же решила окончательно:

– Нет уж. Всё!!! Больше никакого мяса на зиму – закатывать не буду!.. И не просите – и вы от меня его не дождётесь. Ешьте, чего хотите! А я и возиться с мясом теперь не стану. Хватит! Навозилась. На свою голову.

Кинув нож на стол, Бронислава села и отвернулась от всех к окну.

– Ну. Нашла виноватых, – холодно усмехнулась Нина. – Наконец-то. И долго искала?

– Эх, Япония... – снова сказал Антон, от расстройства вымыл руки с хозяйственным мылом, а не с хвойным. – Ладно. Разберёмся. Со временем, конечно. Где полотенце-то?.. Две бабы в доме, а полотенца ни одного.

– Вон оно! – закричала вдруг Нина на Антона, выходя из себя. – С гвоздя упало! Разуй глаза-то! Технолог, называется!

Она рывком сняла фартук и кинула его на холодильник.

– Ну, разул, разул, – примирительно сказал ей Антон. – Вижу. А ты-то, Нин, с чего взвилась? Надо же... Сроду такого шума у нас не было.

Однако скандал метался и гулял под их крышей – он перескакивал с одного на другое и никак не терял своей силы.

– Не жилось нам спокойно! – бушевала теперь Нина, стуча ложкой о край чугунок. – Был дом как дом – нет: дурдома кому-то захотелось! На старости-то лет! С крашеными бровями кому-то жить понадобилось, а не по-спокойному.

Она раскладывала горячую гречневую кашу по тарелкам и заливала её холодным топлёным молоком из горшка. А закаменевший Антон с поднятым полотенцем в руках стоял и ждал, когда она выговорится.

– Всё вверх дном теперь летит! – никак не могла остыть Нина. – Все тычутся в разные стороны, как кошки без мозжечка! Кому чего делать в доме надо, никто уже капли не соображает!

– ...Не знаешь, чего делать? – сдержанно переспросил Антон жену.

Он повесил полотенце на гвоздь мокрыми руками, расправил. И посоветовал с расстановкой:

– Прежде всего – не о-ра-ть.

Ели втроём, устало и спокойно, не глядя друг на друга. Сначала розоватое сало – с солёными помидорами, с репчатым луком и с ржаным свежим хлебом. Потом – кашу. Нина уже отрезала ровные блестящие круги от домашнего масла, лежащего на тарелке солнечным колобом, и раскладывала их на куски белого хлеба – к чаю, когда Антон сказал Брониславе:

– Всем миром на собрании решали. Как Буян от власти защищать.

– Умора, конечно, – кивнула Бронислава. – А не власть. Вон, Макарушка-то говорил: за границе она вся продалась.

– Да, не было ещё над нами такой власти, – хмуро согласился Антон. – Она, для дурных денег, народ живьём пожирает. И страну целую в дерьмо она переваривает – власть эта проглотная.

– Ну, вечно, как за стол, так и разговоры... Всё про навоз какой-нибудь, – поморщилась Нина. – Прямо тошнит.

– А что? Не правда, что ли?! – возмутился вдруг Антон, стукнув себя кулаком по колену. – Солитёр к власти пришёл! Цепень!.. Век от века изнутри Россию подсасывал, глист ползучий, а теперь он – законы сочинять стал! Правит он теперь нами – цепень. Солитёр!

Был Антон некрасив теперь, потому что светлые глаза его побелели от гнева.

– Час от часу не легче, – вздохнув, Нина отодвинула от себя чай. – Фу. Прямо кусок в горло не идёт... Не гляди-ка ты на меня так! Глаза-то по-страшному на меня не вытараскивай.

– Как?

– Как мороженный судак. Вот как.

– За какого замуж вышла, такого и терпи... Хорошо ещё, совнархоз у нас крепкий был!  
– продолжал Антон. – Электростанция с тех пор своя, не общая. И МТС. И элеватор. Консервный завод – свой, маслозавод – тоже. Закольцованный цикл, в общем. А то и в Буянском районе разор бы один был, как везде! Разор, да голод, да холод, да слёзы.

Бронислава смотрела на него с оторопью:

– Антон! Что-то я не слыхала, чтоб ты когда шумел. Валенки валенком сроду был, а тут – на себя не похожий прям. Вот, на-ка тебе: мёдом поверх масла хлеб намажь. Ешь...

Она пододвинула было к зятю деревянную кубышку, но тут же сама взялась за ложку и стала вытягивать, перевивать и переносить ложкой янтарный, тягучий, густой жгут на новый ломоть. Уложив его кольцами, без всякого масла, Бронислава полюбовалась душистым медовым вензелем:

– Ешь, поболеешь. А то ведь голодный человек – он злой человек. Вот власть-то достучается, что пощады ей не будет! – рассмеялась она. – Долебезится она перед границей-то. Доёрзается на доходах на своих.

И рассудила:

– Ну, нам чего бояться? Буянские, мы сами собой сроду командовали. Вот оно и сохранилось, всё своё у нас. Мы себя – прокормим... А решили-то чего?

– Людей в графики на год записывали. На дежурство, – буркнул Антон. – На круглосуточное.

– Сторожить всё придётся, чтоб чужие электростанцию нам не взорвали. И элеватор, – пояснила Нина. – Ещё про охрану границы района говорили. Вахтовым способом.

– От заграничников-то? – поняла Бронислава.

– Ну. А то продадут нас кому ни на то, и будем потом чужим, как шерстобитовские, дань платить. Если их впустим. Или азерам, или ещё кому.

– Не в азерах дело, конечно. В деньгах! – кивнул Антон, успокаиваясь. – Весь мир деньгам теперь подчинили. А деньги – они грязные. На наркоте накопленные, на воровстве. На труде таких денег не бывает... У бандита – деньги! И бандит всё скупит – он всех подкупит. Бандит нас себе, при такой власти, через деньги подчиняет. Не азер, так другой. Какая разница?.. Где начальство бандитам за деньги продалось, там народу через кровь только освободиться. А где не продалось – через оборону. Вот, в оборону и уходим. Чтоб кровь потом ничью не проливать.

– Ну, насчёт обороны мне Макарушка-то Макаров, небось, всё подробно разобъяснил! – похвасталась Бронислава и помолодела. – Точь-в-точь, как ты, он через клумбу всё говорил. Доходчиво. Но только поумнее.

– Чего поумнее-то? – сосредоточился Антон.

– А то. Есть, говорит, голова – будет и булава! Вот чего поумнее... А у шерстобитовских да у ключевских сроду таких голов не было, как Макарушка да как Ильшин у

нас, – гордилась Бронислава. – И булавам в Ключах взяться неоткуда, значит, было. Сами они там виноватые... Вот погодите: ещё Витёк наш из армии вернётся! Роту здесь дружинную наберёт. Для народной обороны. Ничего. Уцелеем. И в батраки – не пойдём.

– Он-то чего без ужина лёг? – спросила Нина, показав на кровать. – Главный защитник-то в дому? Защитник Отечества?.. Уже и до спальни не дошёл, Город-то наш.

Бронислава промолчала.

– ...Держишь ты его, мать, как девку на выданье, – покосился Антон на спящего Кешу.

Бронислава ничего не ответила и на это. Только налила всем ещё чаю, пахнущему зверобоем и душицей. И заметила рассеянно:

– Грязная теперь власть. Ох, грязная она!..

– Мужик называется, – продолжал Антон, придвигая стакан. – За неделю ни разу навоз из сарая не вычистил.

Нина вздохнула:

– Опять сорок пять. Ну, прям пить ты мне, Антон, сегодня не даёшь! Нарочно что ли? Про навоз?.. Хоть за стол не садись.

Бронислава засмеялась:

– Ладно тебе брезговать-то, Нин. Навоз – он чистый. Чистый он!

Однако Антон их не слышал:

– Ведь пальцем о палец в доме не стукнул! – говорил он про Кешу, удивляясь безмерно. – Видит же – все на работе... Зато как за стол – так за семерых пашет. Знал бы, как мы на элеваторе пластаемся... Нынче вон все конторские лопатами целую смену отработали.

– Зерно, что ль, горит? – насторожилась Бронислава.

– Гореть не горит. А вентиляция слабая.

Все трое посмотрели на Кешу, громко всхрипнувшего было, но смолкшего вдруг на самой высокой, задушевной ноте. Мгновенье проходило за мгновеньем – Кеша не дышал. В мёртвой тишине размеренно стучал над кухонным столом кварцевый механизм настенных часов... «Расступись, земля сыра-а-ая» – коротко и сильно пропел за окнами Иван. Потом от Коробейниковых донёсся морозный скрип открываемой калитки. И наконец Кеша выдохнул, словно спустилась велосипедная шина. Антон и Нина переглянулись, усмехаясь.

– ...У него аппетит хороший, – согласилась Бронислава. – А элеваторов он что – не видал что ли? Он тут без году неделя. Нет, вам бы сразу, чтоб человек одной рукой бы расписался, а другой лопату бы схватил. И на элеватор из Загса бегом бы побёг... Его работа другая – ручкой по бумаге водить. Вот какая его работа.

И заторопилась втолковать им то, чего они никак не понимали:

– Непривычный он к нашей жизни. Они же там, в городах, какие? С них толку в сараях – нету. Он, вон, всю жизнь около творчества крутился. Всё стремился, хотел... А с творчества-

то навару, видать, не больно много. Вот из-за этого судьбу и ломает. И живёт кое-как, холодный да голодный. День промыкался – и ладно, где упал – там и новоселье.

Она выпила весь чай из стакана, не сладким и сразу, а потом пригорюнилась:

– Наладился уж он так смолоду: судьбу свою ломать... Ругать – охотников много. А понять – некому. Он и не прибьётся ни к чему. А дай ты ему в руки дело подходящее, тогда бы поглядели.

Нина покраснела от возмущения, резко, пятнами, но кашлянула – и сдержалась. Однако Антон сказал по-хорошему:

– Да что ты, мать, выгораживаешь его? Если он мужик, а не пустобрёх какой, пускай он тебя выгораживает, а не ты его!.. А если его выгораживать приходится, то кто он такой?.. Не видишь – лодырь. За бабий счет живёт.

Бронислава оглянулась на тонко всхрапывающего Кешу:

– ...Может, он и жены-то путёвой не видал. Вот и мотался. У него же кто был? Ой, Антон! Одни «керосинки» да «мотыги». А ни с одной и не жил толком. Все – временные у него были! Не знает он, как семьёй живут! Разучились ведь они семьёй-то жить, в городах! Там разве он один – такой? Временный-то? ...Он мне говорил, что любит, – призналась Бронислава.

И спохватилась – зря сказала: нехорошо так.

– Небось, всем одно-одинаковое говорит, – с жалостью посмотрела на мать Нина. – Замотает он тебя. За неделю на что похожа стала – страх глядеть. Исхудала... Вон, взъерошенная вся, как на ветру... Расписались, незнай зачем. Гони ты его!

– «Гони!», – усмехнулась Бронислава. – Человек он всё же. И как сказать-то так можно на человека – «гони»?! Разве же на человека так, Нина, говорят?

– Это – человек? – спросил Антон. – Который людей дурит? Вот, живёт на свете – и дурит. Видишь, наловчился? Присосётся, как клещ... Насосался, отвалился, дальше ползёт. Пока опять не проголодается. А там – вцепится в то, что поближе, в то, что потолще... Эх, была бы в дому моя воля!

Нина насторожилась и стала похожа на встревоженную птицу, которая улавливает дальние, невнятные шорохи. Он обвела взглядом стены, остановилась взглядом на ружье, висящем в простенке, однако сразу же подняла глаза на часы.

– ...Ладно тебе! – оборвала она вдруг Антона. – Срубим свой дом на огороде – там твоя воля будет. А пока что – погоди. Распоряжаться-то. Командовать всеми! Материн тут порядок. Вот пускай Витёк приедет, поглядит. А ты – прижмись и сиди! Хозяин... Ты тут – нет никто.

Антон снова ничего не понял.

– Ну, бабы... – покачал он головой. – Ты-то, Нин, с чего опять вскинулась? Точно: никакого покоя в доме не стало.

– А ни с чего. Тебе тут меры принимать – нечего! Без тебя их примут... Тебе лесом за год заплатили? Заплатили. Брёвна с лесопилки выписали? Выписали. Вот, об машине хлопочи, чтобы они за лето, до Витька бы, вылежались. А то вам и сруб ставить не из чего пока что. Пускай у тебя об этом голова болит, не об другом... Раскомандовался тут.

Бронислава тоже ничего не поняла:

– Да что это у нас нервы-то ходуном расходились? – поёжилась она. – Зинка, что ль, Коробейникова на ветер нам чего нашептала? Или сор под стопу мне кинула, изловчилась? Пряма, не знай. Святой водой надо будет везде покропить. Бесов разогнать... И пучок пустырника с подковки достать. Венчик один... В чай будем заваривать. Слышишь, Нин?

– Ты, мать, ещё в бражку пустырника насыпь, – посоветовал Антон, усмехаясь. – Ему – поможет. Чем больше выпьет, тем дольше спать будет. Только на ужин и на обед посылней ему будильник заводи. Чтоб он вес не терял.

Тогда Бронислава развернулась к зятю основательно:

– Нет, Антон. Ты его с лёту не кори. Он в нашу жизнь сразу-то ведь не войдёт, – сказала Бронислава про Кешу. – Ему обвыкнуться надо. Обвык бы, тогда бы и поглядели... Вот к делу он пристроится – в деле-то себя и покажет. Может, ещё и незаменимый сделается! Что, разве книжного ума у него мало? Вон, как от него отрывки-то книжные во все стороны летят. Пряма от зубов отскакивают.

И получилось это так, будто она оправдывается.

– Сам он – отрывок, – ворочался и томился Антон.

– А вы его – не трогайте! – вспылила тогда Бронислава, рассердившись на себя. – Меры какие-то придумали... За меня бояться вам нечего! Ест он много... Ну и что? Пускай ест. Хоть в три горла! Я не парализованная какая. Не хромая, не горбатая. Зарабатываю ещё! И не трогайте мне его!.. Поглядите на них, забоялись они за меня. Моё дело! Не ваше.

– Эх, Япония, страна косоглазых... – выругался Антон. – Пошли, Нин. Нечего без толку воду в ступе толочь.

– Со стола-то приберёшь? – спросила Нина. Она медлила уходить в свою комнату и всё смотрела на неприбранную кухню, на мать, на вывернутый отцовский полушубок, широко раскинутый крестом по полу – рыжим мехом вверх.

Бронислава ей покивала:

– Иди, иди. Отдыхай. Я сама... Ты только не бойся, Нин! Что ж теперь... Ничего. Живому – живое.

Бронислава снова опустилась на колени перед полушубком, выворачивая его, разглядывая свои метки по вороту, по рукавам.

– И когда от них чего было хорошее? От приезжих? От чужих? – всё не уходила к себе Нина. – Ты про это – думала?..

И вздыхала, стоя над Брониславой:

– Вон, дяденька у Мишани Нечаева – из-за приезжего ведь в тюрьму-то сел. На ровном месте.

– Ну, этому случаю – сто лет в обед. Вспомнила! Тебя тогда и рождённой не было... А зачем же он, Нечай, ему графином по голове стал стучать? Что, раз председатель чужой, приезжий, так и стучи по нему полным графином всяк, кому не лень? – стоя на коленях, всплеснула руками Бронислава. – Сам – соплик был, десятый класс толком не закончил, а уже – по председателям по партийным графинами колотить наладился... Ладно, пришёл ты в контору – за тёткину золовку заступаться. А графин-то зачем в руки хватать? Что, кулаков у него не было?! У Нечая?.. Ученик, называется. Вот, до сих пор из тюрьмы и не вылезит. То на химии порядок наведёт, то в зоне. Нечай этот. Куролесит по всей стране... Его уж тут и не помнит никто.

– А дядя Стёпа Кормачов? – сразу припомнила Нина. – Он чего доказал? Этому, который приезжал? Который голосовать-то всем велел, чтоб мы по-иностранному жили?.. «Тут народ, сам веками править не способный»?

– А-а, я же видала его, того. Приезжего. С мерлушковой-то головой. За мексиканца который агитировал. Про ущемление прав личности... Чтоб мы, значит, от своих прав от всех – отказались. А то они мексиканцев ущемляют. Они, мексиканцы, никак не терпят – чтоб у других права были: обижаются сразу все. Гвалт такой поднимают: пыль до небу летит!

– ...Ты про каких мексиканцев? Разве в Москве – мексиканцы живут? – удивилась Нина. – Там уж, сто лет скоро, как евреи. Русским даже должности, чуть только повыше, не дают: не положено. Татарину скорей её уступят, хохлу... За еврея он агитировал!

– Какая разница? Не за нашего, да и всё... – подпарывала Бронислава рукав и сильно шурилась. – Ну, этого за дело мужики-то избили. Агитатора. Этот – жизнь нам ломать приехал... Степана жалко: он – кум наш. Первый, видишь, ударил... А чего делать было, Нин?

Дочь включила настольную лампу и поставила её рядом с полушубком, на пол – чтоб Брониславе стало светлее.

– Хаять-то как всё наше стал! Дохаялся, – продолжала Бронислава рассуждать про агитатора, занимаясь рукавом. – За границей тебе хорошо? Туда езжай и сам за ней живи: не лезь к нам оттудова, не комиссарь тут. Нет, влез, росомаха... В гражданскую к нам, старики говорят, такие же лезли, с мерлушковыми головами, и щас опять они – лезут. На рожон-то... Мёдом им, что ль, здесь намазано? Правильно Степан его в клубе окоротил: «Тут – мы буесловим! А ты – погоди. В свою местность поезжай, там запад себе устраивай».

И ещё покивала:

– Этот сам, конечно, нарвался... «Вам без варягов никуда!» Выпросил... А варяги, они кто? Мордва или чувашаи?

Нина нахмурилась, припоминая.

– А! Чухонцы, – догадалась она. – Помнишь? Говорили: Эля чухонка тут в ссылке жила... Вот. Они.

– Значит, он за чухонцев, что ль, глотку-то драл? Чтоб они над нами были?.. Да ведь Эля-то белобрысая была. И степенная, простая. Статная она... А за которого он глотку драл – у того спина корытом, как у беса. На плакатике-то... Нет, Эля чухонка, она прямая была! На беса-то капли не похожая. Что, разве я Элю не помню?!

Нина тоже запуталась в разговоре. Но разобралась довольно быстро:

– Это приватизаторы, евреи, про самих себя думают, что они – чухонцы. Над нами, значит, – и всплеснула руками. – Они ведь в Москве чего устроили! Как только Россию приватизировали, так всех ограбленных под землю загнали. В метро! Сашка Летунов там летом был, говорит: наши-то в Москве – шибко пришибленные. Пообносились, говорит. В рамках, в старье, сгорбатятся и бегут. Вот их в подземелье и спрятали. Чтоб русские приятную картину жизни не портили бы наверху. А сами эти, приватизаторы, поверху, нарядные, по Москве разъезжают. В лимузинах в разных. В заграничных. И всех так жить учат, чтоб самим ещё больше богатеть. Не иначе.

– Чего ж Москва-то им совсем поддалась? – поразилась Бронислава. – В норах ездит, под землю, гляди-ка, забила.

– Боятся Москва. А то засудят они, не за одно, так за другое. В тюрьме заживо сгноят.

– Ещё не хватало, чтоб в Буяне нас под землю всех затискали бы! В рудники какие ни на то! – возмутилась Бронислава. – Нет, здесь им не Москва...

– А ты бы не храбрилась, – остановила её Нина. – Что, мало народа они после революции под землю засунули, на смерть, в шахты да в рудники? И теперь засунут... Теперь строго стало: где только народ коренной какой-нибудь про свои права вспомнит, там они сразу атомные отходы хоронят. Решения такие у себя в Москве принимают, приватизаторы. Чтоб все похварывали и слабели в таких местах. Вот чего они нам делают...

– А чтоб мы, значит, не сопротивлялись! – поняла Бронислава. – От коренного всего, значит, опасность ихнему правительству идёт. Вот что.

– Сашка-то Летунов чего передавал? Даже говорить про это нельзя стало. В Москве таких сразу хватают, на суд тащат и в тюрьмы сажают. Уничтожают. Вот все молчком дальше и терпят: боятся их до смерти.

– Ну, а как же они, аспиды, нас в тюрьмы сажать не будут? Ещё как будут! Власть-то свою им охранять от нас надо? Надо!.. Ты погляди, росомаха, с чем к нам тогда заявился, – качала головой Бронислава, снова вспомнив агитатора. – Раскусили его здесь, оккупанта хренова. Хотел, значит, чтоб и у нас, как в Москве, было бы! Чтоб и тут нас бы по верх земли уж не осталось. Как же!.. Разгрозились: «Будет и у вас цивилизованный мир!» Размечтался. Со слабой-то височной костью своей... Кость эта самая, височная, у него тонкая, Нин, оказалась, как бумажка! Вынули там, на суде, снимок рентгеновский. Прямо из проявки. А на нём – череп его с костями. И правда, говорят, треснутый как ночной горшок... И зачем они, с такими височными костями никудашными, под наши кулаки лезут, Нин? Уж сидели бы, где сидят. Виски бы себе наращивали. Горе с ними!

– Так ему, росомахе-то, что? Череп-то треснутый, говорят, и не его на снимке был. Он этот снимок вроде за триста рублей у доктора купил. Почти что задарма. А наш дядя Стёпа Кормачов за всех, один, в тюрьму ушёл!.. А сам только один раз и стукнул. Агитатора. За «народ, веками править не способный».

– Ну, агитаторова родня городского суда запросила, – качала головой Бронислава. – Наш бы суд по-другому рассудил.

– Вот, до суда доводить не надо было. Приехал, да и уехал бы, как завуч! – рассуждала Нина про агитатора и расстраивалась. – И наплевать бы на него. Нет, избили. Да на виду у всех: на собрании! Нашли, где меры принимать.

– А чтоб не ездили тут, порчу бы не разносили... – ползала Бронислава вокруг полушубка и приставляла к нему школьную старую линейку. – Чтоб другим ездить неповадно было. Это уж – так надо, Нин. Что ж теперь!.. А волю им только один раз дай – всё: их с шеи-то ведь потом не скинешь. Вон, Саратов, говорят, уж под татарами целиком?

– Слыхала. Алтай под азиатами весь... Адлер – под армянами, – перечисляла Нина. – Уже и Тверь недавно чеченцам сдали. Не знаю, правда ли, нет, а народ так передавал.

– Правильно Макарушка говорил: они все, оккупанты, через подкуп начальства местного втираются. А непродажных начальников – убивают... Нет, если чужие с хорошими посулами да с взятками заявляются – большая кровь за ними на детей, на внуков потом упадёт! Без большой крови, Нин, уж так и знай, не обойдётся... Напёрсток что-то никак не найду. Обыскалась прям... Она сроду и была везде потом, большая кровь, где пришлых-то впускали. Что в Шерстобитове, что в Ключах... А наши, буянские – нет: не впускали. И старики старые у нас как ведь сроду говорили? Чужой, хоть и добрый будь человек, а всё лучше – повесить!.. А то войны потом не миновать. Одного чужого впустишь, тыщу своих потом из-за него похоронишь. Это уж с исстари счёт такой идёт. Веками проверено.

– Вот! Ты же и сказала! Про чужих. Сама знаешь, чего для нас из-за них выходит... Смертоубийство да тюрьма, – оглянулась Нина на Кешин храп, прерывающийся временами. – Я же поэтому говорила: «гони ты его». Не ещё почему... От людей уже стыдно. Куда зайдёшь, про него одного толкуют: «Город сказал, Город ораторствовал, Город приходил, Город в магазине кого-то митинговал...» Гони его! А то как бы и у нас беда в доме не стряслась. Гони!

Она смолкла и теперь сосредоточенно размышляла о чём-то, стоя над матерью. Та, ползая на четвереньках, уже срезала лезвием полоску меха с гладкой стороны, по намыленной тонкой черте, и задерживала дыхание от усердия – чтобы пальцы не дрогнули невзначай.

– А ты не бойся, Нин, – успокоила её Бронислава, разводя разрезанную кожу в стороны и легко разнимая мех. – Оно же по-разному бывает. Вон, парень-то у Зуевых, без всяких приезжих в тюрьму сел. В город как уехал, так полгорода там вдребезги разнёс. На кирпичики. Сколько богатых магазинов раскурочил! И кто ему теперь виноватый, что он сел? Зуеву нашему?..

– Так он же для кого грабил? – села Нина на половик и прислонилась спиной к тёплому боку печи. – Он, Зуев, у богатых забирал да в бедные дворы узлы с одеждой по ночам кидал. Деньги-то по карманам в одежду эту рассовывал. Для людей для бедных. Справедливость он наводил!

– Ну и сам, передают, неплохо поживал, – отмахнулась Бронислава. – По ресторанам-то как гулял! С песнями да с плясками-трясками! Не больно праведник большой... А дедушке его кто виноватый был? Кто?! Сроду варнаки – эти Зуевы. Что Зуевы, что Тетёркины – каторжаны были. Из века в век... С большой дороги вернутся, отсилятся – щас опять верёвками подпояшутся. Ножики за пазуху и айда на дороги. Ты уж наших тоже лишнего-то не защищай. По ним, по дорогам, не одни ведь только виноватые ездют. А и не виноватые ни в чём, ни перед кем, небось, попадаются.

– Ну, своих-то здесь никто не трогал. Никогда! – возразила Нина с обидой. – А чужие – пускай боятся. Мы же целей будем.

Бронислава тем временем взяла приготовленную иглу с коричневой ниткой. Но вскрикнула на первом же стежке.

– Батюшки-светы! Гляди-ка, под ноготь ушко-то себе загнала, – разглядывала она большой палец с наливающейся алой каплей. – Больно как.

– ...Нет, хоть как, а тулку я от Антона – спрячу! От греха подальше. Пока этот здесь, – решила Нина, не сводя взгляда с капли. – За Антона я что-то боюсь. Как бы он не стрельнул. Как бы не пальнул. По Городу-то. Из двух стволов, дуплетом.

– А и спрячь! – охотно согласилась Бронислава, посасывая палец, чтоб скорее зажил. – Он спокойный-то спокойный, Антон. Да мало ли? Все они у нас спокойные. Пока не схлестнутся... Спрячь, конечно. Что ж теперь!.. Под сено вон засунь. Под низ самый. Небось, и под сеном не испортится, тулка наша. Смажь только получше, из маслёнки отцовой. Да не разбирай ружьё-то! Ты его потом сама – и не соберёшь. А так: прям в дырки прыскай. Как из клизмочки. Там дырки есть, с блошиный глазок. В них... Оно, масло, само потом по суставам-то по железным разойдётся.

Они помолчали.

– А то гляди – сама бы я смазала! – подняла голову Бронислава. – Без Антона разобрала бы вон, на кухонном столе. Да собрала бы. Там хитрого нету.

– Смажу как-нибудь, – повеселела Нина. – Отец меня, маленькую, хорошо учил, да тётка Матрёна. Я помню, как... Ещё в газету оберну, тулку. Вон, в «Советскую Россию». И в одеяло старое... Правда что, спрячу от греха. А то прям сердце жмёт, и всё тут! Схватятся, думаю, не сегодня-завтра. На ровном месте.

Бронислава тоже села на половик, вытянула уставшие ноги. Часы громко стучали в тишине.

– Ничего, он – без зла. У него в голове мир вывернулся только наизнанку, по-западному. И мысли от этого шиворот-навыворот скачут, – сказала Бронислава. – А вот как пообвыкнет, прямой разум к нему тогда и вернётся... Притрётся он, никуда не денется. Может, и не хуже наших станет. Город-то наш.

Они обе посмотрели на притихшего Кешу.

– Незнай-незнай, – со вздохом ответила Нина. – Слабо верится что-то...

Утром Кеша примерял перешитый полушубок. Долго, с любопытством, изучал себя в зеркале:

– Хм, вполне. Теплынь! На мне вообще-то всё хорошо выглядит, – и оглянулся.

Бронислава сидела на кровати, смотрела на Кешу с улыбкой. Глаза у Брониславы были покрасневшие – шить она кончила только под утро. Кеша смутился, глядя на её состарившееся лицо, подошёл, не зная, что и как сказать, погладил её неприбранные волосы, уже седеющие с висков. Она опустила голову ниже, глядя в пол покорно и грустно и пряча за спину правую руку. Большой палец был некрасиво исколот иглой. Он опух и болел. А куда подевался напёрсток, она так и не вспомнила ночью.

Кеша тоже чего-то застеснялся и сердито прокашлялся.

– Снег почищу. Лопата в сенях? – хмуро спросил он.

Потом Бронислава резала на деревянном кружке морковь для борща, громко стучала ножом, выглядывала в окошко, и ей было смешно и хорошо видеть, как он вырубает широкой деревянной лопатой снежные кубы и неумело, с натугой, откидывает их в сторону.

Половицы в сенях тяжело заскрипели, кто-то несильно ударил кулаком в дверь.

– Заходи, не бойся! – крикнула Бронислава. – Без стеснения давай!

Появилась Зина в наспех завязанном шерстяном платке.

– Ух, уморилася, – поёжилась она с мороза. – Настиралася, устала. А жарко у вас! Ну – натопили... Крым что-то крымский прям развели.

– Грейся, садись.

– Гляди-ка, фатеран твой чего делает! – засмеялась Зина, махнув рукой в сторону окна.  
– Прям бульдозер без бензину.

– Расписались мы, – похвалилась Бронислава.

– С фатераном-то? Слыхала. Ох, намучилась я с ними в позапрошлом году! Помнишь, что ль, восьмерых-то из СПТУ пускала? Им зимой за восемь километров ходить сюда из Озёрок далеко было. И веришь-нет? Ночью впотьмах бывало до ветру не доберуся. Куда ни ступлю, Броньк, везде фатеран лежит. И то один под ногой охнет, то другой под ногой крикнет... А на длинногого-то самого ночью как упала – запуталась в длинном-то, везде он по полу распластался, прям быдто удав какой что ль, не знай. Так лбы у нас и треснулись друг об дружку, Броньк! Как два яйца на пасху. Вот, сидим утром оба с шишками, с фатераном-то с этим, за одним столом. Он, как моя копия – и я, как его копия... Копия с Прокопия. Породнились... Так ты, значит, у нас взаправди замужем? Что-то больно скоро сошлись.

– А иначе удачи не видать! – с вызовом ответила Бронислава. И нарочно сильно и весело постучала по доске, сбрасывая в кипящую кастрюлю нарезанную морковь.

Зинаида уселась на табурет, откинула платок. Сказала скучным голосом:

– Слышь, Броньк, чего Козин-то говорит?

– Это приезжий, что ль? – насторожилась Бронислава. – Который в клубе работает?

– Ну, в ДэКа. Он этого... твоего-то, оказывается, ещё по городу знает. Всему городу, говорит, твой-то – известный... Говорит, забулдыга забулдыгой! У пивной, говорит, всё по двадцать копеек сшибал. Сроду, говорит, не одетый, небритый. А на работу его нигде не берут – руками-ногами от него отпихиваются прям.

Бронислава смотрела в Зинино лицо, расплывающееся в улыбке, и молчала.

– Козин-то знаешь, чего говорит? Обдерёт он её – это тебя, значит, как волк кобылу. И оставит он, говорит, от неё – хвост да гриву! – вдохновенно излагала Зина. – ...Всё, говорит, пьяненький по городу везде мотался, с воротником поднятым. Шаромыга! Его, говорит, ни одна баба не держала... А я говорю, может, и прийдёт к одному месту, да и жить будут. Оно же как на свете-то? Всё бывает: и жук мычит – и бык летает.

– Это ты Козину сказала? Про «жук мычит»? Иль кому?.. Про «бык-то летает»?

– Н-нет... Я с ним, Броньк, разговоры никакие не разговаривала, врать не буду. А народ – всё слышал!.. Это я сама себе так говорю: может, мол, прибьётся.

– Пришла-то чего?– беспечно спросила Бронислава.

– ...А-а?

– Пришла-то чего, говорю?

– А уж и забыла... Дык, вот! Думаю – скажу! – растерялась Зина.

– Чего, Зинка, где услышишь, всё мне передавай! Поняла? – приободрила соседку Бронислава.

– Ага!– развернулась к выходу Зина. – Скажу. Я скажу! Я всё, Броньк, скажу. Ты даже капли не переживай.

Зина ушла, не прикрыв, как следует, дверь.

– Говори-говори, – пробормотала Бронислава и хлопнула отошедшей дверью как следует. – Кочерыжка пакостная.

Она снова подошла к окну, встала, прислонившись лбом к влажному от тепла стеклу. Зинаида уже разговаривала с Кешей, размахивая руками и воровато оглядываясь на окна. Бронислава погрозила ей в окно кулаком. Потом походила по комнате – и выскочила во двор, не переобувшись, в тапочках на босу ногу.

– Ну, до свиданьца, пошла я, – заторопилась Зина. – Вот, всё толковала с ним, с фатераном-то с твоим. Спрашивала: и когда этот мороз кончится? А он и не понимает про морозы-то никого! Прямо, пенёк с глазами – Город-то твой... Ну, мы, может, тоже кой в чём дураки. Бывает! Жук да бык... Да...

Бронислава смолчала. Она смотрела вслед Зининым торопливым шажкам и, разгорячённая, не мёрзла в лёгком своём халате, плохо сходявшемся на груди.

Кеша выдернул лопату из снега, поставил её к стене. Оглядел Брониславу как чужую, с недобрим мужским любопытством. Бронислава не шевелилась на ледяном ветру.

– К Козину схожу, – помрачнев, сказал он.

– Иди, – кивнула Бронислава и отвернулась.

Он обошёл её, стоящую на тропе, стороной, через сугроб, глубоко проваливаясь в снег, потом зашагал, кособоко вздёрнув одно плечо.

«Ты зачем такой-то? – хотела крикнуть ему вслед Бронислава. – Разве же можно впускать в душу плохое?! Да с плохим в душе – как жить-то тогда?.. Нельзя же!» И не крикнула.

«...Не зовёт. Один ушёл», – тревожно думала она.

И всё ждала, что Кеша обернётся. Рукой бы что ль хоть махнул?.. Но Кеша свернул в Макаров переулок и скрылся из глаз.

Теперь улица была пустая. Над низким прозябшим селом двигались облака, плотные, сизые, как ночные сугробы, и сливались с дальним пасмурным полем. Меняясь, облака пропускали иногда на землю слабое пятно жёлтого зыбкого света. Но оно быстро затягивалось на морозе, будто небесная случайная прорубь, из которой только сильнее и пронзительней дуло сверху. А потом всё стихало ненадолго, пока не возникала в быстром движении облаков новая прореха, исчезающая сразу. Тогда жёлтый свет угасал на снегах. Синие мертвенные тени резко проступали на волнистых перекатах сугробов. И замирало вокруг всякое дуновение – прерывалось дыханье всего живого...

И давний страх стал охватывать Брониславу, застывшую в одиночестве: что обомрёт она здесь, среди больших снегов, в полный свой рост, с головы до пят, заледенеет под тяжестью облаков и уже не очнётся – быстрые, они вот-вот остановятся над ней навсегда, как вечные сугробы... Только страх теперь был не пугающий, а манящий. И сердце её остужалось. Оно переставало болеть и уже томилось кроткой тоской, покорной и страшной, – и само хотело покоя холодного, вечного.

– ...Дура! – вдруг крикнула на себя Бронислава – и вздрогнула. – Дура стоеросовая!

Она вбежала в избу, потеряв за порогом тапочки. «Оденусь, догоню», – решила она, торопливо снимая с вешалки пальто и босиком подбегая к зеркалу.

«Скажет, вот, старая, пристала. Шагу ступить не даёт...» – передумала она и положила пальто на кровать.

«А чего же не догнать-то? Небось, законный, не чужой!», – снова схватилась за пальто Бронислава.

«Вот, скажет: не верит мне. Следит... Нашёл, скажет, себе хомут на шею».

Бронислава достала со шкафа картонную коробку с катушками, вдела нитку и сталашивать пуговицы – они держались кое-как. Она давно собиралась закрепить их, ещё три года назад, когда принесла пальто из магазина, да так и не удосужилась.

– Ну – пришивают! – укоризненно качала она головой, сидя на кровати и поджимая босые ноги. – Батюшки-светы! За нитку потянешь – и готово: пуговица отлетела... Всё – не держится. Всё – кое-как... Всё – некрепко!

И она вдруг ужасно расстроилась от этого.

«Да что же я сию?! Вот, чудная. Прямо чудо в перьях вся какая-то... – беспокойно подумала она. – Так, чего доброго, и без мужика останешься. Если сиднем-то сидеть, с большим-то пальцем всё кряду шить... Да мало ли что?!»

Она сделала несколько торопливых стежков, морщась от боли. Потом наскоро перекусила нитку. Вскочив Бронислава кинула иголку в коробку. И, уже совсем на бегу, оделась.

По дороге Бронислава почувствовала, что валенки обуты на босу ногу. Однако не огорчилась:

– Разуваться нигде не буду.

Она проверила свой кошелек – деньги были на месте. Но не все.

– Паразит. Вот паразит!.. Как раз на бутылку отсчитал, – вслух сказала она. – И когда успел, паразит?

Она побежала быстрее, приспустив шаль на лоб и затянув её потуже – в лицо дуло.

Двор Козиных был сплошь занесён снегом. Плохо протоптанная кривая тропинка вела к дому. В сугробе валялись на боку детские санки, поодаль торчало красное игрушечное ведро. Рядом с ним блестела по-рыбьи большая столовая ложка, будто выпрыгнувшая из снежной волны.

Бронислава долго взбиралась по обледенелому высокому крыльцу.

– Это что же у городских за мода за такая? – ругалась она, поскальзываясь то и дело и отъезжая вниз. – Как приедут, так в дом у них не влезешь... Не голову расшибёшь, так ноги растянешь. И снег не сметают, и лёд не срубают. Вот безрукие-то! Калеки прям...

На веранде Бронислава остановилась перед необитой, густо заиндевевшей дверью. «На весь вольный свет топят! – посокрушалась она. – Ну, зимуют!» Сдвинув шаль со лба, Бронислава быстро взбила волосы – для красоты, и, не постучавшись, шагнула за порог.

Она долго путалась в повешенном на дверь тяжёлом одеяле. В доме неистово орал магнитофон. Низкий женский голос выкрикивал под гром инструментов: «Ла батейя! О! Ла батейя! А!» И кто-то там, в ансамбле, оглушительно свистел в такт песне, причем так ловко, что казалось, будто свистит сама певица. В дальней комнате заходился в плаче маленький ребёнок, а другой, постарше, что-то радостно кричал ему и смеялся, веселя.

Но в прихожей никого не было. Бронислава отёрла с мороза лицо. Кешин полушубок висел рядом, на рожке, вместе с чьей-то одеждой. И скомканная вязаная шапка торчала из кармана, будто вылезала из последних сил на волю, но потом изнемогла от этого и обвисла.

Не разуваясь, Бронислава прошла к приотворённой двери слева и заглянула тихонько. Кухня была большая, с огромной русской печью. Но стенам висели полки – с посудой, с кастрюлями и с толстыми книгами. За кухонным столом сидели только двое: Козин и Кеша. Они держали в руках рюмки, но не пили, а про что-то говорили друг другу громко и без усталости.

– ...А ты представляешь, каких высот я достиг? – с трудом перекрикивал музыку Кеша. – Ну вот, кто был мой дед Егорша? Прикинь? По сравнению со мной, полный недоумок, между прочим. Какую-то Книгу Книг искал. Она с неба должна была рухнуть, но только перед тем, кто в пути. Большая книга: метров пять будет. В ней – про всё: что из чего произошло и зачем. Представляешь? Только в неё посмотрел – и всю премудрость усвоил. Без всякого ученья.

Козин поднял палец вверх:

– Не понятно, Шальин! Но – бодрит.

– И тесть деду Егорше прямо на свадьбе сказал: «Книгу Книг – не ищи: прокляну. Нам Библия с неба упала – её читай и на заводе тут, в Исетске, спокойно работай». А дед Егорша: «Нет! У меня в Библии Старый завет с Новым не сходится. Не та книга на Россию упала! Подменная!»... Бабка, вообще-то, его только два раза в своей жизни видала. Он сразу, наутро после свадьбы, из Исетска на прииски подался – высшие смыслы искать. И перед смертью

домой случайно завернул. По ходу жизни. Ему по пути как раз было. На пороге, с двумя фингалами, перед бабкой нарисовался – хрен сотрётся.

– Хм... Бодрит! Весьма.

– И бабушка его перед смертью спрашивает: «Ну? Нашёл? Книгу? Настоящую?» Дед Егорша говорит: «Да! Это – Маркс. Я лично по всей Сибири книгу "Капитал" наганом внедрил! По ходу жизни! Только меня, на вокзале уже, узнал и избил за это несознательный элемент». Сказал – и геройски умер... И мой отец тоже сначала так считал, пока атеистом в Политпросе работал: что правильно книгой «Капитал» Россию накрыло, и что это – с небес. А как его из атеистов выгнали, запил над Марксом – подмена: там Бога нет! А если она не от Бога, книга, то, значит, от кого?.. Парадокс: опять всё не сходится. Не та книга, и всё тут!

– Непонятно! Но – бодрит. Продолжай, Викентий.

– ...Тогда отец, выгнанный из атеизма, что? Фанерный чемодан в руки – и только его и видали. Бегал по России с выпученными глазами: искал по шабашкам смысл жизни. То в составе трясунов, то в составе хлыстов. Потом в одиночку... А нашёл его, смысл, дома. В вине, между прочим. Под старость, с выбитыми зубами, на пороге нарисовался – хрен сотрётся! Выпьем за это.

– погоди, погоди, – остановил его Козин. – А что же твои предки к святым отцам за истиной не шли? А? Тогда же многие так делали.

Кеша поразмышлял, почёсывая шрам на голове.

– Так ведь тех, которые ходили, всех... уколошили! Вместе с обретенной истиной, между прочим, – сделал он вывод, неожиданный для самого себя. – Мой дед Егорша как раз и кокошил. Из нагана. Не покладая рук! Тем более что от святых отцов Россию тогда мессианцы уже очистили.

– М-да, непонятно, – крикнул Козин над рюмкой. – ...Но – бодрит! А к чему ты всё это говоришь? Восстанови нить разговора.

– Поясняю для особо тупых. Ты рассуди: кем были они – и кем стал я? Я познаю жизнь совсем с другим, с научным багажом! Разве можно сравнить их поиск – и мой?! Ты думаешь, мне не хотелось, чтоб передо мной пятиметровая Книга Книг упала? Но я у одного кореша Хэма на полке увидел... И понял: вот Книга Книг – Хэм! Она на Россию упала. Вместе с Ремарком. Они вдвоём нас прибили просто к земле – другими, свободными идеалами. Это же совсем иной уровень образования! Западный! За Хэма.

– За Хэма! – чокнулся с ним Козин. – И за Бодлера: «...И зачумлённого не принесёт плода»!

Бронислава, поглядывая в распахнутую дверь, всё стояла в полутёмном коридоре и переминалась с ноги на ногу. «Что-то долго пустое говорят, – озабоченно хмурилась она. – А про дело никак не начнут...»

– А вчера я, поэт, художник и всё такое, в овраг навернулся. И думаю: а может, Хэм с Ремарком – тоже подмена?! – продолжал Кеша. – А мы за ними бежим, как дурачки – рулим в свободу нравов, без всякого руля? Когда навернёшься, вообще – всё с ног на голову переворачивается... Но вот когда из-под меня Бронька, эта козябра пресловутая, половик выдернула, тут во мне в третий раз всё вверх тормашками перекинулось: настоящую Книгу надо искать!

– Глубинную! – подсказал Козин.

– Вот-вот. Такое меня жестокое прозрение на полу охватило...

– Да её, вроде, нашли, Глубинную, – опять чокнулся Козин с Кешей.

И, предостерегая, тут же поднял палец вверх:

– Но – тоже подменную! Там поздних наслоений полно!.. Настоящая – она падала. Только в древности. Она жила потом на земле в устном предании, старик! Но мы с тобой этого сокровенного дара небесной мудрости уже не узнаем. И никто не узнает...

– Нет, старик! Той книги, настоящей, с небес, вообще никогда ещё на земле не было. А эта – она должна! Должна упасть! – спорил покрасневшийся Кеша и размахивал руками. – Но где? Когда? Здесь, в Буянном районе, или в соседнем?.. Истина – она открывается только в пути, вот что верно! В вечном поиске нам двигаться предстоит, Козин! Двигаться – с котомкой за плечами. И – искать высший смысл всего!.. Как эти... Тьфу. Ну, которые босиком по лесу бегают и в небо всей толпой кричат: «Порфирий Иванович, пошли нам счастье! Порфирий Иванович, пошли нам здоровья!»... Представь, что будет, если вся Россия так забегает? Босиком, нагишом? По снегам и вьюгам?.. Новая порода людей выведется! Безодежная, звериная.

– А вокруг района примерно это уже и творится, – согласился Козин. – Россия безропотно переходит от биологической формы существования – к психо-энергетической. Пережигает себя в дух!.. Водкой – в нечистый дух, а молитвой – в чистый.

– Жуть во мраке, конечно... – передёрнулся Кеша. – Но именно этого мы с тобой тоже должны достичь, старик! И знаешь, ради чего? Единственно, ради полной независимости от баб... Лучше бы, конечно, слямзить чего-нибудь и на Запад свалить. Но если здесь оставаться, то... другого выхода для творческого, например, человека теперь в России нет! Западный путь нашего с тобой развития – украсть чего-нибудь и свалить за границу. А восточный – одичать до полного совершенства! Либо-либо.

Кеша озадачился – и выпил. Козин – тоже.

– Да, пусть! – снова встрепенулся Кеша. – Пусть мы не прорвались на Запад. Что ж! Тогда мы гурьбой оволоеем на морозах. Принципиально! Но к истине, худые как скелеты, в конце концов, прибежим однажды! И – остановимся перед нею нагишом! Как вкопанные! И остолбенеем, свободные, независимые! Обросшие, как медведи!.. Нарисуемся перед ней – хрен сотрёшь. Такова наша с тобой участь.

– Не желаю! – мотнул головой Козин.

– ...Ты, вообще-то, можешь, держаться за бабью юбку, обиделся Кеша. – Я двинусь в неизбежное будущее один.

– А тогда зачем ты женился? – не понимал Козин. – Да ещё – на буянской? Здесь, брат ты мой, цветы – без запаха. А птицы, брат ты мой...

– ...без голоса, женщины – без сердца. Козе понятно.

Козин поморщился едва приметно. Музыка в ту минуту стала звучать совсем тихо – кто-то в дальней комнате резко убавил громкость. И дети угомонились. Бронислава затаила дыхание.

– Женился ты здесь зачем?! – настаивал Козин.

– Парадокс! – объяснил Кеша, хлопнув себя ладонью по лбу. – Расписался, дурак! Осчастливил неосмотрительно первую попавшуюся деревенскую вдову... А сегодня утром её соседка – представляешь, её родная соседка! – мне говорит: «Что вы наделали? Вы же образованный человек. И как только вы могли, жениться на женщине такого не тяжёлого поведения?!»

– А ты что, сразу не мог догадаться, кто она такая? – хмыкнул Козин. – Я вот, например, женился на женщине нелёгкого поведения. Ты думаешь, просто мне было в городе такую отыскать? А потом ещё с ней же и жить?! Но кто знал, что она – тоже буянская, как и твоя? Влипли мы, брат, короче. Оба влипли.

– А-а, – махнул рукой Кеша. – Да знал я всё про Броньку с самого начала! Если женщина сразу к себе повела!.. Нет, в первый раз меня видит – и выпускает к себе без звука, представляешь? Разве порядочная женьшень так поступила бы?

– Ну, а зачем тогда расписывался? – никак не мог уяснить Козин.

– А вот, ломаю теперь голову: и на хрена козе баян, когда коза – не хулиган?

– Да что у тебя всё козы на уме?! – лениво возмущился Козин. – Заладил. Мы же про женщин всё-таки говорим. При чём здесь козы, не понимаю...

Тут Бронислава решила было войти. Она вздохнула поглубже, сжала кулаки и поискала глазами чего-нибудь навроде кочерги. Но Козин, выпив и поморщившись, заговорил снова:

– Ну, ты ведь, старик, ничего не потерял. Поедешь опять к Зойке. Зойка же тебя не выгонит.

– Зойка? – глубоко задумался Кеша, налил в рюмки из бутылки и поморгал напряжённо. – Зойка – выгонит.

– Брось ты! Скажешь: «Люблю, жить без тебя не буду. Старался забыть. Пытался бежать от любви на край света! И... не могу без тебя. Не получается!» Ну, не мне же тебя учить.

Кеша прикидывал что-то в уме и держал свою рюмку на отлёте.

– Всё равно выгонит, – огорчившись, сделал он прежний вывод и резко выпил.

А потом пояснил:

– Я же прошлый раз к ней Хрумкина привёл. Кретина из филармонии. Помнишь, длинный, в керзовых сапогах? Ноги тонкие – а сапоги широкие. Болтаются. Хлоп! Хлоп! Хлоп!.. Он ещё на блок-флейте учился играть. Часа четыре дудит, на дырки перед собой изо всех сил двумя глазами смотрит – чтоб не сбиться, которую пальцами нажимать надо. И так в керзовых сапогах надудится, со сведёнными к носу глазами, что они у него потом никак не разойдутся. Косой от блок-флейты встаёт, и косой на улицу в своих широких сапогах идёт. На все заборы лбом натывается: хлоп, хлоп! Ты его знаешь...

– Ну, знаю.

У Брониславы уже ломило в висках – от чужого воздуха и от мужского дурного разговора, в котором не нашлось о ней одного-разъединого доброго словечка. «Батюшки-светы! Вон они какие – городские-то... Предатели все. Предатели они предательские! И не переделает их никто, – понимала теперь она в коридоре. – Никто. Никогда».

– В общем, пока Зойки не было, мы с этим лабухом после его училища весь холодильник сожрали.

Кеша взял кильку двумя пальцами за хвост, покачал её и уложил на кусок хлеба.

– Продолжай, Викентий! – велел Козин. – Ты потерял нить!

– ...И он, главное, эта косая бездарность, на нос свой смотрит двумя глазами и гундит всё время возле Зойкиного холодильника: «Я – малоежка, я – малоежка». А сам не останавливается: уминает и уминает... Козин! Запомни навечно: как только человек тебе скажет: «Я мало ем!» – значит, всё сожрёт. Непременно. По ходу жизни... И «марочное» разыскали Зойкино, подарочное. Тоже выпили. А такое – не прощают, старик... Она нам и протрезветь не дала. На пинках нас выкинула. У Хрумкина даже глаза от пинка сразу разошлись: на место в подъезде встали. Представляешь? Как будто и на блок-флейте никогда не играл... Интересно, нотная грамота у него в голове при таком пинке уцелела?.. Вообще-то Зойка не плохая: на базе работает. Плешивая, правда. Местами. Но зато – буфера! Я те дам. Ну, ты же помнишь!

– Я?.. Буфера?.. – Козин в задумчивости взвёл глаза к потолку. Потом сделал обеими руками уверенное округлое движение – и кивнул утвердительно: – Я – помню, конечно.

Уже не прячась, Бронислава прислонилась к косяку, однако её за полуоткрытой дверью так и не замечали. «Удавиться что ли?» – скучно думала она, тоже глядя в давно небелёный, незнакомый потолок. В углу уютно сидел в паутине то ли не выросший, то ли усохший от старости паук, похожий на серый цветок, и трогал лапой редкую сеть. Она отзывалась дрожью, потом затихала. «А кого делать-то? Удавиться только с таким замужем и осталось!», – пожаловалась вверх Бронислава. И едва не расплакалась в голос. Оттого, что даже этого ей было нельзя.

«Нет... Нина корову испортит тогда... – молча тосковала Бронислава, стараясь не всхлипывать от обиды. – У Нины нашей за спиной стоять надо, когда она доит... Конечно, соски у Майки тугие. Что тугие, то тугие. Но всё равно – молоко-то оставлять разве хорошо? Оно же перегорать начнёт, без меня... Нет. Измучит Нина Майку одна. Изведёт Майку нашу!..»

И от жалости к корове, уже – будто заброшенной, уже – будто хворающей безмолвно в сарае, с раздутым воспалённым выменем, слёзы щекотно побежали по щекам, солоно затекая в углы губ. Они стекали дальше, под шаль. Бронислава чесала шею и вытирала слёзы варежкой до самых ключиц: чтобы шаль оставалась сухая. И паук замер в своей паутине, словно засох окончательно.

– ...Ты прикинь: чем хороша эта Зойка? – живо рассуждал, между тем, Кеша. – Поначалу меня сходу отшила. «Ах! От вас пахнет шампанским с редькой». Это раз... У нас же денег только на три редьки тогда хватило. А кто без закуски шампанское пьёт?! Оно же без закуски горло распирает, правильно? В нём же – га-зы! Газы, Козин!.. А у Хрумкина пресловутого зуб передний болел, он жевать не мог. Так я ещё и ему его редьку по-братски нажёвывал – с руки кормил, посреди базара, как больную птицу, этого беззубого гада... Сам наелся и ещё нажевался редьки за двоих – до нескончаемой отрыжки. А Зойка: «Фи, от вас так дурно пахнет!» Понял? И прекратила целоваться, это раз: отшила. Хотя я уже снял штаны, как

для порки... Всегда с полной сумкой Зойка ходит, то есть – полноценная, высококачественная несущка: два. И драться не умеет – три!.. Царапается только, как баба.

– Научится! – успокоил его Козин. – С тобой – научится.

«...Ой, да не пропадёт без меня корова!», – вдруг окончательно решила Бронислава в чужом коридоре. И оглянулась в отчаянии на рыжий Кешин полушубок – как уже на чужой, как на оставленный в этом мире без её пригляда. «Она же – первотёлка, Майка... – шептала Бронислава, словно вместо полушубка находился за нею какой-то безгласный человек, ждущий её объяснения. – Раздоится ещё... Проживут без меня, ничего...»

«А Витюшке в армию пускай не пишут пока. Не расстраивают. Пускай Витёк дослужит спокойно. Потом к могилке моей придёт, посидит возле меня, рядом, на солнышке. Возле меня, возле отца. И хорошо... Что ж теперь! Мне другой дороги никакой уже нету». И кивала, кивала, соглашаясь с собою: «Ничего. Не пропадут. А чем так жить!..»

Она шелохнулась, чтобы уйти отсюда и больше ничего уже не слышать из плохого, что есть на этом свете. Как вдруг белоголовый мальчик лет двух, в душегрейке и в меховых ладных башмачках, выбежал в коридор из дальних комнат – и застыл. Он держал во рту грецкий орех, кругло обхватив его блестящими губами, и разглядывал Брониславу снизу во все глаза.

Она кивнула и ему – всё с тою же покорной грустью: «Ничего, ничего...» Тогда мальчик кивнул ей тоже – охотно и весело. А потом вытащил орех изо рта, положил его в руку Брониславе и убежал. И Бронислава печально сунула тёплый, мокрый орех себе в рот.

Она спохватилась тут же – «Дура! Ну – дура!!!» – и убрала орех в карман. Улыбаясь убежавшему мальчику долгой безрадостной улыбкой: – «Ох, знал бы ты, какая тётка-то – дурища! Батюшки-светы...» – она сжимала тёплый орех в кармане с благодарностью.

– Тем более! – не понимал Козин. – Зачем же хороших-то терять? Таких, как Зойка? Товароведша – это же не женщина, а целые закрома! Да такая женщина, она десятерых Шальиных прокормить может! При ней ты до гробовой доски мог спокойно сникерсами какать и мочиться пепси-колой. Чем не жизнь для русского художника? Мечта!

– Она мне обещала баян купить, – хмуро вспомнил Кеша. – Зоянда пресловутая.

– Зачем тебе баян?

– Играть. «Глобус крутится, вертится. И мелькают города и страны»... Не купила. Зоянда. Выпнула за порог.

– Нет, всё равно: неосмотрительно ты поступил. Оставил Зойку одну, без пригляда. Её же любой свободный художник себе захватит как идеальную стартовую площадку! Для творческого взлёта. Пока ты тут сидишь.

– Да будь женщина хоть какая хорошая, а всё равно как-то... – крутился, томился и мучился Кеша, пытаясь выразиться поточнее. – Оскоминая!.. Как-то вот оскомину набиваешь! И быстро, между прочим. Чем лучше женщина, тем быстрее – оскоминая. Парадокс!

– Ничего. Уговоришь. Чтобы ты – да не уговорил?! И наплюй ты на её плешь. Не обращай внимания. В женщине главное – не голова. В женщине главное – совсем другое место: квартира. Городская! Ну, какой из тебя сельский труженик?! Или из меня?! А этой своей, сожительнице местной, скажи...

– Так она ж теперь как раз не сожительница. Это Зойка получается – сожительница. Ты, Козин, вникни только в страш-ш-шный парадокс, который приключился со мной! Если уж на ком и жениться надо было через Загс, то – на Зойке!!! Там – и стол, там – и дом. Вечный хлеб!.. Понимаешь, Козин, во что я вляпался с этой здешней женитьбой? Хрумкин припал к Зойкиному холодильнику, а я потерял личную жизнь! Он же надудится – и решительно не понимает разницы, как все мессианцы, между своим и чужим!

В доме наступила полная, долгая тишина.

– В моём доме ничего плохого про Хрумкина чтобы я не слышал! Никакого антисемитизма! – вскричал вдруг Козин, как ужаленный, и стукнул по столу вилкой. – Это пошло, в конце концов! Это дурной тон! У него же – связи железные в управлении, дурак!.. Или ты хочешь, чтобы передо мной все двери отечественной культуры оказались закрытыми напрочь?!

– Извини, старик, – растерялся Кеша. – Пожалуйста, извини за Хрумкина. Ты же знаешь, мы с ним – друзья... Ну, хочешь, я на коленях прошенья за Хрумкина у тебя попрошу? Да вот, стихотворение одно... Про царицу по фамилии Савская. Я его всё время Хрумкину читаю, старик! Он его ценит. И тебе около Пегаски читал, ты забыл просто!

Кеша торопливо выбросил руку вперёд:

– И часто плакал от испуга,

Умом царицы ослеплён,

Великолепный Соломон!!!

– Вот, вот. Великолепный Соломон, – с нажимом повторил Козин. – То-то же. Хрумкин – человек с беспроектной родословной! Не ты, не я, а он – наш рулевой в искусстве. И нам, безвестным лапотникам, остаётся только бежать за его блок-флейтой, усердно петлять косым хрумкинским путём, понял? Или сидеть без всякого продвижения на буанской печке: законсервироваться, то есть, напрочь. Погибнуть заживо в своих нетях и весах.

Кеша смотрел на Козина с ужасом:

– Погибнуть?! Так ты полагаешь, что Хрумкин может вытащить человека в сферы искусства даже из этой глухомани? Нет, старик, я же ничего не знал про его связи. Я этого пресловутого Хрумкина... Я лично – с собственной руки его редькой вскормил! Как младенца! Бескорыстно... А он мне доверял! И в пьяном виде кричал и бахвалился всячески, что его настоящая фамилия раньше Фрумкин была. И мой родной дед Егорша, он же всегда был с мессианцами в одном строю! Он же братьев по крови в революцию не щадил, зато с ними...

– погоди, Фрумкин, говоришь? – насторожился Козин. Он снял, не вставая с места, красную толстую книгу с полки, отодвинув кастрюлю, и стал листать на столе, рядом с тарелкой кильки. – непонятно, но бодрит... – бормотал он.

Брониславу клонило в сон. Она устала переступать с ноги на ногу и разулась. А потом уселась босиком, в коридорной полутьме, на низкий табурет для обуви, под полу рыжего полушубка. От него пахло теплом, домом и нафталином.

– Фрумкин, Фрумкин... – листал страницы Козин. – Так. Революционер... Ссылка... Канск, Абакан... В Красноярске работал в губкоме... «Пробыв несколько дней в Екатеринбурге,

я отправился в Москву». Погоди, а как он там оказался именно в дни расстрела царской семьи? А потом сразу стал заместителем наркома финансов?

– Не врал, значит, беззубый гад, флейтист! – восхитился Кеша. – Что у него предок – революционный шишкарь был. Который их в Сибири бросил! То-то я гляжу – антиквариата у Хрумкина полно. Ты был в его квартире? Ты был?

– Нет, но... Теперь – почту за честь! – выпалил Козин с готовностью. – Погоди, а у тебя-то фамилия... Что-то знакомое, как будто, я где-то встречал.

– Ну, нас то Шалиными записывали, то Шальиными, – с неохотой отвечал Кеша. – Исетск – хоть и город, а невежества там хватает... Но я от этого дикого места на земле давно отмежевался. Неужели по мне не видно? Что я давно взлетел над своей средой!

– А сегодня разве среда? – удивился Козин.

– Суббота, – не сразу вспомнил Кеша. – Но я и над субботой взлетел.

И снова Бронислава слышала сквозь дремоту шелест страниц. «Посижу ещё чуток, да и пойду, – подвигала Бронислава пальцами ног на чужом холодном половике. – Век доживать».

– ...Точно! В убийстве царской семьи... – читал Козин. – Отряд красноармейцев, в который входили... Так, так, так. Ага! Егор Шалин!.. А не шестёркой ли он у хрумкинского деда был? А? У фрумкинского, то есть? Твой дед Егорша?

– Да ты что? – вскричал Кеша, не веря своему счастью. – Дай глянуть. Не тот, наверняка – не тот... Нет, я знал, конечно. И Хрумкин мне навязчиво внушал. Но чтобы в книжке это же самое пропечатали! Невероятно...

Потом наступила долгая, висячая тишина.

– «И часто плакал от испуга», – сказал, наконец, Кеша.

Козин молчал.

– А у нас почему ни у кого в Исетске антиквариата нет? – требовательно спросил Кеша. – А у нас почему в кармане – вечно вошь на аркане, блоха на цепи?.. Если дед Егорша и Фрумкин общим делом занимались? Доходным? То – почему?!

– А я откуда знаю? – рассеянно ответил Козин. – ...Погоди. Значит, ваши с Хрумкиным легендарные деда... Бок-о-бок... Да, братцы. Измельчали вы. Оба.

– Но-но! – вдруг заносчиво вскричал Кеша. – Что угодно ты можешь говорить обо мне лично, но про Хрумкина!.. Изволь извиниться. Сейчас же.

– Да я... Извини, конечно. Я же – ничего! – растерялся Козин. – Он – славный парень, совсем простой. Ну что, на колени мне перед тобой встать? Да я... Я даже запомнил. То, что ему нравится. «И часто плакал от испуга...»

– «Умом царицы ослеплён!» – поучал Козина Кеша.

– «Великолепный Соломон!» – с готовностью подхватил Козин, рухнув на колени. – Извини ещё раз... Соломон! Соломон! Соломон!!!

– Вот именно: Соломон. В моём присутствии – не позволю! Потому что Хрумкин для меня! И я – для него... Да, именно – я! Я!.. Ослеплён! Ослеплён! Ослеплён!!!

На кухне повисла внезапная, но недолгая, тишина.

– А ведь, хорошо, – медленно проговорил Козин, удивившись своим каким-то тихим мыслям.

Кеша внимательно следил за козинским лицом.

– Ты ей вот что скажи, своей очередной законной! – окончательно решил Козин. – Скажи: редактор из Шерстобитова на работу к себе позвал. Скажи: «Устроюсь – приеду за тобой». Ну и всякое такое: я же, мол, не могу жить, нигде не работая, там квартиру обещают!.. А сам – к Зойке. Только так можно распутать твой несуразный клубок... И – держись за Хрумкина, старик! Ты ему скормил Зойкин холодильник, а взамен получишь – творческую судьбу. Будешь скоро сидеть в самом высшем городском обществе! В качестве русского болвана. Они всегда одного или даже двоих таких с собой рядом сажают, для контраста... И меня отсюда вытащишь!

– О-о-о! Замётано. Блестящий выход, – торжествовал Кеша. – Ты, старик, гений. Второй Хэм!.. Нет, ты – третий Бодлер. Ты... – просто четвёртый Фейхтвангер какой-то! И, если мне не изменяет память...

– А она тебе изменяет! – весело уточнил Козин. – И – часто!.. Ох, счастличик ты, Викентий. Эх, как же я Хрумкина-то возле Пегаски прошляпил? Если бы я с ним вовремя скорешился, разве бы я сейчас в Буяне оказался... Да я пустяком буду доволен, крошечной рекомендацией. Я место в городе получу!!!

– Короче, ты – пятый Эрих! – продолжал ликовать Кеша. – И даже пятая Мария одновременно. В общем, пятая Ремарк ты, короче.

– Давай к Зойке. А там и я подъеду. Выпьём втроём, разок, другой, у Хрумкина. Расходы беру на себя... Ну? Вперёд! В большую, мировую культуру!

– Ослеплён! Ослеплён! – жмурясь от счастья, махал Кеша руками. – Ух, как ослеплён, благодаря тебе, Козин!..

– Не забыл, что надо сказать жене?

Бронислава резко отёрла с лица дремоту, встала с табуретки и распахнула дверь во всю ширь.

– А зачем мне говорить-то? Уж и так всё сказали! – вежливо крикнула она. – Про заговор ваш придуманный!

Козин повернул к Брониславе длинное красивое лицо и смотрел ничего не выражающими белёсыми глазами. С его вилки на пол неслышно упала килька.

– Непонятно, но... бодрит, – уставился он сначала на пальто, а потом – на её босые ноги.

Кеша недовольно крякнул.

– Да вы садитесь, – спохватился Козин, неловко поднимаясь со стула. – Я принесу тапочки.

– Тапочек чужих мне не надо. Не люблю я чужие. Пальто снимать не буду. А сесть – сяду. И выпить – выпью! – согласилась Бронислава.

Не глядя на Кешу, она тут же прошлёпала к столу.

Козин открыл шкаф, достал мутную рюмку, искал, чем протереть. Но не нашёл и налил так. Бронислава, не церемонясь, выпила. Рюмку поставила крепко.

«И под кухней подпол не утепляли, и щели в полу – не заделывали, – подумала она про Козиных неодобрительно, поджимая ноги, покрасневшие от холода. – Немошные что ль? И как такие на земле только держатся? Одуванчиками прям живут».

– Я тут про деда как раз рассказывал! – бодро начал Кеша, уводя глаза в сторону. – Про героя гражданской войны. Исключительно про деда Егоршу.

– Это про плешивого что ль? – спросила Бронислава с усмешечкой.

– Про него! – нашёлся Кеша. – Как ты догадалась? Он, между прочим, собственноручно шестьсот шестьдесят шесть человек белых на тот свет отправил! ...А уже отец мой, насильственно лишённый атеизма, дал зарок: выпить ровно шестьсот шестьдесят шесть бутылок водки. Не больше и не меньше. По бутылке – на помин души каждого, дедом Егоршей убиенного... Он, конечно, и больше бы их перебил, дед Егорша, если б золотишко с них, с белых, не стягивал. А он стягивал, так, по мелочи. Потому что для него главное было не золото, а идея! А потом скрывался. От наград... Не знал, чем наградят. Маленький был, дед Егорша, шустрый: ему затеряться в толпах – как нечего делать. Ну, и растерял всё. По толпам. По торгсинам. А потом нарисовался перед бабкой...

Бронислава хотела было заговорить. Но Козин опередил её с большим проворством:

– Так твой дед Егорша, вроде, на приисках золото мыл?! Ты же сам говорил. На приисках, а не на расстрелах. Так?

– Он на золотых приисках его, конечно, помыл, – завздохал и заворочился Кеша. – До блеска. Но недолго. Там же – холодно, мокро, тяжело. Драги одни кругом дрожат. А с помощью мессиянца Карла Маркса дед Егорша понял внезапно: революция – это же самые доходные прииски! И главное, технология вся расписана. Они, профессиональные революционеры, кровью – пуды золота намывали!.. Реформаторы – полпудами, а революционеры – пудами. Ну, профессиональные – были другие, дед Егорша им только помогал, разумеется. Профессиональным... Революции, реформы – это же всё грабёж безостановочный мирных коренных народов. А главное – лёгкий, быстрый!.. Нет, Козин: революции с золотыми приисками даже не сравнить. Совсем другой масштаб обогащения! Главное – высоко идейный!.. Это мне Хрумкин всё подробно объяснял и к этому методу меня склонял. В бытовом смысле. Около холодильника. Когда закусывал с вырванным зубом.

Козин грозно взглянул на Кешу – и тот поперхнулся.

– Нет, про Хрумкина – либо хорошо, либо ничего. Я же с полным восторгом о нём, а не в укор! – стал оправдываться Кеша. – Ему играть даже удобнее так стало, когда во рту дыра. Свистучая такая дыра образовалась... В неё блок-флейту удобно вставлять. Она с вырванным зубом гораздо лучше во рту держаться стала. И на еде дыра в худшую сторону, старик, тоже не

отразилась. «Мы с тобой, – пьяный Хрумкин возле холодильника мне говорил, – потомственные революционеры. И потому должны производить экспроприацию – везде и всегда! Где только можно, а особенно – где нельзя. В данном случае, из холодильника! Не будем же уподобляться всяким советским честным коммунистам и отворачиваться от материальных благ! Этот советский коммунизм совсем некстати оправославился...» И экспроприировал без зуба так, как другой со всеми зубами за год не наэкспроприрует. И ещё политически обосновывать всё успевал. Выполнял с блеском свою мессианскую роль, пока Зой...

В доме наступила полная тишина.

– Ну и когда ты ехать собрался? – спросила Бронислава Кешу. – И на какие шиши? На его, что ль?

Кеша нахмурился на мгновенье, сосредоточился – и отвернулся от неё, говоря уже только Козину:

– ...А вот уже отец мой – тот всю свою жизнь на поминки употребил. Тогда многие так делали: всех белых выперли и спокойно запили. Загуляли на просторе... Выпил, значит, мой отец ровно шестьсот шестьдесят шесть бутылок, – помянул то есть, всех до единого, геройским дедом Егоршей убиенных, – и пьяный в стельку умер. Справился с поставленной перед собой задачей! Представляешь? С помощью профсоюза, конечно... Мать на пекарне профсоюзом командовала, а он ей членские взносы помогал считать... Он меня, между прочим, пьяным заделал. А вот видишь, – Кеша, хвастаясь, постучал себя по темени, – на мне не сказалося. Парадокс!

Козин согласно кивнул и указал Брониславе на Кешу вилкой:

– Нет, Кешка – он гений! «...И зачумлённого не принесёт плода»!

Все снова помолчали.

– А что? – заносчиво спросил Кеша. – Жестокое время было! Тогда никто никого не щадил. Не мы бы их, тогда бы – они нас! ...Если б какой-нибудь пресловутый беляк убил бы шестьсот шестьдесят шесть человек красных, и в их числе – моего деда Егоршу? Разве лучше было бы?! А?

– Конечно, хуже! – с готовностью поддержал его Козин. – Тогда бы у беляка внуки дураками народились. А так...

– Ну, это же козе понятно!

– Викентий! Зачем ты опять про коз?!

– Гадство! Про Хрумкина – нельзя, про коз – нельзя! – вконец расстроился Кеша. – А про кого мне можно?

– Про меня можно. И про план ваш городской, – громко сказала Бронислава, запахиваясь потуже. – Надо нам его втроём принять. Вместе. Небось, и я тут не лишняя – помогу, чем смогу. Проголосую прям щас, если что. Единогласно!

– ...А здесь такая глушь, что и революций никаких не было! – вдруг сообщил ей Козин сокрушённо. – Представляете, что сторож в ДЭКа мне про то время поведал? Приезжали, называли буянских «господа мужики». Да сразу – в город поскорей. А потом прискакали другие

– называли буянских «товарищи мужики!» И тоже – в город галопом. Всех в бедные записали, чтоб не связываться, на самоуправление всё здесь спихнули... А не запиши-ка? Когда каждый – с топором за поясом? А до города – путь тяжёлый. Никакого грейдера не было... Да, гиблое тут место, дорогие мои. Ой, гиблое! Практически недоступное для прогресса. А вы, Броня, как считаете?

– Какие уж тут революции, в глухомани нашей? – отмахнулась Бронислава. – У нас и богатых-то сроду не было. Бедных, правда, тоже. А староста выборный – он себе больше других никогда не брал, говорят. Не положено это у нас было... Нет. Одним гуртом жили – всем всё поровну делили: разве среди своих бедные-богатые бывают? Жребий!.. Колхоз он колхоз сроду и был – мы к нему привыкшие, не ещё к чему.

– Вот оно: община! Извечная коммуна! Первобытный коммунизм! – повернулся к ней восхищённый Козин. – Я всё понял. Идея коммунизма победила в России потому, что Россия была коммунистической изначально – и всегда! Только так она выживала по глухим местам.

– А кого это она у нас победила? – не поверила ему Бронислава и фыркнула. – Никого она здесь не победила, идея эта. У нас как всё было, так и осталось. И всегда так будет... Баловство-то мы любое тут пересидим: хоть коммунизм, хоть демократию пизтнесменскую. Нам без разницы... А коммунизм этот – он и не наш, он заграничный был.

– Почему же – заграничный? – с повышенным вниманием спросил Козин.

– А всё, что без Бога, то и заграничное. Не наше, значит, – косилась на Козина Бронислава. – Он, правда что, без Бога, коммунизм. С трупом только.

– С трупом Ульянова!.. Или – с трупом Маркса?

Однако Бронислава снова отмахнулась от Козина:

– Да там их полно, трупов этих, и не один что-то не воскрес. Чем их только не натирают, а никто не воскрес – никто не вознёсся. Охота вам про пустое молоть. Сказала же вам: что без Бога – то заграничное. А что заграничное – то без Бога. И точка... Когда едешь-то? – снова спросила она у Кеша. – Давай вот здесь, при нём, при завклубе этом своём, решай. Раз на людях ты всё решать начал – на людях давай и закончим.

Кеша в тот миг будто уснул с открытыми глазами и не шевелился.

– Куда? – вдруг удивился Козин. – Это же трёп был!

– Едешь, говорю, когда! – прикрикнула Бронислава на Кешу, теряя терпение.

Тот очнулся. И начал сосредоточенно обводить пальцем клетчатый узор на чужой клеёнке.

– Да я же к Козину на работу пришёл проситься! – вдруг возмутился Кеша. – Художником! А он говорит: штатной художественной единицы нет.

– Завтра поедешь, – с нажимом сказала Бронислава. – А то автобуса десять дней потом не будет. До следующего тебе терпеть неволю, небось? Устанешь ещё ждать-то, чего доброго.

– ...Так, работы же всё равно нет! Не берут! – возмутился Кеша.

И закричал, ударяя себя в грудь кулаком:

– А без работы я кто? Дармоед? Я, художник, поэт и всё такое, для зятя какого-то пресловутого – вообще, оказывается, недочеловек! Руку здороваться тяну, а он мимо глядит. Бездар-р-рность!.. А эта дочь твоя? Глазами всего изъела, как каустическая сода. У тебя, между прочим, дочь – фашисткой выросла. Я, между прочим, тоже слышал кое-что. Ночью!.. Это не дочь у неё, Козин, а дойч какая-то! Натуральная дойч!

Бронислава побледнела и встала было со стула. Однако взяла себя в руки.

– Фашистка! Фашистка – дойч твоя! – кричал ей Кеша.

– Дочь – не трогай. Ты мне её под законы-то под мексиканские не подводи!.. Не при чём она. И про зятя – чтоб я больше слова плохого не слышала. А работа везде есть. Скажи только, искать её надо.

– Нет, на птичник, что ли, мне идти?! – взвился Кеша, налил только себе и выпил махом. – С моим легендарным происхождением? Хрумкина смешить.

Потом пожаловался Козину:

– Представляешь, куда она меня пристроить хотела? Дерьмо куриное выметать. Нет, ты представляешь, Козин?! Безобр-р-разие. Я – и дерьмо. Парадокс!

– А на птичнике что – не люди работают? – удивилась Бронислава. – Не хуже тебя, небось. Может, и получше. Лучше метлой дерьмо-то мести, чем языком ты его метёшь.

Кеша только презрительно хмыкнул.

– Ну, ты к этой работе непривычный, – миролюбиво заключила Бронислава, – Поезжай. От меня, плохой. В городе ещё раз поживи. У этой. У хорошей-то своей. На гостиницу денег не дам. У Зои богатой и остановишься. Накормленный будешь, в тепле. Постирать есть кому. А на работу устроишься, квартиру частную снимешь – напишешь, я к тебе приеду. Не брошу! Ты только напиши. Я тебя, где хочешь, найду! – с весёлой угрозой закончила Бронислава. – Или меня, старуху, в город не повезёшь, постесняешься? Там ведь все расфуфыренные. Ну, так я, Кеш, в парикмахерскую городскую схожу. Кудрей полно навью. И румяна там в магазине – всем кряду небось отвечивают. Хоть килограммами... Ох, умора.

Козин недовольно рассмеялся.

– Ты извини, я уведу твою жену на минутку, – вяло взяв Брониславу под руку, сказал он.

– Уводи! – махнул рукой Кеша и стал наливать себе из бутылки. – Я разрешаю! Уводи, по ходу жизни, в светлое будущее! Оно ей одной наперёд известно... Что примечательно, буянское светлое прошлое неотлично от буянского светлого будущего. А будущее – от прошлого. Никакого движения вперёд, к мировой катастрофе! Поразительное душевное спокойствие. Практически, непробиваемое.

– Идёмте, Броня.

– ...Не могу же я, в самом деле, работать на птичнике! – приходя в себя и капризная, кричал Кеша им вслед. – Особенно – теперь! Птичник отпадает полностью. С чистки куриного

дерьма начинать свой трудовой путь в вашем дремучем Буяне?! Ха-ха-ха! Гребите сами это добро. Ха-ха-ха! Благодарю за оказанное высокое доверие... Ха. Ха. И ещё раз – ха!..

Козин завёл Брониславу в тесную боковую комнатёнку, усадил на диван, отодвинув в сторону несвежую простыню. Сел рядом, близко. И положил руку ей на плечо:

– А пальто в гостях ты никогда не снимаешь? Так и ходишь в нём, босиком?

– Ничего. Не лето красное у вас, – запахнулась она потуже и поджала губы. – А ноги потерпят. На коврик на вашем.

– Ты молодо выглядишь. Вон какая... крепкая, – осторожно сжал он её плечо и сразу отпустил.

Бронислава посмотрела в линияые козинские глаза. Ей стало неприятно оттого, что она ему нравится. И тогда она принялась внимательно оглядывать обои. Они были яркие – в оранжевых хвостатых петухах с раскрытыми клювами и в огромных красных маках, с жёлтыми и зелёными листьями.

– Тебе нравится здесь? – спросил Козин.

– Ничего сидим. Как у хохлушки под подолом, – сдержанно похвалила Бронислава обои.

Козин прокашлялся.

– Я Кешку Шальина давно знаю. Он там, в городе, около нашей пивной, на углу, всё время околачивался – около Пегаски. Всё правильно: от него лучше избавиться... Ты когда дома бываешь? Если тебе станет скучно, то я...

– А ты там, около пивной, кого делал? – засмеялась Бронислава. – Порядки, что ль, на углу наводил?

– Хм, нет, конечно... Просто – была молодость, видишь ли. И потом... около этой пивной всегда собирались вольномыслящие поэты! Потом заваливались туда... Она же рядом с филармонией – Пегаска. И от Союза художников недалеко, от института культуры... Глупая молодость. Погоня за жизненными впечатлениями. Страстная погоня, Броня!

– Может, и у него погоня была.

– Что ты... Он же алкаш. Опустившийся человек. Он бездарен.

– А ты нет, что ли? – усмехнулась она. – А сам-то полгода назад какой обтёрханный к нам приехал? Забыл? Только здесь, на буянских харчах, и выправился.

– Ну, уж извини! – обиделся Козин и убрал руку с её плеча. – Во-первых, я всегда знаю, где надо остановиться. И когда надо сказать себе «нет». А во-вторых, что касается моего собственного таланта...

Он деловито пошарил на тумбочке среди бумаг, вытянул исписанный листок и, с сомнением взглянув на Брониславу, сказал:

– Слушай. Из последнего:

«Распляшется бешеный ветер,

Закружат скупые снега,

Застонут промёрзшие ветви

И замертво рухнут к ногам»...

Козин помолчал немного, словно ещё слышал отголоски своего чтения.

– Вот где поэзия! – расчувствовавшись, наконец, сказал он.

– Да, жалко... – рассеянно отозвалась Бронислава.

– Кого? – не понял Козин.

– Да что ветки-то отпадут. У Кеши тоже про такое есть, он мне один раз ночью читал. Только у него про яблоки. И тоже – жалко, прям сил нет. Яблоки там у него кто-то крупно нарезал. Напополам. И все их – повыкидывал... Про яблоки мне даже жальче. Выкидывать-то зачем? Их посушить можно.

Козин уставился на неё. Потом сказал назидательно:

– В поэзии бродят высшие смыслы, Броня! Не практические... Да, бродят.

– И правда что, лучше бы на вино они перебрадили. Яблоки эти... Смыслы, конечно, смыслами. А когда в них, в смыслах, добро портится да рушится всё кругом – хоть как: неприятно. Не люблю я, когда про порченное пишут. Что не люблю, то не люблю.

Козин рассердился. Но тут же заговорил сочувственно:

– Милая женщина, если б вы знали, с кем вы связались... А знаете, на кого вы сейчас похожи? Вот так, в полупрофиль? В полутени? Видели вы когда-нибудь Венеру Боттичелли? Смотрите же! Вот репродукция! – широким жестом он показал на магазинную картину, висящую над тумбочкой на кривом гвозде. – Сколько прелести в её совершенной наготе!

– А вот это ты брось давай. И даже мне не начинай! – решительно перебила его Бронислава. – А то у меня рука – тяжёлая... Я на свою мать похожа. На Парасковью Ивановну, царство ей небесное. А не на этих. На всяких. Которых без трусов рисуют.

Козин отошёл к окну, занавешенному чудной, полосатой как матрац, шторой. Задёрнул её поплотнее, до зеленоватого сумрака в комнате.

– Непонятно, но – бодрит... Вы, Броня, телевизор-то смотрите хотя бы? – вздохнул он, заметно поскуцнев.

– Зачем? – удивилась она. – В нём нерусское всё. Как при Кочкине сломался, так тёмный и стоит... Я вон к Зинаиде зашла – там одно и то же. Или мужики врут, или девки гарцуют. А из одежи-то на них, на девках – так: уздечка одна. Притворяются все только, что русские, а сами – мексиканцы, в телевизоре в этом. И вот ведь не устают, бедные, притворяться-то без конца... Умора!

– Не знаю, как насчёт сериалов, а уж вы-то, точно, поставили на тёмную лошадку. Эх, Броня, Броня. Как вы думаете, чем он там сейчас занимается? Ваш избранник? Перед бутылкой?.. С Кешей толку не будет, – участливо твердил Козин и качал головой то ли с укором, то ли с огорчением.

– Чегой-то не будет? – покосилась на Козина Бронислава. – Пока что – не уехал ещё. А и уедет – десять дней как раз в городе помывается да и вернётся. Ему там и приткнуться негде.

– Вполне может не вернуться, – вздохнул Козин. – Если пристроится, конечно... Этот человек, Броня, не знает чувства привязанности и чувства благодарности. Он, Броня, так...

– Вей-ветерок, что ли? – подсказала Бронислава.

– Вот-вот: Кешка – ветерок. Как можно этого не видеть?

Козин опять кашлянул, подсел ближе и положил руку на её колено. Туманный, размытый, неопределённый вопрос плывал в его глазах.

– ...Вернётся, – мрачно усмехнулась Бронислава, не отодвигаясь. – Я слово такое знаю.

– Что за слово?

– Так, одно слово. Не веришь, что ль? – засмеялась она. И с угрозой сказала: – Ну, слушай, если не веришь! Только отвернись. Не гляди на меня!

Она прикрыла глаза – и скороговоркой предупредила:

– Целиком не расскажу – целиком чужим знать не положено. А когда не целиком, оно недействительно.

И заговорила нараспев:

– ...На море, на океяне,

На острове Буяне,

Там сидит чёрный ворон

Без ног, без ясных очей.

По мосту-по мосточку

Шли три девицы,

Три родные сестрицы.

Они не учились

Ни ткать, ни прясть –

Только русый, чёрный волос

Выговаривать...

Вдруг Козин отодвинулся с поспешностью. В дверях стояла высокая, глазастая женщина. Она куталась в оранжевую шаль и смотрела на Брониславу, щурясь, будто сквозь дым.

– Русый волос, чёрный волос выговаривать... – не видя Брониславы, тихо продолжила женщина. И ушла.

В маленькой комнате наступила напряжённая тишина. Бронислава усмехнулась.

– ...Вот видишь, и она дальше при тебе не сказала! Чтоб это слово силы для чужих не имело: не положено! – торжествуя, заметила она.

– Жена, – буркнул Козин и затомился. – Ну-у... Сейчас начнутся припадки ревности. Да, Броня: приступы беспричинной ревности, и так – каждый день: я на это обречён. Женщины не хотят делить ни с кем того, кем они дорожат.

Бронислава оглядела Козина с презрением:

– Ох, не похоже что-то. Врёшь ты про неё!.. Чего ж это ты грязноротый такой, а? Грязноротый у нас тот называется, кто с женщиной намилуется, а потом про неё чего-нибудь обскажет. А хоть бы и хорошее! – пояснила она. – Хорошее – оно ведь тоже: любую испачкать может. Поэтому наши-то мужики про это – молчат, крепко-накрепко. А тебя вот сразу и видать: не наш...

Козин заметно побледнел.

– ...Красивая она, жена твоя, – продолжала Бронислава сочувственно. – Не тебе ровня. Только худая. Ну, это оттого, что гордая. Гордые, они ведь все худые. Как хворые они, гордые-то, живут... Видишь, и слово знает, а не наговаривает... Я, правда, тоже сама никогда ни на кого не наговаривала. Даже на Макарушку... Потому что грех это страшный! Грех большущий, громадный на душу ложится, если насильно человека к себе привяжешь. И душа твоя никогда уж не взлетит больше. А придавленная к земле всю жизнь будет: ой, тяжёлая станет душа! Низкая, как у червяка поганого... А жена твоя не наговаривает – не поэтому. А знаешь, почему? Потому что – не нужен ты ей!

– Так уж и не нужен! – возмутился Козин. – Да кто её возьмёт?! С моими детьми?

– Возьмёт. Всё знаю. И к гадалке не ходи... Тебя-то уже с ней – нету.

– Что за чушь, в самом деле! – заёрзал Козин. – С чего ты взяла?

– А по глазам вижу. В глазах у неё тебя – нет. Давно нет. Одинокие они, глаза. Далёкие... Вот посмотришь, в них другой появится. Они для другого открытые уже – не для тебя!

Козин вскочил, снова взял с тумбочки исписанный листок и принялся было читать, отвернувшись, но тут же с треском разодрал его в мелкие клочья.

– Так значит, с этого твоего белого стиха Кешка может вернуться? – попытался успокоиться Козин и криво усмехался.

– Если с него вернётся, толку в этом мало. Он ведь тоже – как невольник тогда со мной будет: как мертвец – он будет со мной. И тепло – оно уж никогда к нам не вернётся... Если не наговаривать, то тепло – возвращается. А если наговаривать, то уж никогда. И будешь ты не

человек, а колдун! Или колдунья, – поправилась она. – Сгорбатишься раньше время. И двадцать лет потом любая твоя молитва не примется, хоть как раскаивайся, вот какой это грех. Двадцать лет без всякой помощи будешь ты по земле не ходить, а ползать прям только, как гадина!.. Да, как гадина распоследняя. А если помрёшь в это время? Прямо в ад и ухнешь. А нам ведь – на небушко положено. Вверх. Да.

Бронислава опустила голову и задумалась. Но вдруг выпрямилась – и погрозила Козину кулаком:

– А вот доводить-то нас до этого – не надо. Понял?! Раз довёл кого до греха, значит – сам ты ещё больше согрешил. И тебя – сильней, чем меня, придавит, если что!

– Так ты – православная?

– А то! – с гордостью подтвердила Бронислава.

– А как же ты, грешница буянская, языческие тексты тогда проговариваешь?

– А нам так путь лёг. От них – к Сыну Божьему. А от Сына Божьего – к Богу: к всея твари Содетелю, – степенно рассудила Бронислава. И повторила: – Уж такой путь нам лёг. Что ж теперь.

– Есть у меня знакомый священник, Броня. Он бы тебя сильно сейчас поругал! Ведь произносить даже нельзя то, что ты читала. Это ведь, милая женщина, – обращение к тёмным силам. А дьявол, он обратившегося к нему человека оставляет всегда – с битыми горшками. С пустотой оставляет, Броня! С пус-то-той!

– А я что? Взаправди, что ль? – непонятно усмехнулась Бронислава. – Ты сам-то, может, и без стишка всякого, больше моего ему служишь. Этому. Лукавому-то. Вот, при пустоте, значит, скорей останешься... Да ты при пустоте давно, поди-ка, и живёшь!

– Чудные вы здесь, – стыло улыбался Козин. – Что – ты, что – жена... Она местная тоже. Ваша.

– Не больно-то она и наша, – поджала губы Бронислава. – Её девчонкой сопливой отсюда увезли. Они всей семьёй когда ещё в город переехали!.. Её и не помнит здесь никто, жену твою.

– Зато она – помнит... – уныло ворчал и озирался по сторонам Козин. – Перетянула. В глухомань эту. Где жить культурному человеку невозможно. Тут вам – и птицы без голоса, тут вам – и женщины без сердца... И Кешку, надо же, тоже сюда закинуло, бедолагу. Вот уж не ожидал, признаться.

– С сердцем мы или без сердца, а всё равно: здесь он останется! До самой смерти своей. Поглядишь! – засмеялась Бронислава, не слушая Козина.

– Ой, как сурово! – не поверил ей Козин.

– Ему теперь другой дороги нет, если на меня нарвался. А кто мне пакостить будет... – Бронислава встала, подбоченилась и прищурилась. – Я ведь и килу посажу. Охх, посажу!!!

В дверях она обернулась и решительно добавила, погрозив кулаком:

– Такую килу, что в могилу человека согнать может. И ни один врач не вылечит! Ни врач не вылечит, ни старуха не разговорит. Вот!.. – топнула она пяткой.

Но в полутёмной прихожей Бронислава приостановилась, будто искала чего на вешалке. Сама же перекрестилась поскорей с усердием и, оправдываясь, прошептала в потолок скороговоркой: «Ну, опять не удержалась... Пугнула! Батюшки-светы. Да что же это у меня с языка-то всё слетает? Пряма беда... Ну, вот чего с меня, с дурочки, возьмёшь? Накажи меня, Господи, за это – поскорей, зато не сильно! Отведи беду большую – нашли маленькую. Сильной-то уж – не карай».

И ещё рассуждала, отыскивая валенки и обуваясь: «Я же – кого? Я – вся перед Тобой, Господи, открытая! Не подлая ведь какая...»

В тот миг, задетая Брониславой, Кешина вязаная шапка выпала из кармана полушубка на пол. Бронислава оглянулась на неё – и не успела поднять: чёрная, с бурой полосой, шапка осталась валяться на полу, похожая до странности на изнемогшую ворону. А за спиной Брониславы торопливо прошёл на кухню Козин.

Тогда Бронислава отодвинула с двери стёганое тяжёлое одеяло, прибитое поверху гвоздями. И помешкала ещё перед дверью.

– Знаешь что? – возбуждённо говорил Козин Кеше. – В доме своём не хочу видеть ни тебя, ни этой твоей толстощёкой заразы. Мне тут и своей, бледной, достаточно: вечно не знаешь, чего у неё на уме!.. А я-то про жену свою думаю: что такое?! Как глянет исподлобья, так у меня ноги отнимаются! Никакой свободы... На бабу чужую обернёшься – тут же за углом собака тебе палец прокусит. А по мелочи обманешь – либо молоток на ногу уронишь, будто кто под руку тебя толкнул, либо сквозняком спину тебе до радикулита прохватит. Мошоночной грыжи ещё мне только не хватало. От твоей буянской супруги. Извини, старик: вставай. Мне и так никакой жизни тут нет, в этом Буяне. Весь неодушевлённый Буян, и тот против меня...

– Погоди, что за суеверия? Мы же – образованные люди, говорили про Бодлера! При чём тут твоя мошоночная грыжа?! Нет, давай разберёмся. Нашу образованность, её же за версту видно!..

Преппирательство обещало быть долгим. Но остального Бронислава уже не слышала. Ей удалось, не упав, съехать на валенках с высокого обледенелого крыльца. Столовую ложку она вынула из сугроба и положила на перила. А грецкий орех Бронислава деловито расколола тут же, на выходе со двора – он слабо хрустнул, вставленный в створку калитки.

Про скорлупу Бронислава сказала, рассеянно пережёвывая свежее, терпкое ядро:

– Гляди-ка, как лодчонки две...

Она глубоко вдохнула морозный до синевы воздух – так, что закружилась голова, и спрятала створки в карман: на память.

– Эх, какой мороз крепкий ударил! – удивилась она. – К ночи градусов на пятьдесят пять жажнет, не меньше... Хорошо! Приходи, солдат, ишшо.

Приспустив платок на лоб, она двинулась было к дому поскорее. Однако по дороге раздумалась: вот пускай бы её нагнал сейчас кто-нибудь из буянских мужиков. Покрасивше который. А лучше бы всего – Макарушка Макаров. Тогда бы она остановилась с ним, засияла

бы вся нарочно, и разговаривала бы громко, и смеялась бы на всю улицу. Пускай бы тогда Кеша вился без толку, вокруг них двоих, а она бы его – не замечала.

И тут за её спиной послышались торопливые шаги, как по заказу. Она обернулась, улыбаясь заранее. Брониславу споро нагонял старик Струков – в залатанной фуфайке и в облезлой шапке.

– Куда-то ты бежишь, дядь Паш, как угорелый? – разочарованно спросила его Бронислава. – И чего тебе на печке не сидится? В тепле? Мотаешься по холоду, как молоденький.

– Колюня наш женится! – выпалил старик, приостанавливаясь. – Домой вот из невестиного дома бегу.

– А я гляжу: батюшки-светы! Сам на пенсии, а торопится, как на птичник, думаю... – Бронислава с надеждой оглянулась, не идёт ли кто ещё: уж если с кем смеяться, то лучше бы не с дядей Пашей, конечно.

Однако старик уже забыл про спешку и поправлял дужки толстых очков, обмотанных медной проволокой:

– Чего говоришь?

– Ты, дядь Паш, получше бы оделся, для невестиного дома. У тебя же куртка цигейковая есть! – заметила Бронислава неодобрительно. – Ну, иди, иди. А то замёрзнешь. В фуфайчонке-то в нарошинской.

– Чего?! Не слышу ведь я теперь, Бронь. Как пенёк, глухой я стал! – громко похвастался старик, – Чью берём, что ль?

– Ну и чью? – оглядывалась Бронислава.

– Долго Колюня-то выбирал, беда! Скольких перебрал! И девок, и баб! – рассудительно кричал старик Струков на всю улицу, размахивая руками. – Не счесть!

– Ладно, дядь Паш. Чего ж теперь, – сократила разговор Бронислава, поглядывая через плечо на калитку Козиных. – Ты не забыл, куда бежал?

Но старик не унимался и кричал всё громче и охотней:

– ...Уж как выбирал! И та не по нём, и та не по нём! То велика, то мала, то лохмата, то гола! Горе, Бронь... А уж теперь конец: напоролся, видать, и он – на трескучу траву, наш Колюнюшка, раскрасавец-то наш. Пряма гора с плеч – дождался: напоролся!.. Свадьба на той неделе, Бронь! А ты приходи! Без тебя что за гулянка? Приходи, дочка.

– Ладно... Я, может, с мужем приду, – рассеянно пообещала Бронислава.

– А ничего, что одна! – широко улыбнулся Струков беззубым ртом. – Вот одна и придёшь!

Он посмотрел ещё со старческой лаской, как Бронислава кивает ему, потом пробежал трусцой несколько шагов. Однако обернулся и добавил, радостно показывая на уши обеими рукавицами:

– Совсем не слышу!.. Во сне только – слух весь открывается. Петушки вроде молоденькие всю ночь поют. Слушаю... А так – глухарь я теперь, Бронь! Ну, чего Витюшка-то ваш пишет?

Бронислава рассмеялась и махнула рукой:

– ...Ступай, дядя Паш!

– А и ладно, – охотно согласился старик.

Он двинулся дальше мелкой трусцой, оставляя на припорошенной дороге следы подшитых валенок. И Бронислава, постояв, пошла за ним потихоньку, глядя на отпечатки стариковских подошв.

Был бы хоть старик не глухой... Она бы сейчас стояла и рассказывала бы ему про своего Витька долго-долго! А Кеша, поравнявшись с ними, ждал бы на морозе, пока не посинел, представляла она. И пускай бы слушал волей-неволей. Про то, как остригли наголо Витька, и как сидел он, значит, первый раз в солдатской столовке, вот бы про что она рассказала!

А старшак там один зашёл, одетый – весь не по уставу. И с воротом расстёгнутым, и с бляхой, которая висит не знай прям на каком переднем месте. И вот этот старшак за спинами молоденьких солдатиков, значит, проходит, и всем кручёные щелбаны в стриженные затылки кряду лепит: весело ему! Все новички, значит, со слезами, а терпят: куда деваться? А как только этот самый старшак Витька щёлкнул, тут и кашу, огненную прям, в алюминиевых мисках подали. Ладно...

Бронислава и не заметила, как мысленно стала рассказывать всё вовсе не старику Струкову, а Макарушке. И Макарушка будто уже смеялся перед ней одобрительно, сдвинув волчью шапку на затылок. Сел, значит, старшак за другой стол, раскорячился – довольный! А Витёк к нему со своей кашей подошёл да всю полную миску на голову старшаку и надел!.. Уж как тот прыгал по столовке, в каше в горячей весь, весь слепой! Уж как плевался да грозился! И «ты у меня живой не будешь!», и «убью суку, порешу!» Вот так он прыгал, скакал, пока столы сослепу не разнёс. А над старшаком-то все – смеются... И уж больше Витька капли никто не трогал никогда, в части ихой.

«За меня, мама, не беспокойся, – в последнем письме пишет. – Ты всё спрашиваешь, как старшак. Мы с ним давно друзья стали. А за слабых я заступаюсь. Ещё разок с ним только, со старшаком, сцепились. Цапнулись из-за татарина одного, кликуха – Гололобий. Старшак у него пакет с курагой отобрал, а потом объединенными косточками в татарина стрелял. А так – ничего! Моя горка вышла»... Вот бы Бронислава про это Макарушке рассказала. Он бы посмеялся. А Кеша бы послушал, на морозе-то. Небось, живо на ус-то бы намотал! Поприжался бы сразу...

Он что же думает? Бронислава, она ведь не безродная какая! И Антон, это он без Витька Кешу терпит. А с Витьком-то они вдвоём – ого! Живо под микитки-то натычут. С ними ведь с двоими, шутки-то плохие... Вот вернётся Витёк, и всё: живи по-путёвому, друг ты разлюбезный. А не нравится – вот Бог, а вот – порог. Ступай к своим керосинкам.

Однако мысли её не понравились вскоре ей же самой.

– Да что же я сама-то? – вслух сказала она себе, опомнившись. – Немощная что ль какая? Да у меня Кочкин пятьдесят шестой размер носил, и то пятый угол вон как два раза искал!.. А тут – не справлюся что ли?

Оглянувшись на козинский дом ещё раз, она прищурилась и поразмышляла, приплясывая от мороза, подождать ей Кешу или не надо. И тут же поняла: нет, хорошо, что про Витька она никому при Кеше не рассказывала. А то напугала бы раньше время!.. Так оно даже лучше, конечно.

– Привыкай, привыкай пока, – бормотала она. – Ничего! Поглядим ещё, какая тебе дорожке будет: эта, городская кошёлка, всякой всячиной набитая, или кто.

Там, где улица разделялась на две – к вокзалу и к мосту, – Бронислава, прихватив свежего снега с обочины, утёрлась им крепко-накрепко. И её даже передёрнуло.

– Это что у меня сколько сору в голове? После разговоров ихних, в козинском-то дому?.. Прямо, в груди тошнѣхонько.

А когда проморгалась от талой воды, то увидала, что воздух кругом стал ещё синей от мороза. Ранетки и облепиховые кусты за заборами стояли тихие и напыженные, будто в крахмальных жѣстких кружевах. И всё бело было кругом, всё – в колючем инее: и ворота, и столбы, и провода.

– Гляди-ка, зима-то – разневестилась прямо! – ахнула Бронислава. – Ой, чисто, бело на свете! Батюшки-светы, праздник кругом.

Только новенький городской киоск, появившийся на развилке два дня назад, чернел перед нею – он был закопчѣн до неузнаваемости и уже не работал. Огромный амбарный замок висел на щите, опущенном на окно. Какая-то торопливая крупная надпись белела на боковой его стенке. И Бронислава не поленилась: зашла с той стороны – посмотреть. Там белая краска переходила в серую – «Не жги киоск! Зайди к хозяину!!!!» И ещё, помельче, было приписано: «В гостиницу».

– Щас, – рассмеялась она. – Так он и разбежался. Тот, который подождѣт. Нашли дурака. Ну, умора.

Облокотившись на штакетник, из соседнего двора, через улицу, на надпись смотрела Любана, в белом полушубке и в цветастом платке.

– Собралась что ль куда? – спросила её Бронислава.

– Да так. Гостей провожала.

– Не Ивана Коробейникова, поди?

– Не Ивана, – покачала головой Любана. – Ивану что? Ему бы только песни со мной на два голоса петь да с мальчишками чужими возиться. У самих-то – девчоночка одна... Ну, посидел разок да другой. По два дня кряду. Передохнул от Зинки в выходные, а вертаться надо. Девчоночка там больно махонькая, Бронь. Беленькая... Хватит уж людей-то смешить..

– Батюшки-светы! А я думала, он к тебе от Зинаиды по-правдышному ходит. Ты прости, я про тебя так ведь думала.

– Ничего, не ты одна, Бронь. Прощаю.

– Ой! – вскрикнула Бронислава, догадавшись, и прикрыла рот варежкой. – Не от тебя ли дядя Паша-то сейчас бѣг?

– Ага. Все Струковы были. Впятером.

– Так ты – за Колюню, значит...

Любаня покивала.

– А про моего-то – слыхала? – осведомилась Бронислава.

– Ну...

Чтоб не сглазить чужое, неокрепшее, счастье, Любаня ни слова не сказала больше Брониславе про её замужество. А Бронислава, из признательности, не стала расспрашивать про Любанину свадьбу, тоже – чтоб не сглазить, а заговорила про постороннее.

– Эти-то – совсем безголовые, – махнула Бронислава на закопчённый киоск. – Нашли, куда соваться!.. А кто же это их к нам впустил?

– Да говорят, власти в крае так распорядились. Велели, чтоб они торговали здесь, мужик один да баба, в гостинице которые живут...

– Пизтнесмен с пизтнесменкой, значит, – понимающе кивнула Бронислава. – Пристроились.

Любаня хохотнула. И поправила:

– Они на букву «б» по-грамотному называются.

Бронислава нахмурилась было, соображая, но сразу согласилась:

– Ну, на «б» для них тоже ругачка, конечно, не плохая. Подходящая. А Ильшин-то чего?

– А Ильшин сказал: пускай начнут, всё равно не удержатся. А и удержатся, говорит, мы их не под один закон закроем, так под другой со свистом подведём. Зато они потом всем чужим в городе расскажут – чтоб другие не совались. Как понёс их по кочкам!..

– Чем торговали-то хоть?

– А ничем! – коротко зевнула Любаня. – Ой, не выспалась... Вчера прилавок раскрыли с привозным-то добром. Народ поглядел да посмеялся. А брать никто не стал... Поохальничали только. Поговорили чуток: вот, отравы нам заграничной привезли, чтоб мы потихоньку бы с неё перемёрли да землю бы от себя для заграницы освободили.

– А смеялись чего?

– Да про бананы сначала смеялись. Ждали, кто первый обезьянью еду глотать начнёт. Как макака. Дяденька Летунов баб всё пугал. Наказывал им, чтоб со шкуркой только бананы-то ели. А которая без шкурки съест, та от облупленного обрюхатится сразу, от банана. Охальничал! Как понёс по кочкам – стыдоба!..

– Ну, дяденька Летунов, он если день не схулиганит, то ночью не уснёт! – поджала губы Бронислава. – Умора прям с ним. Как споёт! «Хоть бы хрен, рубаха нова, и порвата – хоть

бы хрен. Хоть бы хрен – девчонки любят. И не любят – хоть бы хрен!»... Срам головушке, вобщем.

– А потом про остальное тут смеялись. Миню дурачка уговаривали, чтоб он резинку себе в рот совал. Пристали: «Как городской дурачок тогда будешь! С резиной в роте ходить». Привязались: «Жуй её, как городской! Она сахаром нарочно обмазана». Ему продавец аж бесплатно их, две, давал, в подарок. А Миня не взял, заплакал... Обиделся Миня наш.

– Нет, ты погляди, какие люди! Миню до слёз довели, – возмутилась Бронислава. – Вот им грех за эту резинку будет. Он что, бык что ль, серку жевать? Разве же можно из Божьего человека скотину делать? Бесстыдники.

– А я, правда, капли не выпалася! – позёвывала Любаня. – У меня ещё и со стола не убрано. Пойду домой. Уж свежим воздухом надышалася я. Настоялася досыта – хватит.

– А кто подождёт-то? – снова оглянулась Бронислава на киоск.

– Да дети, наверно, – скучно ответила Любаня, потягиваясь. – Кто же ещё? Играют...

– Платок у тебя, никак, новый Любань. Цвет, гляди-ка, лазоревый какой!

– Хорошие, Бронь, платки поступили, томские. Ты бы зашла на склад-то! А в магазине, там с жёлтыми цветами один лежит, красавец прям. Купавками, купавками весь. По синему полю они рассыпанные. Вот ты бы на себя прикинула.

– Ладно! Прикину. Ступай, спи.

Брониславе стало намного веселее – шагать, и поглядывать по сторонам, и думать про платок: как она в нём будет везде ходить, нарядная, и всем улыбаться по дороге. И на собрании по обороне тоже в нём появится. Вот, Макарушка увидит платок-то, небось! Всё в глазах-то порадостней ему от цветков жёлтеньких станет. От купавок. А то у него одни банды в голове. А дома... Ох. И дочка бледная, как макарона. И жена лекарством пахнет...

Кеша нагнал Брониславу уже на мосту.

– Безобразие! Что ты наговорила Козину? – забегаая вперёд, спрашивал он и злился. – Что?

Бронислава удивилась тому, что хотела забыть про него понарошке, на время только, а получилось – взаправду. Но он выскочил здесь, прежний, и она растерялась.

– Нет, что ты наговорила, я спрашиваю? – подпрыгивал Кеша. – Ты – Козину! Образованному человеку!..

– Подумаешь! – пожала плечами Бронислава. – Стишки он мне начал читать. А мы свои стишки знаем. Только молчим. Знаем, не проболтаемся... Пусть ещё радуется, что я ему про Индрик-зверя рассказывать не начала! У него и мозги бы тогда перегорели, как в лампочке волоски. У образованного у этого.

– Что ты себе позволяешь?! Козин – человек искусства, это же за версту видно. Он институт культуры закончил! Какие у него могут быть волоски в голове?! И что это ещё за Индрик-зверь? Образованному человеку ты готова городить всякую деревенскую чушь! Кто тебя просил заходить к Козиным?! – Кеша задохнулся от возмущения. – Индрик-зверь какой-то... Безобразие.

Бронислава остановилась и теперь разглядывала его миролюбиво – как незнакомого, занятого человека.

– Индрик – кто?! А это сроду все знают. Да, звериный отец он! То видимый, то невидимый. И заяц, и не заяц. И кот, не кот. А сказка такая, да и всё... Ну, любая сказка – она ведь Творцу Самому подчиняется, и Ему служит. Всякая по-своему. Только мы не больно-то разумеем, как... А что же ты дёрганный такой сделался? Застеснялся ты меня, что ль, перед ним? Перед грязноротым-то перед этим? Перед Козиним своим?

И тут же Бронислава поскуцнела, отвернулась, не дожидаясь ответа:

– Ну, раз ты ему, Козину, так уж поддался и так уж ты перед ним стелешься весь, Кеш, то по его и сделаешь: в город свой съездишь. Оно и правильно. А там, после всего, поглядим: его ты умом будешь жить – или свой у тебя образуется. Только тогда гляди: по всей строгости жить с тобой начнём! А щас... Съездий. Что ж теперь... Вон, в магазине-то, говорят: платки выкинули! Нарядные! Глянуть мне надо будет в понедельник. Обязательно.

– Но моё место там, где цивилизация! – надувшись, заявил Кеша. – Где новейшие достижения! И, если мне не изменяет память... А она мне – изменяет... И – часто...

Он запутался в словах, смолк, а потом спросил подозрительно:

– Ты хоть понимаешь, кто тебе достался в мужья?!

– Нет, – от неожиданности сказала Бронислава.

– Я так и думал! Может, ты воображаешь, что я – только человек-губка? Который способен жить лишь тем, что он поглощает из услышанного, без всякого разбора?! Может, ты считаешь меня только пресловутой, ходячей пустотой?!

– Пустота – это бес! – нравоучительно сказала Бронислава. – Бес, который ходит по земле в виде человека. Тётка Матрёна недавно говорила: в конце времён, говорит, будут бесы на земле в виде людей ходить. Пустые люди... Чего ж, тебя бесом, что ль, родили?

– А ты догадываешься, от кого я произошёл?.. – Кеша снова сделался надменным. – Я – человек будущего, между прочим!.. Скоро все такие на земле будут. И не дорожить мною я никому не позволю. Так легко расставаться с начитанным человеком... Нет! Ты должна что-то изменить в себе! Чтобы соответствовать. Соответствовать мне!

Кеша собрался тут же поведать ей про себя много важного и нового. Но невесть откуда взявшаяся крошечная грязно-белая собачонка вилась уже у него под ногами и злобно рычала, обнажая игольчатые зубы. Он отпихивал её то одной ногой, то другой, со страхом поглядывая на край моста.

– Да отгони ты её! – вскричал Кеша, пытаясь пнуть собачонку как следует.

– Ну, вот: ещё сук я от тебя не отгоняла, – спокойно отвернулась от него Бронислава, обмахиваясь варежкой, словно от жары. – Прямо умора.

Она пошла себе дальше, как ни в чём не бывало, отряхивая пальто: не от пылинок, а просто так – для красоты. И вздыхала по пути от хорошего настроения:

– Ох! Прохлаждаюсь я нынче что-то, в валенках да без чулок. Бездельничаю, как в девках глупых. Умора!..

Уже дома, за ужином, Кеша снова принялся рассказывать ей про своего деда Егоршу, про своего лучшего друга Хрумкина и про себя, как про человека будущего, широко размахивая ложкой. Но Бронислава ела быстро и охотно, совсем не глядя на него. А потом, размявшись от сытости, сказала тягуче:

– Уф. Ну и жарница у нас! Топить что ль поменьше надо?.. Что-то разморило прям.

Она потёрла глаза – и ушла спать, хотя до ночи было ещё далеко.

Бронислава уснула мгновенно – так крепко, как не спала ни разу за последний год. А Кеша ещё бродил по дому. И сидел в тёмной комнате, под невыцветшим квадратом на стене. Мороз усиливался, должно быть. В стенах потрескивало. И непонятно где раздавался то и дело слабый шорох – словно осыпалась откуда-то свёрху невидимая пыль. Потом всё стихало.

«Я – и здесь? Парадокс!» – не понимал Кеша своего присутствия и своего назначения в странном этом месте, живущем своей тайной, невидимой жизнью. И сам он всё уменьшался в ней, а она – разрасталась. Чей-то сильный взгляд давил на него ощутимо. Он быстро обернулся на белое пятно в переднем углу. Кружевная занавеска скрывала тёмный лик иконы, однако Кеша вскочил и кинулся опростетью из комнаты.

В пустой и тёмной кухне ему стало спокойней. Он пил из пузатого чайника тёплую воду, но часто прерывал это занятие. И прислушивался, приглядывался. Тень недвижных ветвей лежала на полу, словно разросшаяся огромная паутина. Он сел в середину тёмного узора, на половик, и сделался таким крошечным и незаметным, что оказался в полной безопасности. Но рядом начинали прогибаться, поскрипывать половицы под чьими-то размеренными тяжёлыми шагами, и тогда сильнее кружилась голова. А потом шаги замирали.

– Цыц! – шёпотом покрикивал на кого-то Кеша, сидящий на полу. – Цыц, сказал! Я атеист, между прочим. Потомственный. Руки прочь от атеиста.

И снова шуршало, осыпалось, перемещалось в тёмном пространстве нечто невидимое, отчего остатки хмеля рассеивались быстро.

Кеша вскочил, включил свет, пристально оглядел углы. И обрадовался:

– Ну вот! Я снова вышел победителем из жестокой внутренней борьбы с мракобесием... Это для меня так: семечки.

Он запел «Глобус крутится, вертится». И даже заглянул в комнату к молодым, покашляв сначала и постучавшись.

– Слава молодой семье! Чем могу быть полезен? В свободное от умственной работы время? – спросил он через порог.

В оранжевом свете настольной лампы улыбался рыжий амбал с закрученными вверх усами. Он искоса поглядывал на Кешу со стены.

Антон перестал вязать бредень и тоже смотрел на Кешу – с остроносым металлическим челноком в руке, сделанным из твёрдой проволоки. А Нина наматывала капроновую нить на другой, деревянный, ловко поворачивая его так и эдак, и не подняла головы.

– Что? К весне готовимся? – всё ещё рассчитывал Кеша услышать в доме живой человеческий голос.

– Протрезвей сначала, – неуважительно сказал Антон, возвращаясь к своему занятию. Он попробовал, прочно ли сетчатый край закреплён за блестящую каретку кровати, провёл челнок в ячейку, захлестнул новый узел и потянул на себя для крепкости.

– Я не против, если надо помочь... Не сейчас, а вообще! – пригладил Кеша волосы на лысеющей своей макушке. – Сейчас я пытаюсь определить фронт работ – заранее. На далёкое будущее.

– Эх, Япония, страна косоглазых. Ну, золу надо на чердак поднимать! – неохотно отозвался всё же Антон. – Подсыпать, где опилки осели. Для тепла.

– Что ж. Не устроюсь в городе – вернусь и перетаскаю. Без меня не начинайте! – распорядился Кеша. – ...Кстати, как вы относитесь к переезду? В город? Это же всё можно продать.

Нина стала наматывать нить гораздо быстрее, и огромная катушка на полу застучала, задёргалась и нервно заплясала.

– Продать – всё можно, – вывязал новую ячейку и затянул новый узел Антон. – Да продавать-то ведь любит тот, кто сам не наживал... А ты про это лучше у Витька спроси. Витёк из армии приедет, он тебе всё про продажу объяснит. Популярно.

И остриё металлического челнока в его руках неприятно блеснуло в Кешину сторону.

Ещё Кеша услышал, выходя из комнаты, как Нина внятно произнесла ему в спину слово непонятное и, может быть, очень обидное:

– Ну, мотовило!

А Антон вздохнул сокрушённо:

– Эх, Япония...

Однако Кешин комнатный тёмный страх уже развеялся от разговора. Сбегав по нужде, он постоял во дворе. Звёзд на небе почти не было, а те, которые всё же светили из небесной глубины, сияли игольчато и неприятно. Надо объяснить Брониславе, и построже, что её жизнь отныне должна быть целиком подчинена одному – раскрытию его таланта, решил Кеша. Пусть выбирает – или-или. В ту минуту во дворе у Корбейниковых коротко взвыла, словно зевнула, цепная собака.

– Цыц! – прикрикнул на неё из-за забора Кеша. – Цыц!

И тут зловещая волна протяжного собачьего воя взлетела над тихим селом и зависла в морозной вышине на долгой нескончаемой ноте.

– Бобик! Ты что это? – озабоченно спросил за забором Иван.

А Зинаидин голос ответил откуда-то из кромешной темноты:

– Да он не во двор воет. Со двора.

Потом соседское крыльцо осветилось электричеством. Звякнуло ведро. И Кеша удивился тому, что не догадался раньше сойтись с соседями поближе. Он быстро запахнул «болоньку» на животе и трусцой выбежал на улицу прямо в калошах.

– Аришка-а-а, – протяжно и тоскливо звала Зинаида с крыльца. – Да что за наказание? Домой не загонишь. Мороз-то какой – прям лицо сводит.

И голос Ивана отвечал ей со двора добродушно:

– Так дети же!.. Играют, поди.

На улице Кеша замешкался, пытаясь разглядеть в темноте тропку, протоптанную к Коробейниковым. Как вдруг прямо перед ним прогрехотал оглушительный выстрел. И что-то ощутимо пролетело над ухом. Кеша резко вскинул голову. На лавочке, у калитки Коробейниковых, в полосе рассеянного света, падающего из сеней, смиренно сидела девочка в зелёном пальто, закутанная большим клетчатым платком, с самодельным пистолетом в руках, направленным на Кешу, и безмятежно качала ногами в коротких валенках. Из ствола, примотанного проволокой к деревянному струганному ложу, шёл дымок.

– Аришка! – закричала Зинаида с тёмного двора гораздо резче. – Опять?! Ты же к тётке Матрёне книжки старые читать ходишь! Икону над своей кроватью повесить заставила, а сама? Вот я тебе сейчас...

– Не бушуй, – снова раздался в темноте мирный голос Ивана. – Дети же.

– Какие это дети? Это – бандиты, а не дети! – не унималась Зинаида.

– ...Может, они веру нашу защищать готовятся, откуда мы знаем? – негромко рассудил Иван по ту сторону забора. – Ничего мы про них наперёд не знаем. Кому какие пути лягут... Так что, молчи крепче, Зинаида.

– Ну-ну, защищай их, гуляка! Гуляка, полуночник, – привычно ворчала на него Зинаида. – Аришка, марш домой, сказала!

Девочка нехотя слезла со скамейки, засунула пистолет за пазуху, под платок, и стала толкать калитку, налегая плечом. А Кеша тут же передумал идти к Коробейниковым – он резко повернул назад, оглядываясь на девочку с досадой.

– ...Зачем ты это делаешь?– спросил он её всё же издали.

Но девочкин клетчатый платок – клетки были коричневые и белые – мелькнул в проёме калитки и пропал. «Уходите отсюда» – словно донеслось до него с кладбища: «Они спят все!»

– Бр-р... Дикари, – передёрнулся Кеша. – Неуправляемая стихия подрастающих отсталых, тёмных, деревенских масс. Нет, с этим необходимо покончить. Надо будет подсказать директору школы. При случае, конечно.

Но девочкин голос прозвенел вскоре – чисто и безбоязненно, с соседского крыльца:

– Мам! Я горохом... А картель у папы не брала ни разу.

– Отдай, сказала... Это кто тебя научил? Лёха научил?

– Он всех научил.

– Все матери замучились пистолеты в огороды кидать!

– Он ещё нам сделает.

А Иван рассмеялся:

– Ничего, кидай, Зина! К осени из них пулемёты вырастут...

Кеша почесал шрам под шапкой. Идти домой ему не хотелось.

– Есть же, в конце концов, соседи справа! – догадался он. – Почему бы не познакомиться с ними? В самом деле.

Он бойко пробежал по узкой тропинке к другой избе, наступая всё время на собственную длинную тень.

– Давно пора, давно пора, – бормотал он. – Сейчас нарисуюсь – хрен сотрёшь...

Калитка оказалась незапертой. И собаки во дворе не оказалось. На чисто выметенном высоком крыльце лежал голик – обметать снег с обуви. Кеша перешагнул через него и толкнул дверь в сени. Ничего не разглядев в темноте, он неожиданно легко наткнулся на ещё одну дверь, обитую пухло и мягко.

– Слава соседям! – поприветствовал он с порога здорового мужика в клетчатой байковой рубахе. – Мороз там, я те дам! Х-х-холод – страшный.

Тот сидел возле печи, держа в одной руке полено, а в другой – короткий, но широкий нож.

– Кого надо? – спросил мужик.

– Я – ваш новый сосед, – представился Кеша. – По имени Викентий, между прочим. Как насчёт того, чтоб сообразить?

– А какой праздник нынче? – задумался мужик.

В этой своей задумчивости он спокойно поставил полено на металлический лист, прибитый к полу, и принялся щепать лучины для растопки, словно Кеша тут не было.

– Без праздника, но... Исключительно ради знакомства. Во взаимных познавательных целях.

– Кто по будням-то пьёт? – пытался уяснить мужик, трудясь над поленом и не поднимая головы.

– А есть ещё мужчины в вашем доме? – надеялся на лучшее Кеша, обводя взглядом стол, накрытый яркой клеёнкой, и самодельную полку с посудой.

Вдруг сбоку, из цветных штор, вышла огромная беременная женщина в высоко подвязанном переднике. Она поставила на стол широкий поднос с крошечными пельменями и упёрла руки в бока.

– Это каких ещё мужиков ты у нас ищешь? – спокойно спросила она. – У нас вон только дед один в горнице.

– Но почему бы нам, с вашим дедушкой... Исключительно ради знакомства... Почему бы не посидеть? За дружеской беседой? Не вспомнить доблестное прошлое?

– Гляди-ка, Город к дедушке к нашему заявился! – всплеснула руками женщина. – Друг нашёлся.

А потом накинулась на Кешу с яростью:

– Какой тебе дед? Лёг он спать давно! И зубы на полку сложил. Вон дедова мельница на ночь остановилась! Гляди.

Она выкинула руку вперёд. Кеша пугливо сморгнул, глянув в указанном направлении. Розовые дёсны с зубами, лежащие на белой тряпице, неприятно скалились на него с полки в зловещей, застывшей улыбке.

Он попятился к порогу, растерянно бормоча:

– И это всё, что осталось на кухне от вашего многоуважаемого дедушки?

– Ступай, ступай! Пока не повадился, – замахала на него беременная женщина руками, как на курицу. – Тут тебе не кабак! Ишь ты, знакомщик какой. С одной вон, с Бронькой, познакомился – и хватит с тебя.

– Бессердечные люди! – попытался пристыдить её Кеша. – Птицы без сердца! По законам гостеприимства, между прочим...

Но тут же осёкся. Потому что хмуро и коротко на него глянул мужик – с поленом и ножом.

Вылетев в сени, Кеша остановился внезапно – в полосе света распяленная шкура убитого зверя, вывернутая наизнанку, белела со стены прямо перед ним. «Волк» – понял Кеша, резко повернув вправо. С громким хлопком дверь прищемила полоску света и перекрыла её совсем. Кеша успел ещё услышать за собою, как женщина кричала там, в избе.

– У-у! Пустоброд беспутный... Ходит, шляется, Город!.. Ишь: бессердечные мы! Нашёл сердечную, одну на весь Буян, и радуйся!.. Нет, баба как баба была, Бронька-то, за Кочкиным всю жизнь. А без него, погляди-ка чего – в один год сшалавилась! Связалась незнай с кем. Ну, я его научу, как по чужим избам без дела мотаться, бутылки к нам таскать!..

– Ах, если бы, если бы... – выбравшись на чужое крыльцо, с тоской подумал Кеша о бутылке, которой не было, и почесал шрам под шапкой.

Обратной дороги он не заметил вовсе. Уже в сенях, запирая дверь на засов, Кеша вспомнил, что чему-то собирался научить Брониславу. Чтобы её жизнь была подчинена...

– Именно, раскрытию моего таланта! – оживился он, устремляясь из холода в тепло. – И тогда, продав свою долю из всего этого хозяйства, она сможет быть полезной ему в городе. Если постарается, разумеется.

Он быстро улёгся рядом с Брониславой и возбуждённо говорил ей в темноте про их городское будущее, не замолкая ни на минуту. Наконец, разглядев при свете появившейся в окне полной луны, что Бронислава его не слышит, он несколько раз окликал её. Потом тряс Брониславу за плечо. И даже в досаде растопыривал ей веки пальцами. Но она только слабо смеялась во сне – и не просыпалась. И женский этот, сонный смех в лунном свете, и само смеющееся в жёлтом полумраке спящее лицо – всё, всё было странным вокруг. Станным, жутким, непонятным.

– Тьфу ты! Вот наказание... Уж эти мне женщины без голоса, – громко проворчал Кеша.

И, обидевшись, укрылся с головой.

А Брониславе снился совсем несуразный сон. Будто распахнула она дверь на стук, а перед нею стоит мать, Парасковья Ивановна, в длинном брезентовом зелёном плаще, ещё не умершая, а совсем молодая и недовольная. И держит на ремённом поводке смирную и скромную свинью, с чёрными пятнами по бокам.

– Зачем же ты, маманя, со свиньёй-то к нам приехала? – смеялась Бронислава. – За стол, что ли, вас вместе сажать? Ну, проходите обе, раз так. Милости просим! Располагайтесь.

Свинья, опустив толстую голову, кротко моргала белыми, мучнистыми ресницами, а Парасковья Ивановна смотрела на неё сочувственно и с любовью, и всё не снимала с себя брезентового своего плаща, ещё не пожелтевшего несколько от времени и от дождей.

– Устала она. От самого автовокзала пешком шла, а ножки-то – коротенькие... – объясняла мать про свинью. – Думала вам мяса привезти, в гостинец. Да уж больно издалёка я ехала, Бронь! Мясом-то как тяжело её нести! А я думаю, чем поклажу на горбу своём тащить, пускай она сама, поклажа, рядом со мной идёт. Своими ногами. А они, видишь, какие...

Свинья, поводя влажным чутким пятакон и похрюкивая, обошла углы, прошагала в спальню и легла там на пупырчатый половик, завалившись на бок.

– Ну вот, и приехала свинья! – стояла над нею Парасковья Ивановна и умилялась. – Находилась... Сама тяжёлая, а ножки-то... Замучилась, всю дорогу пешком, со мной рядом, бежать. Вон, как месту рада, путешественница.

Свинья похрюкивала в ответ, подёргивая хвостом.

– Мамань! А в дому-то она зачем мне? Скотина нечистая? Ты бы ещё с собакой на поводку приехала! Грех-то какой! Это ведь всё равно, что собаку-зверя в избу запустить, под иконы: нехорошо! – спохватилась Бронислава. – Она что, живёт здесь теперь? Или гостит? Свинья? Не пойму я никак.

– Так, я же её зарезать привезла! – напомнила Парасковья Ивановна. – ...Ну, пускай отдохнёт. Выспится. Ты уж ей не мешай, Бронь. Она ведь долго по вокзалам да по дорогам моталась.

– Да у нас её, без Кочкина, и резать некому. Это у Струковых нож есть длинный, тонкий. Он до свиного сердца сразу достаёт, как шило. А Антон-то своим ножом и не достанет!

Всю свинью измучит он им. Антоновым ножом только по горлу и пилить. Кровью двор зальёт... Ну, ты и удумала! И чего теперь делать нам с ней? С попутчицей-то с твоей?

Свинья меж тем сомкнула белые ресницы в сытой дрёме.

– Пускай, пускай спит. Вон как сморило её с дороги, – не слышала Брониславы Парасковья Ивановна. – Устала как... Ножки-то – коротенькие!

Проснувшись от домашнего тепла и от раннего утра, едва высветившего замёрзшее окно спальни, Кеша не сразу вспомнил, где он теперь живёт. Какое-то время он разглядывал кружевную полосу на наволочке, у щеки, как незнакомую.

– М-да. И мелькают города и страны, – в недоумении помотал он головой, тяжёлой, будто школьный глобус. – Причём, довольно быстро.

Цепь событий Кеша восстанавливал постепенно, начиная с Пегаски:

– Так: пиво, «Столичная». Зойкино марочное... Бутылка красненького на автовокзале, – загибал он пальцы. – И, если мне не изменяет память... А она мне – изменяет. И часто...

Но сознание вдруг прояснилось, когда он внезапно увидел Витька с автоматом, наведённым на кровать поверх настенного календаря. Тогда всё сразу оказалось на своих местах: и колючие, словно щупальца зелёного осьминога, стебли столетника, раскинувшегося в раме окна, и стол, покрытый скатертью, похожей на попону, и половик, сотканный из разноцветных мягких тряпиц.

– Проходите, проходите! Старички румянькие. Вон, как мороз вам щёки ищипал. Батюшки-светы! Прямо докрасна... – радостно выпевала Бронислава где-то на кухне. – Что, холодно, тётка Матрён? Садитесь с дедушкой, погрейте кишочки. А у нас ватрушка горячая, с ванилью, да чайник поспел как раз. Заваренный только. Щас налью погуще... Намёрзлись. Ноги-то, небось, околели?

– Нетрог мёрзнут. Наплевать на них! – бодрился старик. – Чурки и чурки! Старые-то ноги. Они и на печке не согреваются, дочка. Как из автомата мне по ним полоснули! Мы в голом небушке висим, а немец из земли строчит! Снизу поливает!..

– Ну. Завёл свою песню на два часа, – перебила его та самая дородная старуха, которую Кеша видел в магазине. – Хватит, дед! В собачьих чулках, в собачьем поясе, пушистый весь, как утёнок, живёшь. И всё ты мёрзнешь, незнай кого.

– А я...

– Молчи!!!

Потом заскрипели стулья, застучала посуда.

– Вот, службу вчера отстояли, – донёсся степенный и строгий голос тётки Матрёны. – За Парасковью Ивановну помолилася, царство её небесное, мамане твоей. Годины ей нынче. Поминать-то собираешься иль уж забыла? С новой-то с жизнью со своей?

Последовало долгое и неловкое молчанье.

– ...Милостинкой раздам, – виновато проговорила Бронислава. – Конфетков детям рассую. Да старушонкам матерьялу оторву. По кусочку. Ситчик у меня синенький есть, как раз – старушечий. Рябенький. Метров двадцать я брала. И бязь в сундуке давно без дела лежит.

– ...А я думаю: зайду пораньше, напомню ей. Про Парасковью-то Ивановну нашу. А то люди сильно говорят: по-модному ты теперь живёшь. По-новому закрутилася. И брови, говорят, сажей стала мазать какой-то прям до ушей. Я уж и раздумалася: да чтой-то она – как бес, что ль, теперь ходит? С бровями-то в саже? Крестница-то моя?

– Да нет, по-старому всё, тётка Матрён! – оправдывалась Бронислава. – Я и молебен по мамане закажу. Собираюся.

– Да я уж заказала! И за тебя, Агафию, помолилася. Перед «Взысканием погибших». Ты сама по Святцам-то ведь Агафия выходишь. Не забыла?.. А это отец твой с ума сошёл. Сосипатр Петрович, царство ему небесное. Его, как тракториста, на войне-то в танк посадили. И этот танк у них в бою сгорел. Они на Урале новый получали, с завода. Он всё и толковал после войны: «Наша мощь – с Урала». Ну и про тебя сказал: «Какая она Агашка? Брониславой запишите! Я, говорит, без танка, может, убитый был бы. А так – как в консервной банке до Берлина самого догромыхал. Контуженный только стал не полностью. Вот она и родилася!» Ну, мы с Парасковьей Ивановной тебя всё равно Агафией окрестили, по-старому. А ему, как контуженому да не полностью, перечить не стали. Это по-советскому ты у нас только – Бронислава. А по-старорежимному ты...

– Что ж теперь! – легко соглашалась Бронислава. – А мне хоть как пойдёт. Я и не отказываюсь. Ни от того имя, ни от другого.

– Именно что! – подтверждала тётка Матрёна. – Раз мужик сказал, бабье дело – выполнять: пускай Бронислава младенец будет. А поступать-то всё равно – по-разумному надо: Агафия.

– Как в армии, так в дому должно быть! – оживился старик. – А Сосипатр? Он в тэ-тридцать-четвёрке, Сосипатр, заживо за Родину горел! Ну, нас, буянских, не больно сожгёшь. От нас святая сила огонь отводит! Завсегда! Из автомата-то по нас, по небу, строчат, а оно – по мякоти! По мякоти всё. Кость-то мне и не задело.

– погоди, дед! Слыхали мы про это, тыщу раз, – отмахнулась тётка Матрёна. – И вот я за тебя, Бронь, за здравие-то подаю: за здравие, за вразумленье. А батюшка уж знает: «А, за Агафию? За Добрую, значит. А где она сама, Добрая-то наша, ходит, по каким таким делам важным шлэндает?» Спрашивал про тебя.

Тётка Матрёна, видимо, принялась пить чай, однако тут же скучно заметила:

– Ну, оно, доброй-то быть, тоже – не всегда хорошо. А девке – никак нельзя!.. Распутницами – больно добрых-то делают.

– Ты про что это, тётка Матрён? – насторожилась Бронислава.

– А вот про что. Батюшка-то чего нам наказывал? «Люби ближнего, как себя», говорит. Не больше! Слышишь, нет? Больше, чем себя, другого любить не положено. Грех, значит... А за врагов молиться только велел, и то – за своих. А если он враг не твой, а враг детей твоих да людей...

– Бей сразу наповал! – охотно подхватил старик, зябко потягивая носом. – Мы за своих людей бывало – и под пули, и под штыки! И хорошо, кость на одной ноге только задело, а... Мы

в небе, немец – в земле! И все бошки у него там в железе, а мы – кого? Открытые, в небушке висим... А чья победа вышла? Наша!

Чихнул он сильно и утвердительно, но глухо, должно быть – в большой платок. И забыл от этого, о чём говорил только что.

– ... Дочк! Твой-то где, говоришь, служил? Хозяин-то новый? – выправил старик своё положение.

– Да спит он. Что, тётка Матрён, в стакан глядишь? Не пьёшь? – встревожилась вдруг Бронислава. – Густой, что ль, больно?

– Да-а-а. С такого чая – запоёшь...– неодобрительно протянула старуха. – Дётю прям налила. А что же он спит, как парень молодой, неженатый? Или вчера уж все дела-то по дому переделал?

– А я разбавлю. Пожиже тебе сделаю, тётка Матрён. Чтоб ты с густого не спьянела, – не услышала старухиново вопроса Бронислава.

Никто не торопил Кешу, не собирал его в город. И вчерашний тяжёлый разговор про отъезд уже казался ему пустым.

– Парадокс! – облегчённо сказал он, улёгшись на другой бок. – Я – и во тьме веков! Вдали от настоящей жизни, проклятье.

Он подумал ещё, прислушиваясь к разговору, и решил:

– Чуждый мне мир! Совершенно пресловутый к тому же... В котором я обречён на полное непонимание. Впрочем, всякий большой художник обречён на одиночество. По ходу жизни. Я понимал это с четвёртого класса.

И действительно, в четвёртом классе он спрятался под парту, чтобы не отвечать урока. Ему хорошо было сидеть там одному, отдельно от старательного класса, пока учительница, уставшая выкрикивать его фамилию, не принесла от уборщицы ведро воды и не плеснула под парту.

Мокрый, он выскочил на середину класса.

– Вы меня облили, а я – не родной! – прокричал неожиданно для себя.

Учительница выронила ведро с грохотом.

– Кому ты не родной, Шальин? – осторожно спросила она. – Матери? Или отцу?

Он промолчал так многозначительно, что всё получилось гораздо правдивей правды, и больше уже никогда не получал двоек. Теперь маленького Шальина жалели все и даже баловали, когда он делал особо хмурое лицо. Отличники давали ему списывать. Хулиганы стали защищать. И вскоре его из жалости поцеловала самая красивая девочка в классе, а за нею следом перецеловали все остальные. На переменах они запирали дверь класса на ножку стула, чтобы гладить Кешу без помех по стриженной макушке, прижимать к себе наперебой, вытирать ему запачканное лицо платочками, наслонявленными для большей чистоты.

– Бедненький, – целовали они его в обе щёки и называли кузей.

Потом, во взрослой жизни, это помогало почти всегда, в самых разных отношениях и в самых трудных случаях жизни: «Я – не родной, вообще-то. Мне всегда не хватало чисто человеческого тепла, между прочим!»

– Какая же это ложь? – рассуждал теперь сам с собою Кеша, полёживая на боку. – Я с глубокого детства осознавал себя одиноким! Таков удел каждого настоящего художника. Для меня, как и для Хрумкина, это не составляет тайны.

Кеша, в который раз, потосковал о том, что флейтист теперь очень далеко, и, укрывшись с головой мягким одеялом, заснул снова с большим удовольствием.

Однако там, во сне, он сразу стал понимать: такое ещё никогда не снилось ему – потому что не могло сниться прежде. В большом удивлении он обнаружил себя на пасмурном весеннем холме, совсем безлюдном. Кеша стоял в дырявой, чужой обуви, глядя себе под ноги. И одежда на нём была не его. Из коротких рукавов фуфайки, прожжённой в нескольких местах, неприятно торчали его оголённые едва ли не по локоть руки. Они казались огромными и чужими.

Рядом с ним зеленела тихая весна его детства. Татарник ещё не выпустил ножку и лежал на земле, плоский, распластав зубчатые листья вокруг себя. Но редкие одуванчики уже нежно желтели тут и там. Вдруг Кеша вспомнил, что поезд на запад может уйти без него, и страшно заторопился. Расчёсанные и прибитые весенними дождями, серые космы старого пырея спускались с холма. Сходить по ним было скользко, будто были они в изморози.

– Скли-и-изко! – говорил ему в спину какой-то знакомый, тоскующий женский голос. – Ой, склизко!

Однако Кеша не останавливался. Он только подтягивал короткие рукава фуфайки пониже, и переступал в дырявых чужих башмаках, спускаясь по холму лесенкой довольно ловко.

Вдруг, уже в низине, тёмный овраг распахнулся перед ним, похожий на пропасть. Кеша заглянул в него с боязнью. Там, на глубоком дне, утонули в далёком и дымном зелёном свете давно умершие, свалившиеся от старости деревья. И зелёный этот лесной свет втягивал в себя Кешу ощутимо – как тянет любопытного человека вода, мерцающая на самом дне глубокого колодца.

Кеша попятился в страхе и стал искать другой путь. Он увидел плохо наезженную дорогу, которая шла непонятными, странными кругами, приминая луг. Потом дорога уходила беспутно вверх, на тот же самый холм с листьями татарника, и взлетала в небо с его вершины. «Приехали!» – сказал Кеша во сне так громко и недовольно, что почти проснулся.

Но поезд уже шёл, в котором ехал, кажется, и он, не видящий себя. И всё сбылось, и всё свершилось самым радостным образом. И колёса мчали Кешу именно туда, куда он хотел. И даже выстукивали неустанно, нарочно для него: «Цивилизация, запад, Бодлер, цивилизация, запад, Бодлер...» Поезд уносил его из этой пресловутой жизни, в которой он так ужасно завяз, в иную! В настоящую. Навечно.

Но за вагонным окном, меж тёмных дубовых стволов, ещё ходили кругами тёмные тени, и прятались, пропадали в свежей зелени молодых листьев. И Кеша боялся, что эти тени вот-вот выхватят его из поезда и уже не отпустят никуда. Он крепче вцеплялся в оконный металлический стержень, на котором болталась занавеска, и вжимался в угол купе всем телом.

Однако лёгкая душа его не понимала, что вагонное чистое стекло надёжно отделяет Кешу от воли и весны. Не чувствуя никакого препятствия, она оставила его в вагоне, а сама свободно летела теперь рядом с поездом, над оврагами. Душа взмывала на холмы. Она долго плыла вдоль бледных песчаных дорог, над ландышами, цветущими по обочинам, и над красноватыми вершинами маленьких клёнов. И это неуправляемое поведение души не нравилось Кешину телу, трясущемуся в вагоне.

Должно быть, дождь прошёл совсем недавно. Потому что то и дело бросался в глаза нестерпимый блеск мелькающих в окне зеркальных лужиц. Кажущиеся совсем тёмными и глубокими, они вдруг вспыхивали сильным мгновенным светом – и гасли. И самовольная душа, летящая за окном состава, никак не возвращалась в вагонное душное тепло. Но поезд шёл и шёл. И тело ехало и ликовало само по себе, без всякой души. И колёса выстукивали – «скорей, скорей, скорей»...

За вагонным окном, на жёлтой от одуванчиков незнакомой околице, стоял одиноко старый фронтовик на протезе, с непокрытой головой. Он смотрел неотрывно на этот поезд, уходящий на запад, уронив бессильно тяжёлые изработанные руки. Далеко, за его спиной, привязанная верёвкой к колышку, паслась на лугу белая бородатая коза, про которую забыл старик в своей неподвижности. На сером и старом пиджаке его блеснул какой-то орден на затёртой георгиевской ленте. А поезд с Кешей уходил и уходил от фронтовика, глядящего вслед из-под нависших, тяжёлых век. Поезд мчался, весело стуча колёсами – туда, туда, туда, к далёкой границе.

– Наконец-то позади вся эта жуть, чтоб она... – облегчённо вздохнул Кеша и проснулся, не договорив.

На кухне разговаривали по-прежнему. Но странный сон не отпускал Кешу от себя и потому беспокоил. Холм с дорогой, улетающей в небеса, одинокий фронтовик на протезе... Красные беспомощные клёны, белые грустные ландыши... И даже бородатая коза на верёвке – всё это стояло перед глазами и что-то насильно объясняло ему, не отпуская души.

– Процесс диффузии! – рассердился на сон Кеша.

Он ощупал себя с тревогой, бормоча:

– Хм. Чуждый мне мир проник даже в меня. Безобразие! Нахватался я тут всякой пресловутости...

И он почувствовал давно и хорошо знакомое волнение, почти сладостное, блудливое, которое быстро перерастало всегда в один и тот же неодолимый порыв: сбежать незаметно.

«Хм... Если человека долго не выгонять, он уедет сам! – понял Кеша. – Надо будет записать».

Он прислушался было к голосам на кухне, однако ещё одна блестящая мысль поразила его:

– Всё, что сложно, того не существует! – сказал он себе. – Нет, я прямо Фейхтвангер какой-то на самом деле... Значит, пора. Подзадержался я у Броньки, конечно. На женщинах творческому человеку вообще останавливаться нельзя. Я же не намерен, как художник, терять свою свободу?! В конце-то концов?! Да я и права такого не имею. Талант обязывает быть в пути. Иначе задавит художника всяческая бездарность! Задавит как толстуха. Приспит, как ребёнок, жалеючи... Нет, только вперёд! В свободу нравов!

Чтобы отвлечься от всяких умных собственных мыслей, он повернулся на другой бок и принялся слушать размеренный разговор, долетавший из кухни через большую комнату.

– ...Батюшки-светы! А что же, говорят, Старый-то Завет от Нового отличается? – спрашивала на кухне Бронислава.

– Да как – отличается?! – с неудовольствием возражала тётка Матрёна. – ...Не отличается он.

И говорила затем кротко, веско и разумно:

– Дело как вышло? Мир надо было спасать. А куда Сына Божьего к людям во спасенье посылать? Где грехов больше – туда... И вот, какой там народ был, весь он – по Старому Завету жил. И религия у него была такая. В какой-нибудь Египет войдёт один, Иосиф их, прекрасный какой-нибудь, щас же пробьётся к трону. А за ним – вся родня в правительство египтово садится. И по их религии, по Старому Завету, они из каждого Египта – всё вывозят: и золото-серебро, и парчу, и всё-всё. И вывозят, и вывозят – пудами. Покудова каждый Египет не разорят. И с поклажей они в другой, в новый Египет переходят... Дед, молчи! Погоди... Сын-то Божий с чем к ним пришёл? Чтоб они больше так не делали. Новый Завет им принёс: хватит вам Египты обирать – запрет вам на это дело налагается. И теперь уж в услуженье всем народам вы – идите. Смиряться теперь перед ними всеми каждый день. А к тронам – не лезьте больше, хватит: идите в пустыни, кайтесь там. А деньги, которые вы в Египте в новом набрали, бедным раздайте назад – у кого брали займы да без отдачи. И другим народам ноги мойте, как Христос Своим ученикам их мыл. Он вам такой пример показал, не ещё кому, чтоб вы спаслись. А то конец света настанет, Армагеддон. А они и говорят Спасителю: «Нет. Пускай лучше весь мир перед нами смирится. А то мы миром всем владать хотим. Нам невтерпёж». А им и было сказано: «Как хотите. Но добьётесь вы этим – плохого!»

– А я как раз? – начал было старик. – Когда оккупация-то была!..

– Лыко, мочало, начинай сначала. Дед! Не вводи во грех. Я ведь причастилася.

– Тётка Матрён! А чего они добьются-то? Отступники?

– А добьются они того, что православный мир да мусульманы – объединятся. И будут отступники от Христова учения тогда биты, смертным боем, православными да мусульманами: за то, что по пути Спасителя не пошли. В Палестине – там будет Армагеддон весь этот. Битва-то с ними. Вот чего они этим добьются... И Старый Завет – это по которому они жили и других людей обирали: разрешалось им тогда. А Новый Завет это дело плохое им уж запретил. И открыл – как они после этого жить должны: по-другому. Им-то путь указан был – мир через смирение своё спасать. А они отказались. Бес в них выиграл. И бес ими стал тогда править. И будет править ими, пока они не смирятся. Перед всеми людьми.

– А может, они уж смирились, а мы – не знаем? Сидим тут, чай с ватрушкой пьём, а они, может, смирились давно? Отступники? Мы как про это поймём?

– Поймём, – степенно толковала тётка Матрёна. – Сразу поймём. Как только они богатство накопленное всё бедным назад отдадут, да как в пустыни молиться да каяться уйдут, значит – смирились. И спасутся они сами – через послушание Христу, когда скажут друг дружке: «Эх! Велел нам Новый-то Завет другим народам ноги идти мыть, как Христос нас всех научил, а мы кого же воропятим? Мы что же против небушка-то идём и Христа во все века, до

сего время, распинаем? Простите нас, все народы – для нашего же спасения». И всем народам, на все четыре стороны когда они, отступники, поклонятся...

– Он, Христос, для этого в иху землю приходил! А не ещё в чью! – важно заметил старик. – Если б Он нас хотел сначала смирить, Он к нам бы пришёл к первым. А он черёд-то какой показал?

– Именно, что так! – подтвердила старуха. – И вы думаете, случайно что ль, учеников-то из отступников одних Он набрал? Нет. Одних отступников Он учил, как ноги-то они должны мыть... Не ещё кого учил. Их всех, именно... А когда весь свой народ вы, отступники, этому выучите – вот тогда только другие народы так же делать пускай станут. За вами. Следом. По вашему примеру. А не наперёд вас!!! Такой черёд-то Христос на земле установил, тем, что к ним – явился. А не другой – черёд.

– Так, Армагеддон, он будет? Или нет? – никак не понимала Бронислава.

И снова мирно журчал наливаемый ею чай.

– А как же не будет? Будет, Бронь. Будет, дочка. Если они, отступники, не опомнятся – биты будут! Вот это есть Армагеддон! А если половина их, отступников, опомнится – отодвинется Армагеддон.

– А ну, как все они с понедельника раскаются да в пустыни без богатства-то без награбленного сами уйдут? По всей земле, если они так, по-святому, сделают?

– А вот тогда, Броня, лев с ягнёнком рядом, на травке, ляжет. А змей голубя сберечь будет. Вот как! Тогда и получится, что уж нет ни эллина, ни иудея, в царстве-то в Христовом. А чего Господь всем велел – то на земле и настало. И весь мир уж другой сделался, значит, как по Христову слову стал жить, – с удовольствием посасывала сахар тётка Матрёна. – Эллин да иудей – они есть: пока христово ученье не победило!.. А как победит, то и смерть из мира сама уйдёт. Зло-то потарахтит, погрохочет, землю потрясёт да в преисподню и провалится. А антихрист-то глянет: «И чтой-то мне никто не служит? Эх, я без войска своего остался, что ль? Оно куда всё подевалось? Православные все – тут, мусульманы – тут, а моё-то войско где? Потерял ведь я их!.. Ага! Вон что! К Спасителю оно от меня перешло – и спаслося!» Да как завоюет! И слёзы, и сопли – гужом. И на карачках на гору ползет. Да и удавится с воем. На осине... А нутро у него – просядет. И вывалится всё нутро его – на землю! Шлёпнется прям. И серой от нутра запахнет, страх! Вонь-то по свету сильная какая разойдётся, о-о-о-ёй! Паром жёлтым аж небо закроет всё! Клубами, клубами... Ну, её, серу, ветерком всю раздует. Как и не было, право слово...

Кеша мучился и морщился за стеной:

– Тьфу ты. То Индрик-зверь, то Армагеддон, – и тяжело вздыхал. – Вот, пр-р-роклитье... Приросли они там к стульям. Будут пить чай, пока не лопнут.

– А в церкви-то кого видали? – спрашивала Бронислава стариков. – Народу-то много, что ль, было?

– Там – служба! Как у военных. Батюшка наш, буянский, он ведь – ого! Суровый. Нас с матерью-то на исповеди уж больно хорошо пробрал! – хвастался дед. – Грехи-то наши, как хворостинки из веничка, щас же все растеребил. Мигом! Сноровистый батюшка наш, куда с добром... Как заново мы народились.

Старуха, однако, заворочалась. И пожаловалась:

– Ну, день ведь без греха не проживёшь, Бронь. Через неделю-то на себя глянешь: ба! Опять вся в грехах, как овца в репьях. Да и летишь в церковь-то, сломя голову: «Батюшка, своевольница ведь я!»... Это вот через деда я всё угли-то себе на голову сыплю. Гневаюсь, как дура, на старенького-то на моего, на гоженького... Вон, он у меня гоженький, чистый какой сидит. Старичок мой... Да, как ниточка с иголочкой мы ведь с ним. Не ещё с кем.

– Бог простит, Матрёнушка... – проникновенно сказал старик, всхлипнув от большого чувства. – Ты уж меня прости только. Куда я без тебя? Без тебя я – кого?.. Нет, я без тебя никого.

Бронислава погромыхивала посудой. Всклинула чуток, совсем коротко, и тётка Матрёна. Размеренно стучали часы. Громко щёлкнуло и стрельнуло в печи горящее полено. Пламя гудело в печи ровно и напевно, как гудит жаркий пчелиный рой, зависший над цветущим лугом.

– Да, много хорошего на свете... – рассеянно, будто из сна, проговорила Бронислава. – Ой, много...

Лежать под тёплым одеялом стало жарко до невозможности. Кеша откинул его к ногам и заложил руки за голову. «А может, так и жить надо?» – неожиданно подумал он. Но тут же зевнул: скучно. Большому кораблю необходимо большое плаванье. И потом – глобус, он же крутится. Вертится туда-сюда...

– А я-то кого? Уж через месяц после свадьбы его ведь скамеечкой маленькой ударила. По голове треснула, – виноватилась тётка Матрёна. – Напополам скамеечка-то раскололась.

– Ну, оно ведь помогло, Матрёнушка, – засмеялся старик тихо и счастливо. – Оно ведь – за дело было. Ой, за дело.

– А у тебя скамеечка-то есть? – озаботилась старуха так, что под нею заскрипел стул. – У тебя, у Доброй?

– Есть, есть, – откликнулась Бронислава.

– Ну и хорошо. А то вам, добрым-то, без скамеечки давно нельзя, – успокоилась тётка Матрёна. – Без неё до беды недалёко. А она – помогает... Он сам потом и починит, мужичок твой. Как мой чинил. И тебе же в пояс поклонится: благодарю, скажет, что не избаловался я... Гляди, а то бы я свою дала, чинёную. На память.

– Есть у нас! – отказывалась от скамейки Бронислава. – Целая пока что. И зачем хорошие скамейки за худые дела об головы дурные ломать? Что, кулаков, что ль, нету? Они, кулаки, сами заживают, безо всякой починки. Небось, проверено. Не один раз...

Кто-то на кухне давно и задумчиво размешивал чай в стакане, постукивая ложкой по кругу.

– Миня уж больно горько на паперти плакал! – с тяжёлым вздохом сказала тётка Матрёна, и стук оборвался. – Жаловался.

– Батюшки-светы! На что? – встревожилась Бронислава.

– Его около ларька городского кто-то дураком обозвал.

– Да кто? Дядька Летунов, охальник! – объяснила Бронислава старухе. – Все говорят.

– Вот Миня-то на паперти и плакал: «Не дурак я», – уважительно рассказывала тётка Матрёна. – Я уж его гладила, Миню: «Какой ты дурак? Миня? Да ты что?.. Нет, не дурак. Ты у нас – умный! Ты у нас – боярин!» Ну и мать-то его, Дуся, тоже – тут стоит: «Умный! Боярин он у нас! Боярин... Боярин-то вчера свечку съел. Не знай уж как теперь верёвочка-то выйдет. Или нет?». Беспокоилась, Дуся... Вот, Миню все за это и жалели. Пирогов ему мно-о-ого давали.

– Ну, она медком пахнет, свечечка, – поняла Бронислава. – Он медку, наверно, хочет. Надо будет Дусе отнести... А вотхвати-ка им, тётка Матрён. Тебе по пути как раз. У меня баночка есть.

– Давай. А то плачет больно, Миня-то. Говорит: его резинку в роте держать заставляли и её – попусту жевать, без конца. Вот как издевались. Охальники... Разве же можно его так обижать? Он ведь наказание на себе несёт за весь Буян! Так-то за грехи наши она, глупость, на нас, на всех, помаленьку бы раскинулась: в наказание, на каждого. А Миня всю её, глупость, на себя одного ведь собрал. Взвалил ношу-то какую – на весь свой век взвалил! И несёт он её один, бедняжка, нашу глупость, всю: целиком. И его же – обижают...

Кеша, недовольный гостями, давно ворочался с бока на бок. Но выходить ему отчего-то не хотелось. И будто колёса постукивали в его голове: «уезжать, уезжать, уезжать...» Наконец, старики распрощались и ушли. И в дверях спальни тут же появилась улыбающаяся Бронислава.

– Ты вставать-то, Кеш, думаешь, нет? – поправляла она косынку на голове то так, то эдак. – Спишь, как на каникулах. А я вот, с утра пораньше, лапши сварила. Тебе. Торопилась. Ой, у нас, в селе, кого сварить? У нас по-простому...

– С чем? – оживился Кеша и привстал. – Лапша с чем?

– С петушиными потрохами. Щас налью. Похлебай в дорогу. Горячего. Да ватрушка нынче с ванилью. Нина-то с Антоном вот по такому куску умяли! И старички тоже, хорошо приложились... Пораньше я подсуетила. А то, как ты, голодный, поедешь?

Бронислава успела разгладить ладонью скатерть на столе. Привстав на цыпочки, она озабоченно заглядывала теперь на полку со старыми учебниками, не накопилась ли там поверху пыль.

– Ох! Прохлаждаюся, а тут и не протёрто.

Кеша вскочил, накинул на себя рубаху и вдруг удивился:

– Куда ещё мне ехать?! Ни свет, ни заря? Что за глупость? ...Ну не сегодня же, в конце концов!

Бронислава засмеялась.

– Собирайся давай!.. Откладывать-то зачем? Я уж и деньги тебе приготовила. Вон, к рубашке твоей карман тряпичный пришила, – показала она пальцем. – Понизу. Синенький.

Разглядывая на себе низ рубахи, Кеша озадаченно почёсывал шрам на затылке. Потом выглянул в окно:

– А если метель разыграется? Зачем же я, как дурак, подамся в такую непогоду?

– Какая тебе метель? – удивилась Бронислава. – Ветер-то разве на гнилой угол нынче дует?

– В смысле? – строго переспросил её Кеша.

– А без смысла без всякого, – отмахнулась Бронислава. – У избы какой угол вперёд других гниёт? Тот, на который ветром дождик надувает... А корову я доить поднимала? Она мордой-то куда лежала? Думаешь, куда?.. К морозу она лежала, не к дождю.

– Ну, хорошо, хорошо! – торопливо согласился Кеша, рывком натягивая брюки. – Я и сам понимаю, что мне давно пора в свет! Пр-р-роклетье, карман какой-то дурацкий... Ну, вот посмотрит на него Хрумкин, и что он скажет?! Эх, и до чего же я дожил. Вылитый деревенский болван... Лапша где?

– Да на плите, Кеш. Где же ей быть? Умывайся, иди... А шею я тебе уже в тарелку положила! Погложешь на дорожку. Хорошая шея! Петушина. Прямо, толстая.

Поел он и собрался довольно быстро. Уже через час, прихлопывая руками в коротких перчатках, Кеша стоял на автобусной остановке. Уплотнённая толпа стремилась войти в только что подошедший автобус – в старый жёлтый ПАЗ. И Кеше расхотелось присоединиться к озабоченным людям. Он крутился, недовольно поглядывая на сутолоку.

– Давай сдадим билет! – сердито говорил он Брониславе, уже представив с завистью, как Бронислава вернётся в тепло, как польёт широко разросшийся столетник, похожий на зелёного живого осьминога, и как станет расхаживать босиком по чистым половикам, сотканным из пёстрых мягких тряпиц.

Бронислава, напудренная и подкрашенная, но только чуть-чуть, стояла рядом и смотрела на него с жалостью.

– С чего ты взяла, что мне в самом деле ехать надо? – брюзжал Кеша.

– Надо! – разводила руками Бронислава. – Едь-едь, раз Козин тебе велел! Ты же с ним советовался, не со мной. А я вам подчиняюсь... Что ж теперь! Раз мужики так задумали, бабье дело: выполнять... Только к этим, к азерам разным, в городе-то не приставай. С ними, кому надо, те разберутся. А ты не нарывайся пока что. Ещё ножиком пырнут.

Кеша усмехнулся снисходительно:

– Дикие, горные люди? Они около Пегаски не кучкуются. Что им делать среди образованных людей?

– Как, что? А пиво вам продавать? Им ведь всё равно с кого деньги-то лупить. Для них человека нет, а есть его карман. Вот не расплатишься один раз, и пырнут, – тревожилась она.

– Нас много. Безденежных. Всех не перепыряешь.

– Всё равно. Не связывайся. И правды в городе – никому не говори. Даже под пыткой. Город ой как правды не любит! Старики ведь предупреждают, не ещё кто: скажешь правду – потеряешь дружбу! Молчи там больше. В тряпочку.

Автовокзальные улицы расходились от Кеши и Брониславы в три стороны. Одна огибала высокий холм и подбиралась к серой, скучной коробке элеватора. Другая поднималась к кирпичному кубу электростанции у самого бора, третья надолго пропадала в низине, а потом возникала снова. Она прижималась к огороженному квадрату кладбища. Среди мощных заснеженных деревьев сияло там, вдали, жёлтое солнце церковного купола.

Печи в Буяне протопили все спозаранку, и дым не поднимался над кирпичными трубами. Теперь Кеше оставалось только забраться в автобус, чтобы всё это скрылось за железной крашеной дверцей навеки. И ничего ему не было жаль, однако это «навек» пугало немного и заставляло медлить.

Бронислава с готовностью кивала знакомым из-за его плеча и улыбалась каждому, придерживая свою тяжёлую сумку, поставленную на казённую лавку:

– Доброго здоровьица! Доброго здоровьица!.. Никак, провожаете кого? Далёко ли?

И сначала пугала Кешу:

– Вот ты нынче не уедешь – а завтра затоскуешь. Нервничать начнёшь. Да злиться на весь Буян. А зачем злиться-то, Кеш? По-моему оно и нехорошо.

А потом успокаивала его со смехом:

– Ничего. За десять дней обернёшься. Для бешеной собаки семь вёрст не крюк. Вернёшься зато – насовсем! По-надёжному... Нет, как тебе в полушубке в этом хорошо! Кеш, ты в нём – не как купчик, а всё ж – как богатенький мужичок. Правда, правда.

Она оглядывала его с гордостью. А он прятал подбородок в огромный рыжий ворот и морщился:

– Что за женская глупость, пьяные мужские слова принимать за чистую монету? Я и про Зойку, может, придумал. От обиды... Это же всё Зинаида расстроила, между прочим! Она любую, самую крепкую, семью способна разбить! По ходу жизни. Неужели Непонятно?!

Но Бронислава вдруг посуровела:

– Коробейничиху не трогай. Не при чём тут она. Зинка, хоть и гадина, а соседка нам. Напакостить она, конечно, напакостит. Зато и пожалеть первая придёт!.. Она придёт – не ещё кто.

– А ты видела, как она девчонку свою воспитала?.. – доказывал своё Кеша. – Я бы ночью с такой своей дочкой под общей крышей глаза бы сомкнуть побоялся. Пока бы все ножи от неё не попрятал. И вилки, кстати, тоже: два удара – восемь дырок.

Люди с поклажей всё подходили – и от элеватора, и от электростанции.

– А вон она, Аришка, куда-то на лыжонках бежит, – показала Бронислава в сторону бора. – И пальто верёвкой что-то подпоясала. Бельевой. Батюшки-светы, все подпоясанные!

Кеша посмотрел в сторону мельком, без любопытства. Там, вдалеке, деловито лезла в гору ватага мальцов на лыжах. И крошечный мальчик с салазками бежал за ними, поскальзываясь и падая.

– И что у детей за мода теперь пошла? Подпоясываться? Даже не знаю... – удивлялась Бронислава. – Маленький, и то с верёвкой на пузике за всеми увязался... Ох, Кеш! Щас девчонки – как мальчишки стали. Даже хуже. Старики-то вон говорят: вроде, перед войной только такие нарождаются. Девчонки, – озаботилась она.

И завздохала:

– Хоть бы уж отмолили, старики-то: чтоб война не разыгралась. Чтоб русские кругом без войны из рабства вышли бы – по правде да по закону.

– Из какого ещё рабства? – подозрительно покосился на неё Кеша.

– Это, Кеш, мы в Буяне – вольные остались. А другие—то так не умеют. Послабже они. В других местах... Так обнищали, что чужим нациям прислуживают и на чужие нации везде батрачат. Ты мне даже про это и не говори! Люди – они зря болтать не станут. Ну, чего стоишь? – толкнула она Кешу локтем. – Иди. Адрес её я себе записала. Несушки-то твоей, образованной... Я его у тебя ещё в первую ночь из болоньки вытащила. А ты и не заметил. Давай иди!

– Хочешь сказать, что интернационал опрокинулся на Россию и теперь истребляет русский народ? Нации тут вообще не при чём, – буркнул Кеша, не довольный разговором. – Тебе есть смысл слушать только меня, а не дочь с каким-то зятем. С пресловутым, между прочим.

– Ой, нет, Кеш. Всякий народ для своего народа живёт. Один наш, русский, для всех жить устал. А оно ведь и не нам прописано – другим-то народам ноги мыть. И что мы не за своё дело взялись? Черёд мы нарушили, вот что... Не нами он, черёд, придуман. И не нам его изменять!.. Подождать нашим-то надо было, когда отступники перед другими людьми смирятся! Потом уж так-то жить: по святому-то, для всех... А пока что нам смиряться – между своими только можно. А не ещё перед кем!

Стоящие неподалёку с рюкзаком и бидонами, два парня в куртках и женщина в тулупе вдруг обернулись разом.

– Да нашего-то мужичка уж все на свете себе вокруг Буяна подчинили! – замахала на Кешу женщина широкими и длинными тулупными рукавами. – Из него скоро дух вон, а ему всё: «кайся» да «терпи». «Кайся да терпи!» Мы же, вроде, и провинились... Антихристов этих народ наш на своей шее тащить замучился. И управы на антихристов от властей – нету!.. Это ведь тот, кто на нас верхом едет, каяться-то нам всё велит. Антихрист сам! Наездник!.. Сказано: будет антихрист сначала, как вроде Христос он, тому же вроде учить. А сам – не Христос, а наездник. И кто этого наездника на себе везёт, тот не Христу служит: антихристу. Это уж всем известно!

Но один парень усмехнулся, а другой сказал:

– В Буяне они бы так попробовали. На наших шеях ездить. Небось, быстро бы зареклись.

– На нас, где сядешь, там и слезешь, – переговаривались парни, толкаясь друг с другом, чтоб не мёрзнуть. – Здесь вам – не там!

Вокруг одобрительно рассмеялись.

– ...Ну, меня же вот никто себе не подчинил, правильно? Хотя я – городской человек, это за версту видно, – с важностью заметил Кеша.

– Витёк когда возвращается, тётъ Бронь? – спросил один из парней, не заметив Кешу совсем.

– Скоро! Весной этой.. А вы чьи же теперь будете?

– Касаткины мы, – с достоинством ответила женщина в тулупе. – Тех Касаткиных мы, которые на Курмыше живут. А не тех, которые у родников.

– Вон чьих, значит... А это у вас, что ль, медведь пасеку разворотил? В позапрошлом-то году?

– У нас! У нас! – обрадовалась женщина. – У деверя. А медведя этого той зимой муж мой завалил. Мой! – неловко тыкала она себя в грудь длинным, свисающим рукавом.

И показывала потом на парней:

– Ихний вот отец. Димитрий Николаич. Касаткин... А Николай Николаич, деверь-то, того медведя – ранил. Из двенадцатого калибра. Жаканом.

– Слыхала, как же. Знаю я Николай-то Николаича. Он же Коробейниковым дом ставил!.. А вам куда? – нараспев, обстоятельно спрашивала Бронислава.

– Не далёко! На озёркинский автобус, – ответила женщина. – Вот, сыновья меня к сватьям провожают. Крестины у нас. Мальчик там у нас родился. На четыре двести шестьдесят вытянул. Тоже, Димитрий Николаич назвали.

– Ой, муромец какой! Батюшки-светы... В Озёрках, значит?

– В Озёрках!.. Ну, доброго здоровьица.

Женщина и парни засуетились и двинулись к белому узику, подхватив два тяжёлых бидона и огромный, неприподъёмный рюкзак.

– И вам не хворать! – крикнула им вслед Бронислава. – ...Димитрия Николаича, значит, она жена. Которая в девках родила. Вон того, наверно. Старшего. С чубчиком... И вот, гляди, всё равно он её, Касаткин, взял! Как из армии вернулся. Не ещё какую... А парни-то вымахали! Один лучше другого. Ой! Что уродились, то уродились.

– Не понимаю, о чём можно говорить? С этим убожеством, – тихо бушевал Кеша, отворачиваясь от Брониславы вовсе.

Ему не нравилось, что она не понимает всей важности его отъезда.

– Да как же я с людьми не поговорю? – обиделась Бронислава. – Что я, халда какая, что ли? От людей нос воротить?! Ну, чудной... Ты зачем такой-то?!

Вдруг Бронислава деловито обняла Кешу, поцеловала и сказала:

– Вон шофёр городской из столовки прошёл. Поел как хорошо: шами от него за версту прям пахнет. Тронется, значит, скоро... Приезжай, Кеш, скорей! Дорога назад – она тебе

никогда не закрытая. И не сомневайся ни капли. Уж я тебя, Город ты наш, ни за что не оставлю. И не надейся.

Она крепко стукнула его кулаком в спину:

– Иди давай!.. Кенгуру ты моё несчастное.

– Эй! Потихе. Ну и рука у тебя, – проворчал Кеша, однако подчинился.

Потом Бронислава смотрела на тоскливо вытянутое Кешино лицо за стеклом разворачивающегося автобуса, махала ему варежкой и приговаривала, улыбаясь:

– Съезди, съезди. Чтоб больше не тянуло. Что ж теперь... Так надо, Кеш. И черёд теперь – такой... Черёд-то менять, оказывается, гре-е-ех!..

С посадочной площадки Бронислава собиралась отправиться к Зайцевой – отдать сначала две банки кручёной смородины, а потом рассказать ей про Кешу всё-всё. И про Козина – особенно: чтоб все знали, какой он, клубчик этот. Однако, подхватив свою тяжёлую сумку, она пошла в подсобку, к уборщице автовокзала, погреться в помещении. Добираться до Зайцевой по холоду было долго, а так с разговором получалось скорее.

– Давно не видалися! – сказала она тщедушной своей бывшей однокласснице, хлопчущей в тесноте, среди швабр и развешенных мокрых тряпок. – Думаю: что же мимо-то пройду, а Таечку не проведу? И как она там, думаю, кума-то наша, в своей пиндюрке одна-одинёшенька топчется? Ой, Тай, чего расскажу! Щас прям упадёшь. Упадёшь вот тут, вдоль батарейки, и не встанешь... А уж темно-то у тебя! Вся ты от света закрытая. Дай-ка, я шторы-то раздвину. А то что мы будем с тобой сидеть, как две татарские невесты? Занавешенные? Оно и нехорошо... Вот, так-то повеселей будет.

Свет из окошка упал прямо на уборщицу. И синие глаза её расцвели на бледном лице и помолодели.

– А я только-только убралася везде! Чаю тебе, Бронь, поставлю. Садись. Попьёшь. У меня гляди-ка плитка какая – не плитка: мартена прям! – радовалась она.

– А кто её тебе, такую, делал?

– А дядька Летунов взял да сделал.

Плитка была сооружена из двух красных кирпичей с продолбленной витиеватой бороздкой. И толстая спираль лежала в ней по-змеиному. Она будто дремала без тепла, но ожила сразу, едва её двуязыкий штепсель, похожий на чёрную голову, впился в розетку. И раскалилась мгновенно до огненно-белого цвета, как алчное существо, пьющее огонь из стены. А потом зашипела под днищем мокрого чайника. Металлическая змея не терпела воды.

– Дверь, погоди, на замок запрю...

– Зачем? – устраивалась поудобней Бронислава, снимая пуховый платок. – А я сроду люблю – нараспашку. Вот чтоб полы везде намыть, водой их дочиста нахлестать, и все окна-двери – настезь растворить!.. Когда ветер по чистым полам ходит – так я люблю.

– Меня ведь за эту мартену администратор, знаешь, как жучит! – объясняла Таечка. – Пожару что-то боится.

– Ну, он заика! – рассмеялась Бронислава. – А вспыхнет мартена твоя – ему же лучше: напугается – сразу вылетит. Через огонь-то в себя придёт. Заговорит по-правильному, ты его не остановишь. Худо – оно, Таечка, не без добра. А добро – не без худа... Худом ведь много чего выправляется!

– Ох, Бронь, не скажи, – испуганно замахала руками Таечка. – От Степана что-то писем давно нету. Наш батюшка буянский, монах-то который, по зонам ездил, наших-то там всех проведовал. Сказал: «Не бойся ты, раба, ничего – молись». Молюся, не перестаю, а писем уж три месяца нету.

И, оглядываясь на светлое окно, призналась:

– Ночами я, Бронь, капли ведь не сплю.

– А-а-а... – изумилась Бронислава. – Батюшки-светы! Чего ж теперь будет?

– Не знаю, чего будет, – тревожилась Таечка. – Вот и разбери, где худо, где добро.

Она вздрогнула оттого, что крышка на чайнике задрезжала и запрыгала.

– Ну, если убёг – он к тебе не скоро придёт. Побережёт он тебя, жену. И Наташечку, пуще того, побережёт. Дочь есть дочь. Не вздрагивай, – успокоила её Бронислава. – Может, и заглянет к кому из наших. Но не к тебе, Таечка: не жди. А ко мне, наверно.

– И я так тоже думаю... Они ведь с Кочкиным твоим – кумовья.

– Ну!

– Ты уж, Бронь, если что... Крупы да сахару... Да из одежи. Я потом отдам.

– Ты, Таечка, даже не сомневайся! После Кочкина моего сундук одежи даром лежит. И Антон её – не носит. Она ему нафталином пахнет. Оденем.

– Добеги, если что. Мне сразу скажи. А то бы и я к вам подбегла. Мы бы повидались... Участковый-то чего? Зашёл: «Кормачова! Подпиши бумагу, что ты Степана не видала. А если увидишь – только чтоб не на виду он был!» Строжится. А зачем бумага – не сказал.

Бронислава, откусывала сахар, замирала от удивления – и прихлёбывала из стакана:

– Правильно строжится... А ведь как Степан-то хорошо в школе учился! Лучше всех! – вспомнила Бронислава Таечкиного мужа. – Как у него голова-то варила – всё знал, всё читал. Учителя-то на него прям дивились... И вот тебе: восемь лет припаяли. А он только один раз и ударил. За всех, один, страдать пошёл. И весь общий грех он на себя, на одного, взвалил!.. Я думаю, он святой за это будет: вот. А зато мы – не бедуем. В нашем районе. От разора зато избавились.

Они обе замолчали, думая о грустном – об огромной заснеженной, разграбленной России, которая лежала вокруг Буяна, о заброшенных, тоскующих полях, замерших меж лесами и долами в безнадежном сне, похожем на смерть, о миллионах бедных людей, изгнанных со своих уже не дышащих заводов, о голодных нерожающих женщинах, предлагающих себя вдоль

бесконечных российских дорог первому встречному, и об искалеченных нескончаемой войною парнях, тянущих руки за подаванием с инвалидных своих колясок.

– А ведь Стёпа, он ему, агитатору, по-хорошему сначала доказывал. На собрании. Что нам ихих порядков заморских не надо. Чёрная лошадь сивому не ко двору, – покорно рассуждала Таечка, вытирая слёзы полотенцем. – А то, что его, присланого, сюда не звал никто, на суде не считается.

Бронислава с жалостью смотрела на Таечку и накинула на себя шаль:

– Совсем ты дошла. Погоди-ка, вот я тебя вылечу маленько. Буфет-то ваш как? Вроде, работает...

Таечка рассеянно кивнула и пошла отпирать дверь.

В буфете Бронислава подождала, пока народу станет поменьше. Потом склонилась к продавщице:

– Дай-ка, Оня, мне чекушечку в долг. Вон ту. С пузечком.

– Ты что, тётъ Бронь? Без копейки что ль совсем осталася? – удивилась молоденькая буфетчица.

– Давай, давай. Занесу я, никуда не денуся! Через две недели, с получки, – успокоила её Бронислава. – Я у Таечки сажу. И конфетков мне взвесь. Граммов двести.

– Тебе каких? Шоколадных, что ль?

– Ну, конечно, не подушечков! – приосанилась Бронислава.

– ...Чего Витёк-то пишет?

– Пишет – служит! – спрятала Бронислава чекушку под шаль. – Привет от тебя передавать? Иль погодить?

– Не надо, – отмахнулась буфетчица, следя за стрелкой весов с печалью.

И вздохнула, протягивая шуршащий пакет с конфетами:

– И так меня мой-то к нему ревнует. Говорит: «Он у тебя в глазах круглые сутки сиднем сидит! Я вижу». А я про Витька и думать не думаю, тётъ Бронь... Как оно там поётся? Наколола ноженьку, да не больно. Об острую травоньку – о полынку.

– Ох, правильно, Онь, поётся, – согласилась Бронислава поспешно, нюхая конфеты. – Анисовые, что ль?.. Наколола ноженьку, да не больно, любил меня миленький, да недолго... Ты на бумажку себе запиши, должок-то. Напомнишь потом.

– Я не забуду, – грустно проговорила буфетчица. – Всё я помню. Всё-всё!

Бронислава приостановилась, окинула её быстрым примерочным взглядом. «Посправней Ксенечки Оня-то будет. Та уж больно тощая».

Но рассудила второпях: «Ладно, тощая да, считай, уж своя. А эта – мужняя».

Оня то ли шмыгала носом, то ли всхлипывала, отвернувшись к ящикам и читая на них этикетки.

«Эх, жалко, один у меня Витёк уродился! – жалела Бронислава на бегу. – На всех на хороших его не переженишь... А как же я Оньку-то проглядела? Это когда же они провожались?.. Ну, Витёк, ну паразит. И когда успел, паразит?»

Она скорёхонько пересекла зал ожидания, кивая закутанным людям:

– Доброго здоровьица... И вам не хворать. И вам не хворать, – и постучала в дверь подсобки условным стуком.

У Таечки окно было снова занавешено. Но Таечка прильнула к стеклу, отодвинув штору самую малость. Бронислава крепко поставила чекушку на стол:

– Давай-ка печаль-то переломим! Вот мы её теперь оборвём, чтоб она за нами дальше не потянулася. А то пристала к нам. Печаль.

– Давай, – улыбнулась Таечка и ополоснула стаканы.

Бронислава разлила сразу напополам. И сказала:

– За то, что у Наташи твоей ум – весь отцовский: сроду отличница! Вот на Кешу я тоже как погляжу на своего...

– Характер только мой, – вздохнула Таечка. Потом отпила, морщась. – ...На пятёрки учится, старается, все жилочки свои вытянула. От Сельхозуправления ей приплачивают, а она – всё равно... Работает ещё, в городе-то в этом. Пришлёт мне кой-какие рублики, а я в слёзы! Ведь другая-то сама бы лучше нарядилась, нафуфырилась. А моя – нет, об матери у ней душа болит. Ни кавалеров у ней, никого... Ну, какие кавалеры в городе? Обуза одна... Зато с образованием её ведь, Наташеньку, Ильшин на работу ждёт, не дождётся. Спрашивает про неё... А она – вот как старается! Старается, учится...

Таечка уже плакала в голос – от жалости к мужу, к дочери и к себе. Бронислава всхлипывала тоже.

– И слабенькая, а – красавица писаная! Твоя Наташа, – причитала Бронислава и утиралась вместе с Таечкой одним, общим, кухонным полотенцем, только другим концом. – А видишь, надрывается девчоночка-былиночка, себя не жалеет... Ох, износится раньше время Наташечка твоя, сколько же она на себя взвалила! Батюшки-светы... А ведь Степан-то в прорабах как хорошо зарабатывал. Нужды бы сейчас не знали. А оно видишь чего вышло.

– Ох, износится, подорвётся... – подносила к глазам другой край полотенца Таечка. – И не сирота, а в полусиротках доченька моя родная, умница оказалась...

И деловито спрашивала Брониславу, всхлипывая:

– Бронь, и каких пожаров нам тут бояться? Мы в любой час их бабьими нашими слезами зальём.

– Точно! Все пожары, все мартены зальём! По всей земле! – решительно поддержала её Бронислава.

– Ох! Зальём. Все пожары мировые!.. – снова выпевала Таечка. – Слезами горячими...

– Ой, зальём – они нам и не страшно, – вторила ей Бронислава.

Они замолчали, чокнулись и допили. Опомнившись, Бронислава полезла в сумку:

– А я же смородины кручёной с собой прихватила. На-ка: эту баночку – тебе. А эту – для Наташи твоей. И что я с Кешей в город ей банку-то не отправила?! Не догадалась. Ну, умора...

Таечка завздохала, принимая банки:

– Совсем у нас смородина не уродила в этом году. У кого огороды в низине.

– Так вода-то когда сошла!.. – всплеснула Бронислава руками. – Не зря тут раньше остров был всё время. А теперь по весне только – вода кругом. Вот, давай утрёмся ещё разок, а то от слёз наших опять остров сделается!

– Оно бы, конечно, и к лучшему, – прерывисто вздохнула Таечка. – Стёпа только бы тут поскорей оказался, на острове.

– Да мой бы вернулся, – вставила поскорей Бронислава.

– Да водой бы мы ото всех опять и отгородились! От агитаторов-то от разных...

– А что? Вот как наплачемся всем Буяном побольше, так оно само и случится! – пообещала Бронислава со смехом. – Отгородимся! Напрочь, Тай.

Потом они долго сидели, и пели на два грустных голоса, и раскачивались потихоньку, держась за края общего полотенца:

– Развяжите мои кры-ы-ылья...

Дайте вволю полета-а-ать...

Я заброшенную до-о-олю...

Полечу в страну иска-а-ать...

Полечу в страну родну-у-ую...

Там закончу свой полё-о-от...

Распрошу про мать родну-у-ую...

Как она теперь живё-о-от...

Тяжёлые ветви скрежетали сверху по металлу, царапали и хлестали оконные стёкла. Маленький жёлтый автобус на лесной извилистой дороге подскакивал и гроыхал так, словно был увешен снаружи пустыми консервными банками, кастрюлями и сковородами. И путников, вцепившихся в узлы, сумки и чемоданы, подкидывала вверх с вещами, мотала из стороны в сторону, сбрасывала с сидений и валила друг на друга жестокая дорожная качка. Кеша, взлетая

вместе со всеми, силился сообщить водителю, что тот везёт не дрова. Однако только нечленораздельное, сердитое «моп-поп!..» вырывалось у него сквозь стиснутые зубы.

Но через три часа, оглушительно стреляя и кренясь, старый автобус взвыл – и выскочил всё же в решительном рывке на грейдер. Оставив в ложине сизые клубы дыма, он пошёл по слабо наезженному прямому пути, дрожа мелко, как в лихорадке.

Кеша вздохнул облегчённо. Потом наскоро поругал женщину, трясущуюся рядом.

– С какой стати вы всё время водружали на моё плечо десятки килограммов вашего роскошного тела? Держите свои формы при себе. Безобразие! – сказал он и, устроившись поудобней, заснул через минуту.

Бесчисленная толпа людей с клетчатыми китайскими сумками – городскими, из дешёвого полиэтилена – переминалась в нерешительности на невспаханном, туманном поле. И в тряском автобусном сне расплывчатый Хрумкин, хлопая широкими голенищами кирзовых сапог, сразу же повёл народ походкой командора к каким-то очередным светлым вершинам всеобщего счастья. Но Кеша подозревал во сне: путь этот хорошо сочетался с тайным личным невиданным обогащением избранных – через безграничную власть над прочими, неизбранными. И, бегущий за Хрумкиным след в след, он не хотел отставать от него ни за что на свете. Большую резвость ему придавал, правда, весьма мелкий расчёт: если ты движешься к этим несуществующим вершинам, мороча головы всему человечеству, рядом с вдохновителем движения, то по пути непременно попадёшь на дармовую пьянку.

Влажный пожухлый бурьян хлестал по ногам идущих и по их тяжёлым клетчатым сумкам. Невспаханное поле цеплялось за одежду колючим чертополохом, кололось татарником. И утомлённый народ отстал вскоре – он затерялся в туманном поле со своей поклажей далеко позади. Кеша дёрнул Хрумкина за рукав и указал на дальнюю и давно не нужную никому межу:

– Я обнаружил твой отряд! Твои последователи бессовестно уклоняются от заданного им пути!

И их, двоих, быстро понесла к меже какая-то невидимая сила.

Люди с клетчатыми сумками сидели там, в сыром бурьяне. Они глядели в серое небо, запрокинув серые усталые лица, будто ждали пришествия солнца. А их, приближающихся неумолимо, не замечали совсем.

– Может быть, они не понимают своего тяжёлого счастья? Может быть, они не хотят прогресса? Как ты считаешь? – спросил Кеша Хрумкина, остановившись в замешательстве.

– Я считаю до шести, – внятно ответил тот. – Всегда – до шести!

– Уйдём отсюда. Пусть тоскуют по утерянному социалистическому раю – без нас! – гордо сказал Кеша.

– Сделайте милость... Сделайте милость... – завздыхало всё вокруг, хотя усталые люди оставались недвижимыми. – Провалитесь в свою преисподню... В преисподню...

Но они вдвоём оказались вдруг в неприбранной холостяцкой хрумкинской квартире. Кеша узнал старинную колченогую мебель, источенную злым жучком, неустанно превращающим чьё-то изысканное, славное прошлое в мучнистую, скучную пыль. Узнал он на потрескавшемся портрете и Хрумкина-патриарха. И почему-то заподозрил во сне, что тот

никогда не был Фрумкиным, как утверждал флейтист-внук во время своего пьяного бахвальства.

Волосы Хрумкина-патриарха, между тем, торчали на портрете двумя небольшими крепкими рогами. И оттого он казался Кеше вылитым Вельзевулом. Меж рогами проступали на тёмно-багровом фоне странные водянистые знаки – в виде циркулей и мастерков.

– Хрумкин! А нет ли у тебя чего-нибудь почитать? По масонству? Пока не пришли девушки? – изящно поддел Кеша флейтиста, отвернувшись от Вельзевула. – Мне ребята около Пегаски рассказывали про это что-то забавное. Что-то пресловутое такое... Но я же должен изучить всё сам! Досконально. У меня как раз есть полчаса. Сам понимаешь, когда сюда завалятся «кадры», нам будет не до изучения. Я же всё-таки бежал за тобой, потому что ты звал меня на «кадры»!

– Поздно. Изучать, – с присвистом ответил флейтист и принялся сосредоточенно вычищать грязь из-под ногтей серебряной вилкой, конфискованной у кого-то в начале прошлого века.

– Абсолютно поздно! – согласился с внуком портрет, шевельнув волосяными рогами как настоящими.

«Почему?» – хотел было спросить Кеша, однако не успел. Портрет, расхохотавшись, начал отвечать загодя.

– Потому что никому и ничего уже не изменить! Никогда! Историю вспять не раскручивают.

Ветер гулял в неприбранной комнате. Глухо и торжествующе хохотал портрет над кривоногим столом. Древесная пыль была похожа на рассыпанную по полу муку.

– А если я придумаю программу антимасонства? – подбочился Кеша. – Стоит мне только собрать хороших экономистов, и пресловутые масоны будут обыграны. Без сомнений.

– Собери! – одобрил идею флейтист. – Создай! А я эту программу возглавлю. Непременно. Сам. Лично.

И Кеша почувствовал приступ безграничной любви к Хрумкину – такому незамысловатому, но бесконечно отзывчивому. Он растрогался и поцеловал флейтисту руку с вычищенными ногтями. Вилка упала на стол и зазвенела.

– Ты – настоящий друг, – внезапно прослезился Кеша от большого чувства. – Кто, кроме тебя, пускал меня переночевать? Скажи?! Кто ещё слушал меня, постигая загадку моей великой сумбурной души холодными ночами, по ходу жизни?.. Ты. Ты – великий, вечный мой друг, а вовсе не кося бездарность. И твоему, именно твоему ясному взору открыты истинные пути, по ходу жизни. Веди!

– Тьфу! – плюнул вдруг на них с портрета Хрумкин-патриарх и отвернулся, сменив анфас на брезгливый и однорогий профиль. – Вы измельчали. Внуки революции, вы измельчали до размера древесных жучков. Вы только источили награбленное нами.

Хрумкин-флейтист открыл от удивления рот с чёрной дырой вместо зуба. А потом возмутился.

– Ах, так?! – закричал он. – Вы были крупнее, но зато нас теперь стало очень много! В сумме мы истачиваем, изгрызаем и перемалываем всё вокруг себя в гораздо больших количествах, чем вы!

Но Кеше вдруг резко не понравились обобщения, все эти многозначительные «вы», «мы», и он постарался отмежеваться от обоих Хрумкиных сразу. На всякий случай.

– Я, вообще-то, тут мимоходом. И, если у вас нет никаких доброкачественных девушек и вин... Пойду я, – попятился Кеша к двери, раскланиваясь на ходу. – Я везде – мимоходом. И потому, я свободен. Я – сам по себе.

– А куда тебе деться от нас? – Хрумкин на портрете принял прежний, двурогий, вид. – Ибо некуда деться от нас человеку без... без...

– Без родины в душе! – глумясь и кривляясь, подсказал флейтист.

Тут наступило затяжное молчанье.

– Без родины в душе? – попытался уточнить Кеша, теряя терпение перед говорящим портретом. – Некуда деться от вас человеку без – родины в душе?

– Зачем же так ставить вопрос? – донеслось с портрета. – Если у человека нет родины в душе, то и самой души у него – нет.

– Да, я существую свободным от условностей! – дерзко подтвердил тогда Кеша и подбоченился. – Да! А что?.. Будет ещё тут всякая бездарность разоблачать мои лучшие качества.

– Сам по себе никто не существует, – усмехнулся Хрумкин с портрета. – Либо человек со своей, с позволения сказать, родиной – либо он с нами. То есть, против своей, с позволения сказать, родины. Третьего не дано.

– Ну, меня, допустим, подчинить вообще невозможно! – нисколько уже не боялся рогатого портрета Кеша. – Прошу заметить: принадлежащий всем не принадлежит никому в отдельности. Даже родине – одной родине – меня подчинить никогда не удавалось! Особенно, во время осенних и весенних армейских призывов. Я от дедушки ушёл – вполне успешно. Я от бабушки ушёл, вообще-то, тоже. А от вас...

– От бабушки? – словно эхо, переспросил портрет. И страшно возмутился: – Ушёл – от бабушки?!! Ты?!!

Знаки над его головой сотряслись снова. Но Кеша только презрительно дёрнул плечом и попытался шагнуть за порог.

Тогда молодой Хрумкин вытащил из-за голенища сапога блок-флейту, быстро и привычно скосил глаза на дырочки и заиграл нечто заунывное, чарующее, влекущее – и невыразимо сладостное, мелко дребезжащее. Кеша сделал сильный рывок, пытаясь вырваться из плена музыки на волю, однако споткнулся о порог, шлёпнулся на живот. И пополз вдруг назад, на звук флейты, извиваясь по-змеиному.

– Я шёл сюда только «на кадры»! – протестовал Кеша с пола, пытаясь сопротивляться неуклонному продвижению собственного тела к флейте, по мучнистой древесной пыли. – Я рассчитывал встретить здесь девиц, между прочим!.. А кому я редьку безвозмездно нажёвывал, как беззубому младенцу? Безобр-р-разие...

Однако флейтист Хрумкин дудел и дудел, не разводя глаз. А Кеша уже стоял перед ним на коленях, возле круглого кособокого стола, извиваясь и раскачивая голову в такт мелодии, будто замороженный.

– Будут тебе «кадры». Вино и девки – будут! – раскатисто пообещал Хрумкин с портрета, и масонские знаки, сотрясаясь, запрыгали над его головой: – Будет тебе всё, делающее тебя окончательной скотиной. Каждому – своё.

– Так вот где – фашизм!.. – растерялся Кеша, не переставая раскачиваться. – Суперфашизм... Вот где оно – настоящее человеконенавистничество... Сладкий Бухенвальд, пр-р-роклатье. Ловко!

Однако его сознание уже крепко и радостно ухватило обещанное – «будет тебе всё». Раскачиваясь, извиваясь в приторных волнах музыки, он успевал выжидательно поглядывать по сторонам. Кеша больше никуда не спешил.

Как вдруг он заметил то, чего в квартире флейтиста раньше не было никогда – а именно, три закрытые двери, подёрнутые густой шелковистой паутиной. Девушки, однако, всё не появлялись. «Обманул, суперфашист пресловутый, – огорчился Кеша и чуть не заплакал. – Надул, рогатый. Обещал же растлить, а сам...»

Но тут паутина дрогнула, затрепетала всюду, будто серая шелковистая кисея – двери начали открываться одна за одной с невероятным, пронзительным скрипом. И из каждой на звук блок-флейты выходило по нарядной странной женщине! На первой раскачивались мерно шкуры мёртвых зверей. На второй глухо стучали частые бусы, выточенные из умершего дерева. На третьей были браслеты и ожерелья из костей покойных слонов. Все три сжимали в руках медленно погибающие цветы, отрезанные от своих корней. И приторный запах корицы разлился в пыльном сквозняке. Серые, как волки, женщины двигались к Кеше с пылающими, колючими от вожделения, глазами.

– Ну и «кадры», гадство, – опешил коленопреклонённый Кеша.

Он вскочил с пола, преодолев музыкальный плен в одно мгновение. Потом попятился, заорал от ужаса и забился в тоске, упав спиной на шаткий стол. Он озирался ещё, отыскивая глазами флейтиста, и не находил его нигде:

– Хрумкин! Сволочь. Мы так не договаривались!.. – дрыгал он ногами.

Но только невидимая флейта всё играла и играла, подвывая сама себе. И три плотоядные седые старухи тянули скрюченные пальцы к Кешиней шее, приближаясь неотвратимо и клацая фарфоровыми ровными зубами.

– Цыц! Лярвы! – приказывал им Кеша, пытаясь спрятаться под стол и брыкаясь. – Цыц, лярвы, цыц!

И все три вцепились в его плечи одновременно. Они затрясли, задёргали Кешу в разные стороны.

– Господа женщины! Давайте по-доброму. Господа женщины! – кричал он, отбиваясь. – Согласен на всё. Как всегда, на всё. По ходу жизни.

Он сильно надеялся на какой-нибудь обманный манёвр в далёком будущем. Но флейта взвыла вдруг по-волчьи!.. Кеша вздрогнул, проснулся и расстегнул ворот полушубка трясущимися руками.

– ...Ну, вот, сходил на «кадры», называется, – забормотал он в автобусе, не слыша своего голоса за гулом мотора. – Ну, Хрумкин: привёл! К высшим идеалам, гадство... Всем лярвам лярвы – хрумкинские лярвы: чуть без наследства не оставили... А как ведь хорошо играл поначалу! Косая бездар-р-рность.

Он стряхнул с себя дурной сон, оттолкнул женщину, теребившую его за рукав и что-то кричащую, и начал быстро рисовать ногтем на заиндевавшем окне автобуса клетки и углы, пряча подбородок в рыжий ворот полушубка. Из них получались многочисленные слепые домики. Они подтаивали немного от пальца – и подтаивали ещё сильнее, если Кеша на них дышал.

– ...Эй! Мычишь и мычишь! – кричала женщина. – А чего мычишь-то? Рассказал бы, что ль. Ску-у-учно!

Долгое время Кеша посматривал на неё с опаской. И всё удивлялся тому, что женщина – не старая. В короткой куртке и в дешёвых синих джинсах, она склоняла к нему голову в волосатом вязаном берете, ложилась на плечо и пронзительно сообщала всякую дребедень прямо в ухо – сначала про мужей, потом про свекровей, потом про золовок. Он втыкал холодный влажный палец в ушную раковину и тряс, чтобы не так свербило. Но кивал женщине:

– Говорите, говорите. Я пытаюсь выяснить, что у вас в подсознании. Вы раскрываетесь по Фрейду!

Кеша снова рисовал ногтем на окне слепые, подтаивающие дома.

– Какому Пофрейду? Раскрываюсь? – не понимала женщина. И допытывалась: – Ты, что ль, Пофрейд? А по тебе не скажешь.

– Это псих такой один был, Фрейд! – перекрикивал он шум мотора. – Умер уже! По ходу жизни. Но я успел изучить его. Досконально!

– А-а-а, – понимающе кивала она.

Он пояснял ей:

– ...Иностранец – Фрейд! Вы его не знаете, – потом тёр пальцем и царапал ногтем старые бороздки на окне, быстро затягивающиеся льдом, как туманом.

– Они слабые. Иностранцы, – норовя сказать в самое кешино ухо, женщина стучалась лбом в его скулу. – Наши психи крепче – наших даже связывают. Я санитаркой работала два месяца, знаю.

– Зато иностранные психи умнее, судя по Фрейду. Женщина! Зачем вы всё время колотите меня своей головой? – отодвигался Кеша, трогая ушибленную скулу с осторожностью. – Почему вы стремитесь меня хоть чем-нибудь, да травмировать? Я же вас ничем не обижаю. Ни головой, ни руками.

– Не помрёшь, – смеялась женщина. – Нежный какой. А я говорю тебе: наши психи – умней! У нас один на Марсе даже кем-то работал. Большим кем-то.

– Ясно, – сказал Кеша.

– У него на Марсе свой коттедж остался. С огородом. Он и кур там развёл, на нервной почве. Голландских.

– Там кислород есть, – солидно покашлял Кеша.

– А он говорил, нету. На привозном там живут. Этот псих кислородом как раз там торговал. Он на тебя был точь-в-точь похожий. И думаешь, в какую санитарку он влюбился? Нет, в какую, в какую?

Кеша крикнул и не ответил.

– В меня! Потому что у меня греческий нос! – охотно сообщила женщина. И пояснила: – Я в детстве гречки много ела. На нервной почве. Видишь, повлияло... А ты каких женщин больше любишь?

– Глухонемых! – замахал руками Кеша, отодвигаясь. – Теперь – исключительно глухонемых.

Потом женщина насильно сообщила ему, что ещё полчаса – и автобус остановится «для нужды!» Как раз перед самым выездом из Буянного района. Недалеко от просеки: там – девочки налево, мальчики направо. Только поравняется с автобусом встречным – и остановится. Они всегда стоят там. Вместе! Автобусы! У границы двух районов! Долго! Минут пятнадцать стоят!..

«Пересеть, что ли, во встречный?» – думал Кеша, не отвечая ей совсем. И в задумчивости чесал шрам под шапкой. «А что? Довольно быстро осознал бессмысленность отъезда, – рассуждал он. – Стремительная сообразительность всегда была моей отличительной чертой. Отличительной от прочих. Вернулся навсегда, ибо!.. Ибо...»

И он уже представлял, как перестанет пить совсем, и бриться – тоже, и как будет сидеть в кочегарке, работая там в тепле вместо Брониславы... Примется, бородатый, одиноко и печально читать перед печкой, ночами, в подрагивающем оранжево-розовом свете из поддувала, разные книги из районной библиотеки, и выписывать умные мысли в толстую клетчатую тетрадь. Только в очень толстую – солидную. Хорошей авторучкой, ибо... Ибо... И ещё толстую записную книжку заведёт – для стихов. А третья, амбарная книга, будет лежать открытой на топчане. К концу тихой, задумчивой своей жизни он испишет её до последней страницы, еженощно, мелким почерком поучая всё неразумное колхозное человечество.

И однажды, ближе к рассвету, к нему в кочегарку придёт сутулый, седовласый редактор – завернёт просто так, поговорить: «После той встречи с вами я расхаживаю по селу ночи напролёт. Мне не спится, ибо я недопонял вас когда-то». И удивится: «Да вы же образованный человек, это видно за версту!.. А мой зам – он мизинца вашего не стоит! Вечно в гараже торчит. Извините, я недооценил ваш научный багаж, как последний кретин. И только людская повсеместная молва о ваших удивительных способностях и фантастических знаниях...»

Но женщина в куртке мешала и мешала Кеше, и толкала его локтем. «Пристанут вечно со своей чепухой, как Евы с яблоком. Надкуси да надкуси, – хмуро косился Кеша на женщину. – Думают, если Адама от правильных мыслей отвлекли, то и меня отвлекут. Он, бедняга, из-за них так ничего и не написал. Ни строчки. В отличие от меня... Ну, он старик был. А я – нет».

– ...Почём теперь в городе дома, не знаешь? – надсадно кричала женщина сквозь шум двигателя.

Он поморщился от резкости её голоса, потёр ухо, будто в него попала вода.

– Беда с этими вашими яблоками... Вы прямо уховёртка какая-то, а не женщина, – сказал он недовольно.

И протянул руку:

– Кеша. Поэт, художник. Актёр, широко известный в узком кругу. Практикующий журналист. И... всё такое. Знаю жизнь и законы сцены, ибо!..

Дорога пошла под гору, разговаривать стало легче.

– А мне нравится, когда меня Лялей называют, – обрадовалась женщина. – Меня в городе так зовут. Я же из города сама! Недавно замуж в Шерстобитово переехала. Расписалась, не знаю зачем, на нервной почве... Теперь после матери дом в городе остался, вот, продавать еду. Ну, в плохом районе. Со свалкой рядом... И домишко-то низкий, просто ужас. А всё же – деньги! Правильно, нет? И всё же он – на две половины! С пристройкой! Дом! Пустой стоит! В городе!..

Кеша слушал её внимательно, однако замешкался с ответом, потому что смотрел на мужиков, сидящих в проходе на узлах. Один из них наливал дешёвую водку из плавно раскачивающейся бутылки в подставленный пластмассовый раскачивающийся стакан.

– Ну, хрюкнем! – бодро говорил он каждый раз и ждал потом, чтобы налить в этот же стакан опять. При этом не проливалось ни капли.

Молодой монах на заднем сиденье старался не глядеть на них, разместившихся прямо у его ног, закрытых рясой.

– Эй! Замёрз? – мужик, сочувствуя, протянул стакан с водкой и ему. – На, согрейся! Ряса-то у тебя хоть и стёганая, парень, а всё не теплей туркменского халата. Прими! А чего? Не бойсь, потом замолишь. Ты же умеешь.

Монах покачал головой, отказываясь, и затянул бельевую верёвку, которой был подпоясан, потуже.

– ...Дом продать вам надо? – вспомнил Кеша про Уховёртку.

И поразился её бестолковости:

– Не понимаю, как можно так легкомысленно относиться к ответственному делу. Тут до парадокса один шаг! Вы же, как проникательный человек, должны знать: купля и продажа – занятие исключительно мужское! Сугубо.

Она не ответила, потому что нагнулась, чтобы подобрать обронённую варежку и теперь пыталась нашарить её где-то под сиденьем.

– Эй, ты, шуба! – крикнул разливающий Кеше. – Примешь, нет? Сто грамм? На грудь?.. На, хрюкни.

Кеша подумал – и кивнул с достоинством:

– Безусловно, хрюкну. По ходу жизни. Но только один раз.

Женщина в ту минуту выпрямилась, увидела перед собой протянутый стакан и быстро цапнула его смуглыми пальцами с обломанными ногтями, ещё хранящими остатки вишнёвого лака. Водку она выпила одним махом и до дна. Кеша с неудовольствием крякнул.

– Извини! Больше нету, – засмеялся разливавший, забирая пустой стакан. – Рогом долго шевелил.

– Каким рогом?! – возмутился Кеша. – Что вы этим хотели сказать?!

Но автобус снова шёл в гору, мужики были заняты своим разговором, а женщина улыбалась Кеше, и чёрные круглые глаза её блестели из-под берета привлекательно и живо.

– Вот, бездар-р-рность! Сидит, понимаешь, всякое убожество, – пожаловался ей Кеша в сильном раздражении. – На всяких сумках, узлах... А я лично всегда презирал вещи. Если мне не изменяет память, деньги – это вообще сор. Они не имеют для меня никакой ценности. Ни малейшей притягательности – вообще!

Кеша оглянулся на монаха, полагая, что тому понравились его слова. Монах всё слышал. Однако встречаться с Кешей взглядом не стал, а нахлобучил свою чёрную стёганую шапку поглубже и словно задремал.

– А я вот тоже так считаю! – обрадовалась женщина. – Чего мелочиться? Ну, чего их жалеть, деньги? Один раз живём... Уж если водку покупать, то ящиком, а если наливать кому, то гранёный. Дать так дать! Правильно?.. Плеснули, как куколке. Теперь сиди до автовокзала на нервной почве. Ни два, ни полтора. Там буфет дешёвый.

Автобус стал притормаживать, поворачивать, и женщину сначала качнуло в сторону от Кеша, а потом наоборот.

– Проводишь за кустик? – припала она. – А то я со всеми не могу. Брезговаю я. Нервничаю сразу.

Кеша вышел вместе с ней на обледенелую дорогу и сощурился от яркого солнца и резкого ледяного ветра. Встречный автобус, полупустой, стоял тут же, и оба водителя уже разговаривали о чём-то, опустив стёкла кабин и не выключая моторов. Кеша почесал шрам под шапкой.

– Ты знаешь, я в тот автобус пересаживаюсь, – хмуро сообщил он женщине. – Так что, идём по-быстрому.

– А может, я по-быстрому не умею? – хохотнула она и побежала вперёд, двигаясь на стоптанных каблуках, похожих на стёртые копытца, значительно легче Брониславы. Однако на обочине дороги поскользнулась, взмахнула руками и упала, съехав с насыпи.

Кеша отряхивал с неё снег и приговаривал с досадой:

– Разве можно прыгать, как коза пресловутая, да ещё вертеть головой по сторонам? Так вы можете погнуть свои ножки ещё больше.

Монах, шедший за ними следом, остановился на краю дороги. И женщина рассмеялась.

– Видишь? С нами не идёт, – громко сказала Уховёртка про монаха, оглядываясь то и дело. – Взрослый, а стесняется.

Монах будто не слышал её. Он рассеянно глядел в еловый могучий шумящий лес, размышляя о чём-то, и ветер колыхал полы его чёрной, выгоревшей от времени одежды.

– Ватки-то побольше надо было подстегать! – не унималась Уховёртка. – Женской рукой желательно...

Потом Кеша стоял в стороне, карауля её за кустами и не сразу отводя глаза в сторону. Она присела совсем рядом.

– А ты знаешь, за что здесь людей презирают? Эти кержаки местные? – спрашивала она между делом. – Орут сразу: «Она по всей пьёт! Она по всей пьёт!» Представляешь? Пальцем тычут... А монашек-то – ничего.

Сквозь ветки мелькнула в кустарнике ненароком её смуглая кожа – раз и другой. «Нет, не сорок... – поглядывая мельком, думал Кеша про её возраст. – Тридцать пять... Хм, тридцать один».

Брюки она натягивала, не стесняясь, как это делают дети, и говорила, тягуче улыбаясь:

– А я думала, ты мне сумку до маминого дома донесёшь. Я сала с собой взяла, от свекрови. Солёного. С чесноком... А может, донесёшь? А то я все руки в городе себе оборву. И так два ногтя обломала, аж больно.

Кеша немного удивился, когда понял, что молнию на куртке он застегивает ей сам. И глядит ей в глаза, и чуть-чуть шевелит бровями – для завлекательности.

– Да, тебе хорошо, у тебя полушубок тёплый... – канючила она, поглаживая его рукав. – У меня такого нету.

– Нет, так будет. Иди-иди. Ишь! Уховёртка. Ты уже пококетничала, – спохватившись, нахмурился он, – А я ещё нет. Мне же тоже надо. Полушубок полушубком, но я... Как пронизательный человек, ты должна понимать: у солидного мужчины может существовать жена и супружеская верность, между прочим. Обязанности и всё такое, – однако шлёпнул её по задку вдогон.

– Ой! – отзывчиво вскрикнула она, убыстряя весёлый шаг.

В ту минуту нечто рыжее, быстрое мелькнуло в стороне и исчезло за сугробом, как если бы пробежал меж стволов рыжий заяц. Кеша пригляделся в недоумении – и забыл про то сразу, провожая глазами женщину, взбирающуюся по откосу. «...Тридцать четыре», подумал он, впадая в странную рассеянность. Кеша отчего-то больше не торопился.

– Кочегарка, дер-р-ревня... – бормотал он, передёргивал плечами под замершей осиной и удивлялся сам себе. – Придёт же в голову, в самом деле... Когда я создан совсем для другой жизни! Это же за версту видно!

– ...А дом вообще можно не продавать, – решил он через минуту. – Пустить в одну половину квартирантов. Брать с них плату. Вечный хлеб! И вечная водка, между прочим... Город, всё-таки. Цивилизация. Там же не такая бездарность, как здесь! Там – Хрумкин с блок-флейтой. И Зойка. На скамейке запасных... И потом, разве может слабая пресловутая женщина

одна всем этим распорядиться – всей своей недвижимостью!? Нервная, к тому же... Нет, тут нужна крепкая мужская рука, ибо...

Уже застёгиваясь, он вдруг явственно ощутил: из дальних заиндепевших зарослей, из-под низких кустов, на него смотрит зверь с остановившимся дремучим, диким взглядом. Кеша подался в ту сторону. Под мгновенным солнечным лучом рыжий блеск вспыхнул в кустах – и погас. Только что там сидел кот.

– Не может быть, чтоб тот самый, – не поверил себе Кеша.

Он сделал ещё несколько шагов по направлению к кустам. Но никакого кота и даже каких-либо звериных следов здесь не было и в помине. Только несколько красных листьев бересклета уцелело в гуще заснеженного кустарника. Они дрожали на холодном сильном ветру. Рядом тяжело шумели и раскачивались траурные вершины бородастых елей. Небо быстро освобождалось от беспокойных мелких облаков. И запредельная, глубочайшая обнажённая синева страшно проглядывала из высот мироздания сквозь полуголое земное небо. Но вот понизу опять мелькнул тревожный рыжий блик и спрятался за холмом.

– Да что за наважденье...

На всякий случай, проваливаясь в снег по колено, Кеша заглянул всё же подальше, за кусты и даже встал на широкий пенёк. Отсюда уже открывалась взгляду небольшая, но глубокая низина. На дне её рабочие люди, в фуфайках и шапках-ушанках, что-то ели возле чуть тлеющего костра, деловито разрывая пищу руками. Двое сидели на старом берёзовом бревне, а третий, молодой и коренастый, как бультерьер, стоял крепко и косолапо. Запах жареного мяса донёсся мгновенно. Рядом с бревном блестело горлышко бутылки. За спиной у мужиков темнела огромная старая куча хвороста, запорошенная снегом поверху.

– Слава работникам леса! – прокричал им Кеша с пенёка. – Пильщикам, и, соответственно, рубщикам!

Мужики переглянулись и не ответили. Но молодой, помедлив, коротко махнул рукой, приглашая к костру.

– Не могу! Тороплюсь! – сбивая снег с ботинок, колебался Кеша. – Разве только по быстрому плеснёте.

Мужики снова переглянулись.

– ...Давай сюда! – донеслось от костра довольно глухо.

Кеша сбежал вниз по склону, слабо заснеженному, почти не проваливаясь, петляя меж густых молодых ёлок. Дальше пришлось лезть, утопая в снегу. Но около костра было п-то домиком, но уже разобранным с краю.

– Только в темпе, – потирал он руки. – Я бабу там одну, между прочим, надыбал. Уховёртка – я те дам. Скрытая цыганка!

– Местный? – отрывисто спросил его с бревна невероятно длинный, измождённый человек, поправив ушанку. Глаза его, глубоко посаженные, горящие сильным нездоровым огнём, насторожённо глянули из-под нависшего и мощного лба.

– Какой местный?! – возмутился Кеша. – Я же – городской! Это за версту видно! Поражён вашей непроницательностью. Как можно заподозрить меня в том, что я...

Бутылка стояла непочатая, но мужики не торопились её открывать.

– Ты присаживайся, – вяловато хлопнул по бревну третий – жилистый, почти старик, с коричневым жёстким лицом и с впавшими тонкими губами. – Чего стоишь.

– Да там автобус, – немного нервничал Кеша. – Два! Два автобуса. Я здесь с вами сяду – ни в один не попаду. И так опаздываю, пр-р-роклетье... А, ладно, успею: я же без вещей. Скорей-скорей.

Но парень, кривоногий и кряжистый, обхватил вдруг кешины плечи и, прижав к себе, внимательно заглянул в лицо:

– ...Тебе что, корифан, за падлу – с нами рядом присесть? – негромко поинтересовался он. – Я что-то не понял. Ты зачем пришёл? Выпить хотел? Ну, нальём тебе, братан. В чём дело? Ты присядь сначала.

И парень дружелюбно хлопнул его по спине, а потом подтолкнул к бревну резко и небрежно.

– Я!.. Вы не знаете, с кем вы разговариваете! Я, между прочим...

Кеша осёкся, увидев вдруг, что все трое давно не бриты, и что землисто-серые лица их никак не похожи на обветренные, красные лица лесорубов. В замешательстве он принялся озираться по сторонам. И тут молодой ещё раз толкнул Кешу к бревну, теряя терпенье:

– Чудно дядино гумно! Тебя же приглашают вообще, козёл. Но если тебе за падлу, линяй отсюда.

Стало слышно, как на дороге, за деревьями, сильнее загудели моторы.

– Мужики! Опаздываю. В другой раз! – засуетился Кеша и развернулся было назад. – Всё! Побежал...

Но, будто невзначай, крепкий парень встал у него на пути.

– Слушай, шубёнка у тебя! – восхитился он, ухватив Кешу за рыжий ворот мёртвой хваткой. – Дай померить.

– Да вы что? Совсем уже? Того? – покрутил Кеша пальцем у виска, пытаясь вырваться. – Что вы себе позволяете?! Будет тут всякая бездар-р-рность командовать образованным человеком!...

– Следи за метлой, – сухо посоветовал ему с бревна жилистый старик и пожевал жёсткими впавшими губами. – Фильтруй базар, дешёвка. Присядь, тебе сказали.

– Безобразие!.. – вскричал Кеша, побледнел – и подчинился.

К нему тут же плотно подсел парень, взяв его под локоть. А длинный и лобастый человек снова глянул в Кешино лицо жгущим взглядом – нездоровым, горячечным и прожигающим до кишок. Кешу передёрнуло:

– Почему я должен здесь сидеть? На нервной почве? Зачем?! Я же тороплюсь! По ходу жизни.

Тогда длинный неторопливо вытер руки о стёганные ватные штаны и поднялся с бревна. Вытянув шею, он стоял теперь лицом к дороге. В каком-то из автобусов засигналили. Кеша попытался вскочить.

– Мужик, что за дела? – весело дёрнул его парень за меховой ворот, усаживая снова. – Пришёл, хамишь тут. У тебя шубу просят померить, а ты жмёшься, как сволочь. Я же лично с тобой – по-хорошему, правильно? Мне лично для тебя – не жалко: хочешь – на, мерь мой куртафан! Видишь, классный?.. Бери! Без вопросов. Я же вот не жмусь.

Он в самом деле начал было расстёгивать свою затёртую фуфайку, прожженную в нескольких местах, с короткими до смехотворности рукавами.

– Ты примерь, не стесняйся! Мой куртафан тебе в самый раз будет, – уговаривал парень, – Видишь, он модный, куртафан. И рукава почти целые. Насовсем бери, если нравится! Если тебе идёт, конечно. Я не против... А ты – за свой полупердон, что ли, переживаешь? Тебе что, жалко его, что ли?! – безмерно поразился он. – Вот эту вот ляngu рыжую тебе для человека жалко, да?! Чудно дядино гумно. Ну, что, махнулись?

Было слышно, как один из автобусов отъехал.

– погоди, Зуй, – сказал молодому коричневый старик, чутко прислушиваясь. – Человек выпить хотел. Кормач, налей ему. По марусин поясок.

В руках у Кеша оказался гранёный стакан, налитый до рубчика.

– Совсем другой разговор, – приободрился Кеша. – За мирное сосуществование верхов и низов! За наше с вами взаимопонимание, то есть.

Он глянул на старика мельком и выдохнул было «ху!», собравшись выпить, однако ради вежливости спросил непринуждённо:

– Так, где же ваши зубы?

Старик недовольно дёрнул рассечённой бровью.

– Где-где! – от души рассмеялся парень. И пояснил за старика, отворачиваясь: – У кума оставил...

– Пей, – брезгливо разрешил старик. – Тебе выпить надо было. Ты – выпей.

Кеша торопливо опрокинул в себя половину и не почувствовал вкуса водки.

– Всё. Я в автобус, – привстал он. – Один ещё стоит. Мне вообще-то всё равно, в какой.

– Ты допей сначала, чмо! Тебе же как человеку налили! – возмутился молодой. – Допьёшь и вали... Но если ты себя за полчеловека считаешь, вылей половину. Кто тебе мешает?

И добавил со странной проникновенностью:

– Дыши ровней, Капустин: помнём да и отпустим.

– Какой ещё Капустин!? Я Шальин, между прочим...

Кеша вздохнул – и допил.

Стало слышно, как на дороге снова засигналил автобус. Если сейчас на склоне холма появится Уховёртка, то он на ней – женится. Загадав, Кеша обшаривал торопливым взглядом молодой ельник... И будет верен одной ей, этой самой пресловутой, нервной Уховёртке, до самого гроба, будь она неладна со своей малой нуждой... Да, именно: женится. Бесповоротно. Чего бы она потом не выкомаривала...

Он наскоро простил ей всё заранее, готовый страдать и терпеть, лишь бы Уховёртка выскочила сейчас из зарослей на своих стоптанных каблучках-копытцах! Лишь бы заорала с холма, лишь бы замахала смуглой лапкой с обломанными, наполовину вишнёвыми, ногтями, лишь бы крикнула людей из автобуса... Как пить дать, женится!

– Пускай теперь закусит, – вяловато сказал старик.

Автобус вдалеке просигналил ещё раз. Потом двинулся медленно, судя по звуку. И там, на грейдере, стихло всё. Старик с парнем деловито переглянулись. Но длинный прислушивался по-прежнему.

«Разве Бронька уехала бы? А этой... козьей ножке хоть бы хны», – тосковал Кеша, обидевшись на Уховёртку раз и навсегда.

И понял:

«Трясётся в автобусе, среди народа, головой во все стороны вертит от счастья. К монаху безнаказанно пристаёт... Верь после этого женщинам, ибо... Ибо...»

Умное слово, привязавшееся к нему ещё в автобусе, как банный лист, мешало Кеше. Оно снова застопорило все мысли напрочь. Но Кеша сморгнул его с ресниц усилием воли.

«Нет, только бы выбраться! Тогда – никаких женщин вообще. Клянусь!.. – в панике обещал он кому-то. – Ни на одну не гляну. Точно: придётся тогда жить по-другому. С одной Бронькой только. Пешком до неё дойду, гадство. Похороню себя в Буяне навечно! Пропаду пропадом под их большими снегами и кедровыми крестами... Если только...»

Наконец и длинный перестал вглядываться в сторону грейдера. Он опустил на корточки перед костром и, принялся подкладывать наломанный загодя хворост. Невысокий огонь ожил и заплясал, и ясный воздух над ним задрожал прозрачно и трепетно.

– Всё, – сказал длинный старшему, грея руки над костром. – Там дорога чистая.

– Рано, – отозвался старик. – Не видишь? Ботало. Вылезет наверх – уйти не успеем.

Тем временем парень достал из-за бревна костлявый куриный бок. Нахмурившись, он сдул с него пепел и даже сбил щелчком какой-то невидимый сор:

– Эй! Держи. Тут тебе и пососать, и понюхать хватит... На. Гуляй, Капустин! На всю катушку.

Только теперь Кеша заметил на снегу рыжие куриные перья, белёсый мелкий пух, колеблемый слабыми воздушными токами.

– Не хочу! – сказал Кеша про куриный бок. И отвернулся, заносчиво вздёрнув подбородок. – ...Да сказал же вам – не хочу!!!

Парень вдруг оживился:

– Ну, детский сад! «Хочу-не хочу». Слушай, Капустин, тебя наверно в детстве мало ремнём пороли, а? Давай проверим – пороли, нет?

Обшаривая Кешины карманы, парень теребил его неприятно и жёстко.

– Ой, непоротый. Точно – непоротый!.. – приговаривал он почти про себя. – Ишь, топырится... Не нравится, что ли тебе? Капустин? А зачем же ты тогда пришёл? А, вонючка? Ты выпить за одно своё «спасибо», оказывается, пришёл! Так что ли?.. Гляди-ка, документы у него есть!

Теперь парень листал Кешин паспорт, нарочно слюнявя палец.

– Точно, городской, – отметил Зуй с удовольствием. – С пропиской!

Длинный поднялся над костром. Он глядел в огонь неотрывно и угрюмо.

– Ты каким местом расплачиваться собирался? – старый, будто по рассеянности, пнул Кешу по лодыжке, и он взвыл от боли.

Длинный обернулся от костра.

– Нечай! – негромко сказал он. – Мы как договаривались?

Старик молчал, потирая бревно ладонями.

– До Стасовки десять километров, – хмурился длинный. – Пока пешком доберётся, пока наступит... В ночь за нами никто не кинется.

– Не скоро, конечно, доберётся. Если синеглазку на грейдере не поймает, – усмехнулся старик.

– Как он ещё к нам из автобуса гостей не навёл? – удивился парень. – Чуть назад с бугра не сквозанул. Вот бы растрезвонил.

Он засвистал что-то беззаботное и сунул паспорт в свой карман.

Нехотя поднявшись с бревна, старик побрёл вдруг в сторону, к хворосту. И длинный сразу двинулся за ним следом. Чутко прислушиваясь, Кеша смотрел, однако, себе под ноги.

– Лыж у нас нету. А без лыж, по снегам... – вполголоса рассуждал старик на ходу. – Далеко не уйдём. Накроют. Вынесла его нелёгкая... Верней было бы его...

– Попрощаюсь я тогда с вами, Нечай, – предупредил длинный, приостановившись.

Но старик был спокоен:

– Были бы у нас лыжи. Пускай бы тогда шёл. Со своей ксивой. На все четыре стороны.  
А так...

Теперь они молчали оба. И чёрные вершины елей тяжело шумели над ними.

– Ой, плохо тебя зона учила, Степан! – с досадой заметил старик и завернул за кучу хвороста, к одинокой сосне.

– Самое гнилое дело – недобитки! – говорил он оттуда. – Сроду я их не оставлял. А оставлял бы, меня живого не было.

В это время Кеша препирался с парнем:

– Пр-р-роклятье! Я требую назад свои документы! Немедленно!

– Ну, были твои, стали мои. Какая разница, корифан? – дразнил его парень. – Ты же как друг пришёл, правильно?

– Хм... Разумеется, – с трудом согласился Кеша. – Пришёл, пр-р-роклятье. По ходу жизни.

– Вот. Припёрся из автобуса, корешиться стал. Хорошо, значит, у нас всё общее... А ты? У тебя шубу погреться просили – зажал? – заботливо спрашивал Зуй. – Зажал. А с водки сам хорошо разогрелся, да?

– Пожалуйста! За водку? Если нужно заплатить... Я не бедный человек! – обиделся Кеша, но вдруг пригнулся и зашептал. – Слышишь. Возьми деньги. Спаси меня! Я – человек высокого предназначенья, и ты должен...

– Я? Должен?! – удивился парень. – Пош-ш-шёл ты.

И пояснил задушевно:

– Я не беру, Капустин. Никогда! Я – от-би-ра-ю, понял? А спасать тебя... Размечтался. Волки мы! Санитары природы. Вот будешь ты, Капустин, тонуть. Так я тебя по башке стукну, чтоб дерьмо не всплывало. Жизнь тогда чище будет... Всё слабое – это дерьмо, Капустин. Дерьмо жизни!.. И оно не просто воняет. Оно других за руки хватает, ноги вяжет, за собой на дно тянет. Спасать дерьмо – себя губить, потому что оно – всплывает! Всегда!.. А других – топит. Насовсем.

Казалось, он уже забыл про Кешу.

– Жалеть? – рассуждал парень сам с собой. – Детей жалеть надо. Инвалидов. Баб, стариков. А мужика жалеть – только портить. Никакой пощады мужику! Он злой должен быть, как волчара!.. Если его не злить, а жалеть, обабится и всем жизнь испортит. И бабе своей, и детям. Отвечаю... Вот, гляди, Капустин: чем мужик злее, тем баба – добрей. Замечал, нет? Но чем мужик добрей, тем баба злей становится: она противовес создаёт! Естественным образом. Выхода у неё другого нет... А злая баба – плохой знак, Капустин: к войне это.

– К какой войне? – не понимал Кеша.

– К такой! – заорал парень. – Значит, мужики обабились и всё просрали! На всех направлениях. А возвращать всё придётся – через кровь. Просто так тебе ничего не вернут... Ну, вот, если ты мужик, ударь меня. Ударь! Докажи.

Кеша неуверенно сжал кулак и замахнулся. Потом замахнулся ещё раз.

– Ну? – играл парень желваками.

– Бить человека?! По лицу?! Я с детства, между прочим...

– Чудно дядино гумно, – терял терпение парень – Да хоть по чему бей!

– А потом? Я же в вашей власти. Если бы это было у нас, в редакции... Я могу, конечно, но потом...

– А потом я стукну. Вгоню твою бестолковку в брюхо. И я тебя – не пожалею... А хочешь, ласточку устрою? Руки тебе свяжу и на сучок подвешу. А потом – по почкам, по печени, чтоб следов не оставалось. Мне же мусора устраивали. Ласточку. Ничего. Даже не раскололи. Ну, кровью в парашу побрызгал с неделю, все дела. Выбирай!

– Ах, отстаньте! – вскричал Кеша. – Что вы тут себе позволяете? Безобразие...

Он не расслышал многого из того, о чём говорили те, двое, за хворостом. Но посматривал на длинного с надеждой – они возвращались. Парень же хохотал издевательски и мешал слушать.

– ...Может, мне выйти? К сосне? – спрашивал длинный негромко. – Вдруг он её проглядел?

– А как её проглядишь? – тихо возражал старик, приближаясь. – Она там одна такая. Двухверхая... Ладно. Всё равно лыж дожидаться надо. Поманежим пока этого. Там видать будет.

Длинный кивнул и остановился у костра. А старик уселся на бревно, на прежнее своё место.

– Так, за что ты деньги-то мне предлагал? А, Капустин? – снова куражился парень. – Сначала деньги всучить хотел, потом кулачком чего-то замахивался. Ты чего хотел-то?

Слабый шум легковой машины доносился теперь с грейдера, сливаясь с шумом ветра. Кеша вслушался – и приободрился. Пытаясь подбочениться свободной рукой, он закричал во весь голос, разоблачительно:

– Вы меня попрекали глотком! Сколько вы возьмёте с меня – за стакан вашей водки?! Извольте!!! Получите!!!

Однако крик его никого не испугал. Шум на грейдере спал, перешёл в шелест. Машина промчалась мимо. Старик на бревне усмехнулся, не поднимая век. Но Зуй, казалось, не заметил этого вовсе.

– ...А что ты ёжишься, корёжишься, пощупать не даёшь? – деловито напевая, парень выдёргивал из Кешиных брюк рубаху с пришитым понизу денежным карманом.

И грозил ему пальцем:

– А будешь ёжиться-корёжиться, нешупаный уйдёшь!

Торжествуя, он извлёк деньги из синего тряпичного кармана и подкинул их на ладони.

– Что вы... Что вы делаете?! – вконец растерялся Кеша.

– И где ты так глубоко их прятать научился? А, Капустин? Засунул – не долезешь... И главное, от кого? – бормотал парень, пряча деньги у себя в кармане.

– От нас, что ли?! – безмерно удивлялся он. – Ну, ты даёшь... Я же думал, у тебя их нет! Молчит, главное. Нет, дядька Нечай, прикинь: я шарю, стараюсь – он молчит...

– Хреновый из тебя ширмач, Зуй, – добродушно заметил старик и отвернулся, пряча полу-улыбку. – Истрепал его всего, как свинья веник.

– Да куда нам, писарям... – поскромничал парень с достоинством.

Длинный был недоволен всем происходящим и косился.

– Балуешь, Зуй, – негромко проговорил он от костра. – Зря ты. Верни.

Парень быстро взглянул на старика. Тот потёр лицо руками, будто спросонья, и поднялся с бревна, разминаясь. Тогда парень ответил длинному с безшабашным смехом:

– Ну вот, и пошутить нельзя... Она же между ног ему тёрла, сарга! Правильно, Капустин? При ходьбе мешала. А сейчас – видишь: ништяк.

Успокаивая, он похлопал Кешу по плечу:

– Теперь хоть пляши. Налегке. Слышишь? Танцевать теперь будешь, Капустин, не хуже Маресьева: отвечаю!

Кеша, наконец, пришёл в себя.

– Какой ещё Капустин?! Возмутительно. Я, между прочим, популярный журналист! – вскричал он, задыхаясь от гнева. – Широко известный в узком кругу! И всё такое, между прочим... Верните сейчас же! Я, Шальин, вполне могу постоять за себя!.. Я тесно работаю с милицией! И со всеми правоохранительными и следственными органами прокуратуры, еженедельно! Это безобразие может для вас плохо кончиться, ибо!..

Все трое переглянулись снова.

– А я же говорил: подсевайло, – сказал парень. – За километр их чую...

Он почесал за воротом и стал насвистывать скучную мелодию, потеряв интерес к происходящему.

– Рамка у тебя? – рассеянно спросил его старик.

Тот кивнул.

Две вороны пролетели низко над кучей хвороста. Они опустились на снег неподалёку. И та, что была крупнее, внимательно посматривала теперь на Кешу быстрым ускользящим взглядом.

– Я буду кричать! – визгливо заявил Кеша. – Или я сейчас же уйду, или!.. Если бы вы держали тут какого-то рядового, местного человека, которого никто не будет искать! Был бы я

русский, татарин, башкир, это бы вам наверняка сошло с рук. Но во мне, может быть, есть мессианская кровь! Предупреждаю: тогда своими противоправными действиями вы восстановите против себя всю мировую общественность. В этом случае вам не будет пощады! – размахивал он руками. – Вас тогда достанут из-под земли!

– А давай проверим: как она, твоя кровь, течёт – как у нас, или по-другому? – охотно кивнул Зуй.

В ту минуту рядом с Кешей что-то нежно клацнуло. Молодой зажал ему рот одной рукой, другую сунул под полушубок и прижал под ребро нечто острое. Кеша вытаращил глаза, замотал головой, соглашаясь на всё.

– Курить!.. Дайте покурить!!! – прокричал он сквозь чужие ненавистные пальцы, пахнущие скверным табаком и куриным мясом.

Вороны не испугались его крика и даже не отскочили, только подняли головы выше. Длинный человек, снова присев на корточки перед костром, поворошил угли прутом. Они были подёрнуты пеплом – таким же сизым, как колючие шишки репейника, торчащего из снега неподалёку.

– Покурить! – кричал Кеша. – Дайте!

– Ну, угости его, – сказал старик с равнодушной тоскою в голосе.

Молодой нехотя убрал руки. При этом что-то легко клацнуло снова. Обернувшись на звук, Кеша увидел только, как он прячет в карман штуковину нестрашную и даже весёлую – наборную, цветную, будто детский леденец, штуковину в металлической оправе, размером с футляр для зубной щётки.

Порывшись в карманах фуфайки, молодой достал пачку сигарет. Они торчали не фильтром наружу, а обратными концами, и были все – разные. Кеша выбрал ту, которая была длиннее прочих.

– Слушай, а ты, часом, не коммунист? Самую дорогую хватанул! – озадаченно заметил парень, оглядываясь на старика и давая Кеше прикурить от едва занявшегося прута, выхваченного из костра. – Носом только не дуй. На огонь носом не дуй, сказал!!! Гаснет.

– Я?! – удивился Кеша, с достоинством выпустив клуб дыма. – Я... потомственный. Конечно. Мой дед – герой гражданской войны, между прочим. Непризнанный. Защищал интересы. В составе бригады, успешно. И я сам всегда на стороне... хм, всех угнетённых масс!

Кеша закашлялся.

– А если ты коммунист – кури, падла, «Приму»! – вдруг, перейдя на шёпот, выверился старик. – Ты одну «Приму» должен курить, падла, если ты – коммунист! С народом ты, коммунист, во всём должен быть. Хрен ли ты дорогую вытянул?

– Эй, Капустин! Забыл что ли? – опять развеселился молодой. – Ты же всё лучшее простым людям обязан отдавать. А не себе загребать, кишка!.. Иначе какой же ты коммунист?

– Ну... Я вообще-то больше, конечно... У меня совсем иной уровень образования! И – запросы. Возросшие. Соответственно, – оправдывался Кеша, торопливо глотая дым. – Я давно перерос коммунизм! Парадокс, но... Западная культура, Бодлер... «И зачумлённого не принесёт плода»! Моя общественная деятельность...

– А-а! Демократ, – вдруг шагнул к нему от костра длинный, словно обрадовался долгожданной встрече. – Народу, значит, служишь... Ах ты, крыса. Так служишь, что сирот полна Россия.

– Брось, Кормач. Охота вам тубанить, – не одобрял серьёзного разговора парень. – Дядька Нечай! Вон, Кормач опять завёлся. Скажи ему! А то кровью изойдёт. Как в прошлый раз.

Старик, однако, молчал. Тогда парень встал и оттеснил от Кеши длинного:

– Тихо, Степан. Какой он демократ? Фуфло... Демократы в Москве сидят. Икру чёрную жрут и народ каждый день опускают.

– Ну и крыс развелось! Из страны всё кряду тащат, сволочи... – оттеснённый к той стороне костра, всё удивлялся длинный, стараясь успокоиться.

Однако нездоровый, жгущий взгляд его снова остановился на Кеше и лицо передёрнулось от сильнейшего омерзения:

– ...Крысы! Мужиков в зоны ни за что гонят – в туберкулёз, толпами. Без работы держат нарочно, чтобы воровать шли. И тогда сразу – за решётку их, за решётку! За кусок хлеба для детей – гонят срока мотать... На войну парней тыщами кидают: на убой. Этим бы парням как раз баб брюхатить, а их, как стадо, как бычков, под нож, под пули... Торопятся, крысы: чтобы русских меньше было. Из квартир за долги выкидывают, на помойки, подыхать... Если много нас будет, не справятся они с нами. Ну, демократ – ну, крыса! Вышли мы. Против вас – вышли!

Закашлявшись, длинный согнулся и резко сплюнул в снег кровью. Потом отёр рот тыльной стороной ладони.

– Ну, я же говорил, – вздохнул Зуй, огорчившись. – Заводиться тебе нельзя, Кормач.

Старик подождал, пока длинный прокашляется.

– Ты на кого силы тратишь? – брезгливо спросил он длинного. – На фраера беспонтового? Мы тебя для этого из больнички вытаскивали? Сами в тубак к тебе залегли, бактерии глотать?

И повернулся к Кеше:

– А ты... Если демократом ты себя считаешь, то вообще – одну махру ты должен курить, паскуда. Махру! И жрать – говно, понял?! Понял-нет? Ответа не слышу.

– ...Говно одно ты должен жрать, если ты – демократ, едрёна мать, пока народ лучше не станет жить!!! – громко, как глухому, проорал Кеше Зуй.

– А вы что, крысы, делаете? – поигрывал старик спокойной, беспощадной улыбкой. – Из нашей страны тянете, галманы.

– Крысиное племя... – прерывисто и устало хрипел длинный. – Оборотни. То коммунистами прикинутся, то демократами, крысиное племя... Все соки из нас выпили, паразиты, партийцы.

– Ну, Кормач! Нашёл, кого уму-разуму учить, – не переставал удивляться парень. – Капустин-то тут при чём? Не видишь, долбодуй он рядовой. Чудно дядино гумно.

– А тебя кто за язык тянул? – тут же накинулся он на Кешу. И передразнил: – «Западная культура», «общественный деятель»... Да тебя за одни эти слова, где хочешь, вверх тыквой подвешат. Ты же не в Москве, правильно? Ты – в России.

Но, поглядывая в сторону грейдера, Зуй думал о чём-то ещё. Он уже снова сидел на бревне, и посвистывал от скуки, и томился в непонятной, ленивой тревоге.

Длинный хотел что-то сказать – и закашлялся ещё надсадней. Однако вспышка его уже прошла, она сменилась подавленностью. Старик тоже озабоченно поглядывал в сторону дороги.

– Ты бы, правда, глянул, Степан. Может, он там, у сосны, ходит? Что-то долго его нет. Затягивается дело... Иди. Утихнешь заодно.

Длинный кивнул и ответил глухо:

– Пойду, гляну. А вы тут... Зуй, слышишь? Нельзя нам... того, кто под руку подвернулся, – однако медлил.

– Да кому он на хрен нужен?... – коротко зевнув, откликнулся молодой. – Эх, Капустин, взять бы тебя с собой. Полы-то хорошо драишь? Носки бы нам стирал... Так ведь жратвы на тебя не напасёшься. Эх ты! Кишка ты, кишка... На, прикури. Погасла сигарка твоя.

– Я, вообще-то, могу никому и ничего не сказать. Не привлекать, по ходу жизни, правоохранительные органы, – заискивая, предложил Кеша парню и принял от него дымящийся прут. – Только деньги тогда желательно... получить. На попутку. А паспорт... Ладно. Я новый получу. Через месяц. Всё равно этот со штампом.

– Дошло! Зуй, отдай ему, что ли, всё. Чтоб не базлал пока, – небрежно согласился старик.

Кеша торопливо закивал. И Кормачов благодарно взглянул на Нечая. А парень, недовольно крикнув, полез в карман, за деньгами и паспортом – но не отдал ничего.

– Счастливый ты, Капустин... – ворчал он. – Все за тебя заступаются. Особенно я. Ладно. Живи. Навязался ты на мою голову... Тебе чего в автобусе-то не сиделось, корифан? К нам-то ты зачем выскочил? Колобок?

– Я... Я целиком на вашей стороне! – прокричал Кеша. – Я готов помогать. Потом! Из внешнего мира! По ходу жизни, так сказать. Всегда!.. А деньги?

– Глохни, гнида. Сиди теперь и молчи, – рявкнул на него старик.

Он хмуро следил, как Степан ступает по Кешиным следам, поднимаясь в гору меж молодых, частых ёлок. На самом выходе из лощины Кормачов свернул направо и скрылся за ветвями.

Кеша всё крутил головой, пытаясь понять, на кого ему теперь рассчитывать. Подумав, он вытащил изо рта дымящийся окурок дорогой сигареты и протянул его старику:

– Пожалуйста... Докуривайте. Я отдать могу. Вот, вам, как старшему. Лучшее. Не жалко.

Коричневое лицо старика исказилось. И тут на Кешу грубо заорал молодой, вышибая сигарету на снег ударом снизу:

– Да кто после тебя хоть раз курнёт, козёл!? Парашник ты! Кто после тебя чего возьмёт, чмо поганое?

– Если я когда-нибудь окажусь у рычагов власти, что вполне возможно!.. – бодро лепетал Кеша.

– Возможно, возможно, – успокоил его старик. – Туда, к рычагам, только таких русских берут. Чтоб всему миру показывать: вот какие они есть. Время отрицательного отбора!.. Зуй, чтоб я его больше не видел. Не люблю, когда городские базлают.

С четверть часа Степан Кормачов стоял за двурерхой сосной на границе двух районов. Металлический крашенный щит рядом с ним обозначал красными буквами, что на линии кювета кончается земля Буянного. А сам грейдер пролегал уже по земле района другого, Шерстобитовского. И от этого грейдера начиналась та суетливая, угрюмая жизнь, из которой Кормачов вырвался: с затхлым запахом канализационных труб, с дремлющими просёлками, с грязными пригородами. С изувеченными парнями в крапчатых беретах, хмуρο глядящими из инвалидных колясок на рубли, с чумазыми белоглазыми беспризорниками, со злыми, резкими бабами и взъерошенными мужиками. Эта жизнь простиралась однообразно и угрюмо до самых клацающих красных, тяжёлых решёток, опускающихся перед лицом человека, одна за другой, трижды.

Он заглянул зачем-то на шерстобитовскую сторону щита. Здесь, на облезлом белом, была оставлена случайным каким-то автобусным пассажирам тоскливая карандашная надпись:

«Всё так дико и странно. И в стране как в говне.

Что ж ты, мецо-сопрано, лезешь в душу ко мне?»

Кормачов суеверно поёживался. Несколько шагов через кювет – и ты на чужой дороге: опять – не дома. Враждебный человеку мир, откуда они вернулись втроём, снова лежал перед Степаном, в опасной близости. Он тускло и беспощадно холодно поблёскивал полированной наледью колеи.

Над дорогой широко, беспрепятственно летел равнодушный, посвистывающий ветер. И мрачные ели слушали его с двух сторон, будто живые, тяжело поводя тёмными ветвями. Бледное лицо монаха не мелькнуло нигде, нигде не зачернела разлетающаяся его длинная ряса.

Но Степан медлил покинуть границу. Потому что смертельно хотелось ему бежать назад, в тихую лощину и в безопасность, и превозмочь себя было трудно. Открыто, долго и холодно смотреть в чужой мир, словно в глаза судьбе, казалось теперь необходимым, будто и значило – сломить власть того мира над собою уже навсегда. И поединок длился – под посвист широкого ветра над пустой блестящей дорогой, под траурный, суровый шум вековых елей.

Однако тоска уже отпускала сердце на волю: высокая, нежданная песня синицы, лёгкая и короткая – звень-звень! – заставила человека улыбнуться. Он не спеша пошёл назад, к костру,

отирая влагу с лица. Веки горели и жгли глаза – то ли от температуры, то ли оттого, что нахлестало их ветром до слезы.

Старик и Зуй неторопливо пили стоя, у костра, прямо из бутылки.

– Вяжет нас Кормач по рукам, – рассуждал в это время парень. – В очистительный пожар какой-то верит! Коттеджи и фирмы жечь собирается. Не понимает, что кровь всё очистит. Не разбегутся крысы от огня. Они его сами давно запалили, огонь... Горит, горит село родное. Горит вся Родина моя... Мы горим, а они крепнут! Кровью такой огонь тушится, не пожарами. Одной кровью только... Вот, упёрся Кормач в огненную месть какую-то. А что дальше-то будет, дядька Нечай? Монаха к нам пристёгивает...

– Раз автобусом не приехал, монах, то вряд ли приедет, – махнул рукой старик. – Может, и к лучшему. А связать... Никто нас на воле не свяжет. Никакой идеей. Если сами её не примем... Только скучно, Зуй! Скучно без идеи на старости лет. Потому что воровского закона не осталось на земле... Сам знаешь, кого теперь коронуют. Мерки старые попадали. Новые нужны... Скучно помирать без всякого правила, Зуй! Не может так человек. Скучно... А Кормач, он мало сидел. Мелко плавал Кормач. Душу себе рвёт, как баклан. Не понял ещё ни рожна. Про сохранение энергии – не понял! Без толку сидел: главного не уяснил.

– А я так считаю. Гуляй, пока гуляется! И всё... Зачем воровскую жизнь с идеей-то свивать, дядька Нечай? Не совьются они. Мечты одни... – презрительно сплюнул Зуй. – Умственные испаренья.

Он замолчал, вглядываясь в сторону грейдера. Наверху качнулась еловая ветка раз и другой.

– Ты доживи сначала до моёво! – раздумчиво посоветовал старик. – Потом считать будешь.

Степан, стараясь не проваливаться в снег, хватался за кусты и тревожно озирался по сторонам, спускаясь в лощину.

– Капустина ищешь? – весело крикнул Зуй. – Не ищи! Мы его на волю отправили. Вон той дорогой.

Кормачов глянул на следы, однако ничего не понял в них.

Старик отпил и подал бутылку подошедшему Степану. Но тот протянул её парню и отпил уже последним. Потом сел на бревно, а там и вовсе – прилёг, подложив локоть под голову.

– Монах-то, говорю, не приехал! – повторил Зуй.

– Андроник он, – сказал Кормачов с бревна. – Отец Андроник. Мальчишкой его знал.

– Монах с возу... – пожал плечами Зуй. – Нечего было и сговариваться.

– Нет, без них нам нельзя. Без них мы... – Кормачов покосился на хворост, однако не увидел там ничего подозрительного. – Подождать надо его. Тут... не в лыжах только дело.

– Чего ж не подождать? – кивнул старик.

Кормачов внимательно посмотрел на старика. Тот отвернулся не сразу. Но Зуй, не выдержав, рассмеялся:

– Вон он! Капустин. Кемарит. Как баба на вокзале. Куртизан, туды его в дышло.

Вдали, где от лощины начиналась просека, и в самом деле, сидел под тонкой осиной Кеша, будто в смирительной рубахе. Пуговицы на его полушубке были застёгнуты все до единой, а рукава затянуты за стволом. К тому же был он примотан к осине и завязан ещё на крупный узел длинным своим шарфом. Кажется, Кеша дремал, успокоившись совершенно.

– Отвели его подальше. Базлал сильно, – сказал старик. – Надоел... Не люблю, когда городские мельтешат.

Кормачов промолчал. После ходьбы и после выпитого ему стало хуже. Лицо его заострилось, неровные красные пятна проступили на скулах, а глаза затуманились. Он вытянулся на бревне поудобней.

Старик устроился у него в головах, на краю, Зуй – в ногах. Насвистывая, парень нашёл вскоре у себя в кармане какую-то бумажку.

– Гляди-ка, от Капустина ремки остались... «Мне снился сон... что дядя Петя... построил домик из воды» – медленно прочёл Зуй.

И спросил Кормачова в недоумении:

– Чой-то? Стихи что ль какие-то?

Кормачов усмехнулся, утирая крупный пот со лба:

– Точно, демократ. Раз «построил домик из воды»... Крысиное племя.

– Трясёт же тебя! Давай, полушубком накрою, – предложил Зуй, кивнув в Кешину сторону. – А то млеет там всякое чмо в тепле, как вошь платяная... Да, посидел бы он у меня на колу, если б не ты, Кормач.

– Мне от костра жарко, – сонно ответил Степан, не поднимая головы.

Старик то ли задремал тоже, сидя на бревне, то ли глядел на огонь сквозь коричневые морщинистые веки, обхватив колени руками.

– А вот кино, «Калина красна», когда у нас в малолетке шло... – вспомнил вдруг он со слабой улыбкой. – Все стулья тогда разломали к едрене фене. Чуть стены не разнесли. А свист, крик был!.. Шукшин этот... Не сидел сам, волчара... Ну, все мы – волки, вообще-то! – закончил он примирительно. – Нет, раньше малолетка была как малолетка. Всё правильно раньше было. Не то что теперь. Там у нас – деньги силы не имели!

– Дядька Нечай! Расскажи, как ты в малолетке коробочки для цветных мелков клеил! – попросил Зуй, скалясь для хохота заранее. – На Меловых горках! А чего?

– Было там, кому клеить, – отмахнулся от воспоминаний старик, но улыбнулся.

– Или вот ещё! «Преступление и наказание»! – звонко рассмеялся молодой. – Достоевского! Мы на пересылке, в Уральске, неделю вслух читали, вся камера от хохота влёжку лежала. На каждой странице – ржали, как кони на заре!.. Да, весёлая книжечка была.

– Зря ты, Зуй. Достоевский каторжанин был. В Семске сидел, – с уважением заметил Кормачов, приходя в себя. – Этот знал, что писал.

Молодой и старик переглянулись с двух концов бревна, понимая друг друга.

– ...Вот бы я какого козла замочил, а потом только бы про него и думал! – то ли поморщился, то ли улыбнулся старик. – Ходил бы месяц – и одного этого козла в башке бы в своей держал, как в стойле... Да я бы на другой день не вспомнил, кто он был и как его звали.

Парень и старик посмотрели в Кешину сторону одновременно. Потом Зуй нашёл у себя в кармане ещё одну бумажку.

– На, читай, – протянул он её Кормачову.

– Давай сам, – отмахнулся Кормачов, заворочавшись на бревне.

– Мы встретились тайком... Тем дивным вечерком... Смеялись от любви... Хрусталики твои!

Все помолчали.

– ...А может, я зря его? Трепал? – засомневался молодой.

– Не зря! – нахмурился старик.

Зуй подсел к костру. И стал не спеша сгребать палкой полубогоревшие сучья в середину, а потом прилежно строить над ними шалаш из палок и веток.

– Дядька Нечай! А что зло – по-твоему?.. – вдруг спросил Зуй старика. – Вот, зло, оно – что?

Старик молчал.

– Когда вся сила в деньгах, зло! – ответил с бревна Кормачов, не поднимая головы. – В такой стране, где жизнь на деньгах установлена, русскому человеку жить невозможно. Или устройтво меняй, против власти денежной поднимайся, или помирай. А жить – грешно. Невозможно нам.

– ...На Рождество как раз пять человек зарыли, – сказал старик, пристально глядя в огонь с бревна. – В полиэтилене в землю опустили. Туберкулёзники все, сопляки. Нам, грешным, прокуренным, прочифирённым, ничего, а молодняк... Мрёт зона! Вдруг ночью снится: Архангел. К чему?! Думал-думал – понял: хватит зонедохнуть. Как Михаил сбросил всю мразь бесовскую с неба, так мы должны сбросить всю мразь продажную со всей земли нашей. Чтоб Россия чистая от зла стала. Народец продажный – вот зло!

Кормачов привстал с бревна.

– А как ты понял, что Архангел это? – с сомнением спросил он. – Как понял, что – не талала?.. Святые силы, они ведь святым людям являются. А нам – талала одна.

– А кто же ещё к нам придёт? – удивился Нечай. – Это к святым святыя приходят, постники – к постникам. Они сами всех прощают – и к ним приходят такие же: смиренники

одни... А к нам – тот, который в битве всегда. Он! Воин главный, который со злом в сражении вечном... Не простил же он нечисть ни разу, правильно? Значит, как мы.

Кормачов озадаченно помолчал и снова лёг. Старик же продолжал тем временем:

– ...Думаю: да! Если уж Михаил Архангел к нам, за колючку, явился, значит, всё: кроме нас никто этого не сделает. Некому, значит, больше – зло сбрасывать с земли. Не осталось, значит, уже на воле никого, кто бы не думал про своё только брюхо...

– Если небо очищать войной пришлось, то и землю без войны не спасёшь. Всю её Зло захватит и нас изведёт, – легко согласился Зуй. – Это я кой-как понимаю. Только...

– Тогда, Степан, я про тебя вспомнил, – продолжал старик бесцветным голосом. – Может, правильно Кормач там говорит? Хватит блатным для себя гулять, куролесить. Мстить за народ пора, чтоб запылали без пощады – коттеджи эти... Другое время надвинулось. Время возмездия. Мелкими отрядами воевать будем: сарынь, на кичку!.. Думаю: надо Кормача из больнички вытаскивать. Нам, значит, начинать. Пора!.. Вспомнят они теперь, наверху, про голь перекатную. Вспомнят слёзы вдовьи, сиротские. Вспомнят наши туберкулёзы. Всё вспомнят. Как только запылают их дворцы без пощады!.. И если Михаил Архангел к этому приснился, значит, хорошо со Степаном из больнички уйдём. Зуя, думаю, ещё к себе подтянем: свой! Пускай ему туб какой-нибудь в спичечный коробок харкнёт, а с медичкой он там, у себя, всегда договорится.

– Да, с коек мы не плохо соскочили, конечно. Ну, ты же и раньше хорошо отрывался, дядька Нечай! – сказал Зуй. – Без всякого святого сна. Нормально.

– То с химии было, – неохотно отозвался старик. – Какая там охрана?

Кормачову надоело лежать на жёстком, и он сел, упершись ладонями в бревно.

– Они – зло, – указал ему старик в Кешину сторону. – Интеллигенты. Когда враг по народу из Москвы бьёт, эти дешёвки удара не держат. Вихляются. На манки поддаются, себя продать наперегонки спешат. Хоть кому, продать... Защита у народа прогибается! Он, народ, без толку на партии надеется. А надо – на себя.

– А про Архангела-то что я сейчас понял? – возбуждённо заговорил Кормачов. – Вот мы, беглые, кто? Нас – на свете нет. Невидимые мы. Считай, что ангелы. Ангелы мести!.. Народ на воле мрёт – пронумерованный, и слова он против своей гибели сказать не может: за колючкой окажется... А нам, беглым, всё можно! Потому что нас – нет!

– А ты попробуй, останови того, кому терять нечего? – согласно продолжал старик, выговаривая слова медленно, будто из полусна. – Облезешь останавливать... Нет, пока человек не понял, что он – только мешок с костями, с мясом и дерьмом, он – слабак. За шкуру переживает. Но если понял, то живёт он как после смерти своей. И вперёд – как после смерти идёт! Его пуле не остановить.

– А что? Был ты урка, а стал – ангел мести!.. – прикидывал сам с собою Зуй, поигрывая огромной сосновой шишкой. – Не хило. Только...

– Да они там, наверху, уже весь народ сделали такой, что он смерть свою пережил, – почёсывал Кормачов горящие, пятнистые скулы. – Они думают, если обобрали, приморили человека за одно то, что он – русский, то истребили и душу его? Не-е-ет: велик такой, умерший при жизни, человек! ...Нет сильнее уничтоженного при жизни народа. Потому что уже одной голой душой он живёт. А душа металла не боится.

Зуй, однако, посматривал на Кормачова насторожённо:

– Ты потише давай. Опять харкать начнёшь. Молчал бы что ль, Кормач? Неймётся тебе.

Но тот не слушал его и продолжал ещё упрямей:

– ...Неодолим человек, на собственной жизни крест поставивший и себя заживо похоронивший. Нет сильнее того человека, которого власть уничтожила жадностью своей, вот что! Не оставили народу выбора. Теперь он, властями похороненный, властями отпетый, всеильным стал!

– Не успеем их передушить, крутых, они весь народ передушат своими ценами... Сами – не останутся. Как росوماхи, передушат, – кивал старик.

Но Зуй слушал старших, ворошил угли прутом и усмехался в сторону:

– Ангелы, значит?.. – бросил он шишку в огонь. Она схватилась пламенем сразу и стала распускаться на глазах в огненное алое соцветие. – Ангелы возмездия? Да нет, я вообще-то ничего. Чем за колючкой дохнуть... Можно помечтать, конечно. Как по всем лесам штрафные роты соберутся, по всем степям. И пойдут чёрные ратники на хоромы! Вольные ратники русского освобождения. Красиво... Чёрная масть, она одна с крысами, конечно, поквитается. Больше некому. Только у них – охрана, у крыс! Красная масть с винтарями их сегодня охраняет. С калашами. Офицерё... А с другой стороны, по-хорошему народ добра не дожждётся.

Оглядывая холм, Зуй насвистывал поначалу, а потом запел негромко:

– Горит, горит село родное...

Горит вся Родина моя...

Пел он хорошо, не на показ, хороня тихую тоску в себе и не выбрасывая её из души на людей нисколько. Но смолк быстро, с досадой то ли на себя, то ли на других, и задумался.

– Так ведь крысы-то, они все на мушке у своей же охраны, – сказал ему Кормачов беспокойно. – Зря вы – про офицеров: спустят они однажды свои курки в толстые их затылки. Одновременно. По решению своего какого-нибудь военного тайного профсоюза. И все дела.

– Помечтать, чего же? Можно, – опять заухмылялся Зуй. – Умственное испаренье произвести!

Но, коричневое и жёсткое, лицо старика напряглось от раздражения.

– Офицеры – красная масть, Кормач! Красная масть – гнилой посох для народа: где обопрёшься на него, там он подломился, – презрительно морщился он. – Зря на них надеешься. Ох, зря! Им приказ дадут в своих стрелять, будут в своих палить. Они без приказа – не люди, шестёрки... Нет, крыс красная масть не сгонит, а ещё и сторгуется с ними, рано или поздно. Крыс сгонит – чёрная масть! Одна чёрная масть Россию теперь спасёт, такое моё пониманье. Поднимется и спасёт, потому что весь народ теперь чёрной мастью стал: сплошь против власти он. А наше дело – начать.

– Красные – они же интернационалисты, мать иху в корень, – ругался Зуй. – Служаки! Всем народам сразу служат, кроме одного – кроме своего: русского. Их командование такое, что за русских пойти – никогда приказа не даст. Оно для защиты властей от русских – создано.

– Командование? – задумался Кормачов. – Ну, и среди командования люди наши ещё остались. Немного их, правда...

Зуй отвернулся, рассеянно насвистывая.

– Нашёл русских. Да они с каждой полученной звёздочкой часть национальности теряют!.. Ладно. Допустим. Чёрная масть очистила всё. Так потом опять красная масть наверху сядет! – догадался он. – И, как только зажиреет, опять всё Америке сдаст. Один раз сдала – и ещё раз сдаст. Крысы – они же все из красных произошли. Демократ – он вчерашний коммунист, правильно? А сегодняшний коммунист – этот тот же самый их кореш, которого демократы в долю не взяли. Не досталось ему ничего, он в коммунистах поэтому засиделся. А кинут ему сверху кусок – сразу в демократы выскочит: вырастет! До своих дотянется. Одно слово – партийцы!

– Дальше не наше дело. Наше дело – поквитаться. Скучно на тот свет в одиночку уходить, вот что! Прихватим мы с собой туда иуд. А там, как Бог положит, – устало ответил старик. – Для чистых людей путь освободим. А там уж пускай они сами держатся, чистые люди, как сумеют.

– Вот! Чистый человек потом придёт! Правильно. Так дальше Бог и положит... Поэтому монах-то наш в больницу и прилетел, – улыбнулся Кормачов. – В ряске своей как с неба упал: из Буяна ящик лука привёз, от цинги. «Хватит, – говорит, – России на нарах гнить. Народу в темницах уже столько же, сколько на воле. И будет его здесь ещё больше: всех обобранных властью людей в зоны загоняют! К тому идёт, вырывайтесь».

Помолчав, Кормачов переспросил старика:

– Архангел, говоришь, всё-таки это был? – и повторил его слова в раздумье: – Мы есть – и нас нет... Летучие отряды невидимых, несуществующих людей, значит, будут возникать. Там, где их никто не ждёт. Изгонять торговцев будут бичом, из нашего Храма: России... Были урки, а стали...

– Ангелы! – подсказал Зуй с непонятной, извилистой улыбкой.

– Невидимые ангелы мести, – не принял его улыбки Кормачов.

Старик сдержанно кивнул ему:

– Чтобы каждый палач народа нашего, каждый обидчик знал: достанем его за это из-под земли, вздёрнем на дыбу, развесим их по деревьям, по фонарным столбам! Правильно, Степан.

– Да не кровь! Огонь всё очистит, – задыхаясь, возразил Кормачов. – Когда всё их добро огнём возьмётся, сами они от народа отвалятся, с инфарктами. Они без добра, у сирот отнятого, – никто: бесы полые, пустые.

Закашлявшись, Кормачов схватился за грудь, поднялся с бревна и густо сплюнул красным. Потом отёр губы. Но Зуй всё улыбался непонятной своей улыбкой, пытаясь натянуть короткие рукава фуфайки хотя бы на запястья, широкие и красные от мороза.

– Горит, горит село родное... – скорее проговорил, чем пропел, он. – Да, много с тобой их развесишь, Кормач. Хоть с судом, хоть без суда. Оттого красиво ты в больничке всё

рассказывал, про месть без крови, что сам ни одного не смарал! А как смарал бы, тогда бы вот я на тебя поглядел. На опытного... Горит вся Родина моя!

Однако, подумав, одобрил всё же:

– Сарынь на кичку – это я всегда «за». Только, извини, Кормач, про религию твою я всё равно то понимаю – то нет. И тебя не понимаю, дядька Нечай. Вот слушаю и угораю: у нас руки в крови, а мы тут – про Бога. Про Архангела. Про Христа... Мокрушники мы с дядькой Нечаем! А сами святые разговоры ведём. Чудно мне от этого. Сильно чудно – дядино гумно... Глядите-ка! Он, что ли?

Зуй показывал пальцем на вершину.

Старик и Кормачов встали. Со склона в котловину летел на лыжах, огибая редкие ели, поджарый, высокий монах. Три пары лыж были привязаны к его спине и торчали подобием крыльев. А полы стёганой рясы развевались по ветру. И снежный белый вихрь вздымался и вился за его чёрной спиной.

– Точно, монах мчится... Шестикрылый! – обрадовался Кормачов. И вздохнул глубоко, хватаясь за грудь: – Андроник. Он. А то... Тяжело что-то, братцы. В душе булыжник лежит. Право слово.

Монах сделал крутой разворот около костра и отёр лоб рукавицей.

– А мы думали, зря ждём! – улыбался ему Кормачов.

– Всё – не зря! Никакого «зря» на свете не бывает, – кивал монах. – Радуйтесь, радуйтесь, и ещё раз говорю вам: радуйтесь!.. Мне мимо вас на автобусе до Стасовки проехать пришлось. Там я и лыжи раздобыл, и припасы, глядите–ка.

Зуй развязывал лыжи на его спине, а сам монах уже раскрыл тяжёлую торбу, снятую с пояса. Он вынимал из неё каравай домашнего хлеба, огромную жестяную кружку и три лунообразных круга.

– Молоко замороженное, – деловито говорил монах, раскладывая всё на снегу и мешая тем Зую. – Отколем сейчас кусок да растопим в кружке хворому, на костерке-то вон. Попьёт... А тут – луковки. Ох, лучок! В походном деле без луковки никуда.

– Нам бы чаю лучше, – отвернулся Зуй. – Плиточного бы захватил.

– Мы ведь чуть было не ушли, – всё изумлялся Кормачов. – И как же ты нас застал, отец Андроник?

– С помощью, с помощью, – перекрестился монах, забрал у Зуя верёвку и подпоясался ею, сложив втрое. – Препояшем чресла на доброе дело.

– Да ты и так весь в верёвках! – веселился Зуй.

– А и правильная твоя критика, – легко согласился тот, отошёл в сторону и прилежно высморкался, прижав сначала большим пальцем одну ноздрю, а потом другую. – Правильная.

Утёршись рукавом рясы, монах выхватил из-за голенища валенка короткий сапожный нож:

– Поделим вервие, братцы, – приговаривал он, разрезая другую верёвку на части. – Препояшемся. Всё за пазушку можно положить, препоясавшись. Луковки-то, луковки к телу спрячьте: не замёрзли бы луковки.

– Устал, чернец? – спросил его старик.

– Это тебе не кадилом махать! – с удовольствием заметил Зуй.

– Ничего. Километров десять только на лыжах гнал. Да вот, снежку поем. Посидим маленько и пойдём, – подвернув полы рясы, монах подсел к огню. – Ничего. Я ведь и поесть в Стасовке у духовного лица успел. Сами-то как?

– Ночами шли, – откликнулся Кормачов. – В заброшенных домах спали. Много порушенных изб на Руси нынче, полным-полно. Вымираем, батюшка! Ещё в сторожке переночевали разок. Только двое последних суток тяжёлые были, а так...

– Ну и ладно, – кивнул монах, надкусывая снежок. – А толковали про что?

Все трое переглянулись. И Зуй усмехнулся от костра, устраивая алюминиевую кружку с кусками молока на углях:

– Да вот, говорили: «Эх, молочка бы с булочкой, да на печку с дурочкой!» Про это как раз.

– Балуешь, Зуй... – попрекнул его Кормачов.

Но старик сказал монаху серьёзно:

– Что есть зло! Разбирались.

– Разобрались? – спросил монах почтительно.

– Власть денег – зло! – кивнул старик. – И всякая продажная тварь на нашей земле – зло. Она уничтоженью подлежит. А ты что скажешь?

Монах заморгал и растерялся. Потом ответил неуверенно:

– Зло, оно... Оно есть ничто. Ибо не имеет состава. Действия же его таковы: разрушение, беспорядок, разделение... Производятся они душами, повреждёнными грехом.

Все трое переглянулись. Старик же сосредоточился ещё больше.

– Борьба с разрушителем жизни – добро? – требовательно спросил он.

– Борьба с грехом своим – добро.

Старик недовольно пожевал вставшими губами. А Зуй с досады запел в сторону, отвернувшись:

– Горит. Горит. Село родное.

Горит. Вся Родина. Моя...

– А вот скажи ты мне, чернец, непутёвому: отчего ваш брат священник смирение несёт туда, где и без того народ всякой мразью опущен? – спросил старик, щурясь от прозвучавшей песни как от сильного света. – Вот, там он строит церкви и униженного утешает: «Герпи, смиряйся, кайся...» Что же он, священник, в цыганском таборе, где дурью торгуют, церковь не строит? Не учит их праведно жить?.. Где дворцы воров стоят – отчего он в той церкви не обличит принародно и не проклянёт их на людях?! Тех, которые при власти?.. Что же он все силы кладёт на то, чтобы страдающего, голодного, смиренного ещё смиренней, покладистой сделать, а злого и жадного – от смиренья оберегает?..

– Оно и по-моему так выходит, – смущённо поддакнул Кормачов. – В логово нечистое ступай, если ты воин Христов. Тех, кто нечистому служит, учи смирению – у нечистого их души отбивай! Чтобы злодей смирением зло в себе поборол бы. И не нёс бы его больше другим людям, не сеял бы зло вокруг.

– С носителями зла, монах, работать вам надо! – пояснил Зуй, скалясь непримиримо. – А вы всё – лёгкими путями, лёгкими путями. Туда, где и без вас смирения этого – чересчур...

Монах молчал. Он поднял прут и стал чертить им на снегу кресты.

– Да вот, я с вами же! – сказал он вдруг, но смутился. – Простите меня.

Молоко в кружке зашипело, стало подниматься пенкой, хотя растаяло не всё.

– ...Читал я, помню, Евангелие, читал, – заговорил Зуй, отставляя кружку на снег. – А потом сомнения меня одолели. Христианство – оно же придумано, чтоб народ в узде держать. Так? Правильно, с одной стороны. А с другой – всё оно для нашего угнетения придумано. Тебя, христианина, облапошивают, жену твою по-всякому в углах гнут, детей обижают, наркотой накачивают, а ты смиряйся. Это как?

Монах, подсев к костру, подхватил кружку концом рясы и поставил её на угли снова. От кружки запахло прижаренной пенкой.

– Не по чину мне, вопросы сложные разрешать. Не знаю многого, – вздыхал монах. – Разумение слабое имею. Духовный возраст мой не великий.

– А разве не Никола Чудотворец Ария-то ударил?! – со значением поднял палец Кормачов. – Вот то-то и оно: не смирился, а – ударил! Вот где пример! Против зла – восставай. Не давай хода злу! А то ведь съест зло – и тебя самого, и жену, и детей твоих.

Старик кивнул:

– Если зло впускать в дом свой – не правильно это. Не противостоишь Злу – значит, сам пособник зла ты стал! Хоть и молитвенник. Правильно? Или нет?

– А неправый суд, скорый суд, разве не то же зло? – поднял наконец монах голову.

Старик и Зуй отвернулись одновременно.

– Горит, горит село родное... – цедил сквозь зубы Зуй.

Но Кормачов сказал, разволновавшись:

– Я так понимаю, что мир нынче напополам разделился. Или ты со злом шагай в ногу, смиряйся с ним, – или сам обороняйся и ближнего от зла защищай. Сейчас третьего пути не стало... Вот, в библиотеке я чего нашёл? Ведь как у Иоанна-то Златоустого в творении, в слове третьем к верующему отцу...

– Чего нам большие задачи перед собой ставить, братья? Выбрались на волю, радуйтесь!.. На тебе молочка-то, с угольков. Пей, болезный, – монах, придерживая алюминиевую ручку рясой, засуетился возле Кормачова. – Помнишь ли чёрную речку возле сторожки-то вашей, кормачовской? Речка в одном месте пересохла, а мальков там осталось в запруде, в тупичке – видимо-невидимо. И ты парнем здоровым был, а я во втором классе учился. Так мы вдвоём рубахой мальков ловили, в таз да в ковш кованый. Помнишь?.. Относили с тобой мальков в воду вольную весь день, до ночи. Ты – тазом таскал, я – ковшом. Да, относили их в воду вольную... Спинки-то у них просвечивали – как стеклянные, у рыбёшек-то крохотных, в вольной воде. Как хрустальные – спинки, аж позвонки видать. А и большие ведь попадались рыбёшки!.. Высохли бы все они, в запруде меленькой заключённые. Вымерли бы, от большой воды в озерке-то в гибельном отрезанные, в гниющем озерке мутном, да. А так... – поплыли! Ожили! Заходили! Да... И вы сейчас заходили. Ожили, значит. Радуйтесь! Радуйтесь...

Старик же, слушавший его внимательно с бревна, сказал, хлопнув ладонью по своим коленям:

– Вот, монахи бы ваши мудрить, вилять перестали да за народ бы пошли. За ними нам двигаться не запахло. Они – чёрная масть: воины Христовы.

Монах погрустнел, сел на бревно тоже.

– Многие зовут нас, во всенародный-то подвиг вступать. Как Всесвятый и Праведный Никола чудотворче вступил, – вздохнул он. – Благословения ещё на это нет, а вы уж все зовёте нас, со всех областей торопите.

– Вот-вот! Приказа нет! – засмеялся Зуй. – Как у красных... Ну, ждите, ждите. Те – приказа. Эти – благословения. Сколько там у нас по России за год-то народу мрёт? А?! Горит вся Родина моя...

Край кружки обжигал, и Кормачов ждал, пока она остынет.

– Души теряют по монастырям: те, которые отворачиваются от людского плача, – сказал он, осторожно вдыхая пар. – Мне, много прегрешающему, так кажется. Ну, ничего. Вступят скоро – в подвиг... Это испытание такое монахам, в наше время, положено: кто свою душу сейчас спасает – потеряет её. А кто за други своя пойдёт и на себя плюнет, тот только спасётся.

– Да ты пей, пей, – встревожился монах. – Остынет. Маленькие задачки выполняй. А большие есть Кому решать.

– У меня ведь поначалу тоже так было, – прихлебнул Кормачов молоко, а потом выпил почти всё. – Думал: ну, окажусь чудом на воле, сразу уйду в тайгу. И построю там часовню в память Николы Чудотворца! А потом сказал себе: «Нет, Степан. Ты от людского горя за спиной у Николы спрятаться решил. А он, Никола, к подвигу призывает – за поругание веры в бой вступать»... А что вокруг-то идёт, как не поругание веры нашей? Как не глумление над смирением русским, православным?

– Наступает время воинов Христовых, – кротко кивнул монах.

– Воины-то Христовы – воины, – заметил старик, растирая колени. – Да оружие, оно у армии всё. У красной масти. Мы про это говорили, чернец. Получается, одни красные нынче за народ. На словах, конечно. А нам с красными нельзя... Вот, что Крест твой без оружия?

– А ты по-другому погляди: что – Крест с оружием?! – обернулся к нему монах. – ...Да, намолчались вы, в темницах. На крестах закона распятые.

Зуй отвернулся, скучно насвистывая. Старик озадаченно тёр подбородок. Но Кормачов смотрел на монаха счастливыми, блестящими, верующими глазами и кивал:

– Хорошо! Хорошо всё! Как выйдут монахи православные к красной масти да как скажут построже: «А ну, перестань дьявольской звезде иудиной служить – служи Кресту честному!» И сорвёт тут с себя прежние погоны красная масть, и поцелует Крест, и вступит в воинство Христово, и пойдёт за Крестом в бой праведный! И потеряет тогда власть над военными приказ сатанинский. Выйдут солдатики из-под иудиной власти!.. И так, с Честным Крестом впереди, никто наше воинство не одолеет. Воинство наше с крестами на погонах... Вот бы до этого мне дожить, Андроник!

Коротко кашлянув, Кормачов, стесняясь, сплюнул подальше, за бревно.

– С Крестом нам можно, со звездой иудиной нам нельзя, – твёрдо повторил старик.

– Ну, в войну-то отцы наши со звездой красной фашистов побеждали, – мягко окоротил старика Кормачов. – Что ж нам её хаять, дядька Нечай?.. Она кровью отцов наших на войне-то давно отмытая, может. Молиться звезде не буду, но и хаять её не стану. Никогда.

– Вопреки знаку звезды побеждали! – повысил голос старик, взглянув на Кормачова исподлобья, по-волчьи. – Много жизней из России она понапрасну унесла, звезда троцкая. И ещё унесёт. Пока Крестом её не исправим, будет русская кровь литься водицей... За Крестом пойдём!

– Чудно дядино гумно! – рассмеялся Зуй. – Мы – за Крестом... Дядька Нечай, да ты-то хоть октись! Про что толкуем?! Убийцы мы!.. Нам прощенья нету. Как же мы, непрощённые, Богу и России служить хотим?

– А кого в рай первого Христос отправил? – живо спросил монах. – Разбойника отправил!

– ...Гляди-ка. Чёрную масть! – подивился старик. – Заранее, что ли, нам всё прописано?

– Дух святой витает, где хочет. И нам прежде Бога самим себя судить нельзя, – осторожно сказал монах. – А говорить только можно: «я, убивший». Он, Всевышний, человеку – судья, а не сам человек – судья себе... Наше дело – Ему служить. Куда Он нас поставил, там и послужим, как сможем: по совести. В темницу поставит – там полсужим, и на волюшке – тоже. А как уж вышло, не нашего ума дело... Святые Отцы идут путём мученичества, а мы, много грешившие, как разбойники на Крест свой поднимаемся: лестницей. Все мы – как разбойники. Пути нам наши по-настоящему и непонятны... Пришла пора страну подвигом очистить, препояшем чресла, возьмём мечи – и так поработаем Ему, ратниками. А миновала опасность, молиться станем, чтоб опять не пришла... Да уж и препоясался кое- кто! По всей-то матушке России.

– Страну подвигом своим очистит, кто смерти не боится. А смерти не боится, кто при жизни в зонах сдох: разбойник очистит! Разбойник с монахом, – поддержал монаха старик. – Мы про это как раз говорили.

– Так ведь и ребёнок смерти не понимает... Детская сила – она чистая, потому и самая большая! – сказал монах под непонимающими взглядами всех троих. – Будем как дети. Допивай молочко-то, допивай, болезный.

– Ладно. Поговорим ещё. Здесь мы у себя уже, – Кормачов сделал последний глоток, отёр кружку снегом и поставил её на угли прокалить. – Надо же, добрались! Домой попали, главное. Не верится никак... Здесь – свои все, здесь – подмога отовсюду будет. Да здесь любой малец...

Две вороны между тем, кружась, опустились на хворост. И все проследили взглядом за ними.

– Ну что, идти пора, – то ли спросил, то ли сказал монах, перекрестившись ещё раз. – До места вас провожу. Там поглядим, чего прислать вам. В чём нужда первая обнаружится. А зоной своей, братья, не гордитесь, не надо. Вся страна наша нынче – зона, и весь народ в ней человеческой жизни лишён. Уголовнику похлёбки плеснут. А в большом-то концлагере, в стране – значит, и этого народу не положено. Всех нас чёрной мастью законы теперешние сделали. Всех, кто иуде не служит... Всем из запруды гниющей, где мы – узники, на волю выплывать надо одинаково, пока души наши болото это не до конца сгноило... Так что, правда, выходит: чёрная масть победит! Наша.

Все поднялись, разбирая лыжи. Были они самодельные, с одним ремённым креплением, и потому подходили всем.

– После Буяна ни разу ведь на лыжи не вставал, – подивился старик, вспоминая. – Надо же. Почти вся жизнь без них прошла.

– А зато в Буяне сколько мы на них бегали? – беспечно отозвался Зуй.

Из кучи хвороста выбрали и обломали от сучьев палки, каждый – себе, и двинулись из лощины, выбираясь лесенкой.

До лесной сторожки, куда вёл всех Кормачов, было километров тридцать. А там валялись у него в подполе капканы, и бочонок крупной соли стоял в углу, и большой запас спичек имелся под притолокой. Патронов, правда, оставалось за топчаном, накрытым лоскутным стёганным одеялом, немного – одна коробка. Но капсулей лежало коробок семь или восемь. И кусок свинца с баранью голову хранился под крыльцом, на всякий случай.

Оставалось только раздобыть ружьё. Жена писала ему два года назад, что пока отдала она его тулку куму: чтоб Кочкину не со старым ружьишком по лесу ходить. Так что, тулку придётся забирать – у Брониславы. «Оно и к лучшему, – думал Степан Кормачов, не собиравшийся пока тревожить жену известием о своём появлении в здешних лесах. – Андроник, может, и заберёт».

Дыхания хватило ненадолго, и уже на холме Кормачов приостановился, поглядывая вверх, на новую вершину перед собою. Ему дали передохнуть.

– Ничего. С нутряного жира дикого – всё затынется, – говорил Степану старик, не уставший нисколько. – Как снег сойдёт, сразу девясила нароем. Он после снега крепкий самый, корень. Я его по будыльям узнаю... С отвара, правда, лёгкие будет поначалу клочками рвать. Ливер с кашлем полетит во все стороны. Зато с кровью вся дрянь наружу выскочит. Кровь – одна она всё очищает!.. Ничего. Здоровый будешь.

– Ну, Буян-то от чужих, если что, мы и без Кормача посторожим, – сказал Зуй. – А летом город потрясём: его почистим для начала. Да не пугайся ты, монах! Не для себя мы – для народа. Для справедливости, короче.

– Есть там один такой, отец Сергей. Народ любит больше, чем душу свою. Вы уж советуйтесь там с ним. Сначала – посоветуйтесь. В городе. Оно не помешает, – проговорил монах и смолк, додумывая что-то.

Однако тут же мотнул головой, соглашаясь с самим собою:

– Он молитвой и постами хорошо укреплённый. Матёрый кормчий, батюшка-то Сергей! Как раз по вашим силам... Не ровня мне.

– Ладно! Пригодится твой Сергей. Шмотки богачёвские сиротам раздавать, – небрежно кивнул Зуй.

Монах вздохнул:

– А дойдём до места, о вразумлении все помолимся. Помолимся о вразумлении, как надо, тогда и поймём получше, что нам делать и как, – сказал он, отламывая с липы сухую ветку для Кормачова. – На-ка тебе, болезный. Эта палка полегче вон той, твоей, будет... Многие сейчас молятся о судьбе русского народа, братья, многие. Которых вы в бездействии упрекаете. А они молитвенный подвиг тяжёлый сейчас несут, денно и ночью. Вынесут подвиг на своих плечах – может, и крови на освобождение не потребуется...

Зуй стоял, прислонившись плечом к берёзе, и смотрел на монаха, поигрывая желваками.

– О судьбе народа? Молятся? Эх, мать честная! – недобро оскалился он. – А я ведь, вот так же, спросил одного, опущенного. Ради забавы... Смазливый такой, кроткий у нас появился! Голубоглазый... Уже через месяц враскаряку ходил, с капустой до колен: верзуха заживать не успевала. Так он нравился всем, особенно чучмекам!.. Спрашиваю его для смеха: «А ну скажи: что такое – зло, по-твоему?» А смазливый-то говорит, сквозь слёзы, правда: «Зло – это когда твою доброту принимают за слабость». Ишь, чего вывел?.. В часовню тюремную всё время ходил. Молился, плакал. А один педрило старый всё его потом утешал: «Ничего, петя: нас повсякому, а мы крепнем!»... Но вот с ним в одно время шкет белобрысый на зоне возник. Тощий как лучина! Доходной, из детдома. Его там один бык долго мучил, за ночь опустил. Так, днём этот шкет спёр где-то гантелю, у себя спрятал. И ночью бык – к нему, а он быка – гантелей смарал! Под суд пошёл, доходной. На крытку... Ну, так скажи ты, монах: вот про народ ты рассуждал. А кто правильно сделал – тот красивый, который враскаряку ходит, молится? Которого дрючат и дрючить – не перестанут? Или шкет белобрысый, который заповедь «не убий» нарушил? А?! В часовне-то вашей как постоишь – получается: красивый прав. А по-твоему как?

Монах долго смотрел в сторону.

– Крест он такой несёт, этот красивый. Мученически грехи свои, и родителей своих грехи, искупает. Родительских грехов на нас много навалилось. За безбожное-то время. Их избывать нам приходится.

– Так он же кайф приучается, против своей воли, славливать, если уже не славливает всюю. Какое тут мученичество? – удивлялся Зуй. – И руки на себя ему нельзя наложить, грех. Вот ты бы, монах, как поступил?

– Тяжёлый вопрос, – вздохнул монах. – Я бы, по немощи своей, мучителя бы, конечно, убил. Потом бы покаялся, и кару бы принял, но – убил. Но это – по немощи. А вот по полному праву убил бы, если бы заступался за ближнего своего и если бы иного пути для защиты другого человека не оставалось бы. Ведь человек – он подобие Божие. И как же ты, мучитель, собираешься Божие подобие осквернять?! Не допущу. Всеми средствами, и даже убийством, при случае-то безвыходном. Но молиться о прощении греха убийства буду. О прощении за то, что из испытания, свыше мне посланного, не нашёл другого выхода – по греховности своей.

Он подумал ещё. И кивнул сам себе, утвердительно:

– За други своя душу – клади. Оно не зазорно. А если други своя предаёшь, хотя бы бездействием и молчанием, то душу теряешь, конечно.

– Так ты мокрушник, выходит? – коротко глянул на монаха старик.

– Когда война со злом идёт... В войне мокрушников не бывает, – смиренно покивал монах. Но испугался. – У отца Сергия вы про это спрашивайте. Не по чину мне рассуждать про умное. Простите.

– Ладно. Разберёмся. – улыбался Кормачов солнцу и ветвям. – Главное: дух святой витает, где хочет!

Вдруг он обернулся к старику:

– Дядька Нечай. Пленного-то мы – не развязали.

– Ну, – кивнул тот. – Небось, и сам растеребится как-нибудь. Со временем, конечно.

Монах смотрел на них, не понимая.

– Пленный там у нас, – объяснил Кормачов. – Связали мы его. Чтоб он на дорогу раньше времени не выскочил, да не донёс бы.

Монах побледнел и оглянулся на солнце, зависшее над дальними соснами.

–...Замёрзнет в ночь человек, – сказал он, и по лицу его заходили тени.

– Спустишь я, развяжу, – Кормачов двинулся было, оттолкнувшись палками.

– Куда? – крикнул ему старик. – Вон, Зуй помоложе. Он пошустрей сбегает. И нас скорей нагонит.

Монах и Кормачов смотрели друг на друга в нерешительности.

Но Зуй, гикнув, уже скатывался вниз.

– Ступайте, догоню! – кричал он, неловко петляя меж стволами и чудом удерживая равновесие. – Эх, воля вольная! Жизнь раздольная. Гуляй-не хочу!..

И снежная пыль вилась за ним и весело искрилась на солнце.

– Зуй дело знает... – кивал старик ему вслед.

Кеша, не заметивший, как все ушли из лощины, спал под осиной. Он видел во сне Зойку, выкладывающую из двух сумок хорошую, нарядно обвитую картинками, магазинную еду.

– ...Хотел забыться, уехал даже на край света! – уже объяснял ей Кеша с выражением и рвал на себе рубаху для убедительности. – Глобус крутится, вертится, гадство. Но – не смог без тебя. Вернулся!.. Пр-р-роклетье. Зоянция, я не в состоянии без тебя жить! Ни минуты. Вот, парадокс!.. Старался забыть. Пытался бежать от любви – быстрее лани! И... Не получается! Ничего у меня без тебя не получается, Зоюндия. Ни с кем. Ни разу... Если б ты знала, от какой пресловутой женщины мне пришлось потом отбиваться! В диком месте, среди котов и кедров... Кстати, где мой баян? С малиновыми мехами? Ты же давно обещала купить мне баян! Что, зажала?!

И Зойка ответила ему бесшабашным, ненавистным мужским голосом:

– Кончай ночевать, начинай чай пить.

Зуй развязывал узлы за его спиной. В лощине не было ни души. Только лыжи лежали совсем невдалеке, крест-накрест.

Занемевшее тело выпрямлялось и радостно ныло от свободы. Но, едва вскочив и увидев парня прямо перед собой, Кеша всё понял.

– Я... Сейчас... – принялся он лихорадочно, неловко стягивать полушубок.

– Берите... У меня ещё деньги. Вот! – теребил он пустой синий карман на рубахе. – Отдаю! Вам!..

– Своему другу прокурору из этого кармана отдай, – посоветовал парень, матерясь тихо и деловито. – А мы из другого кармана подлатаемся.

Он косолапо перетаптывался и бегло оглядывал ельник.

– Всё берите!!! – пронзительно закричал Кеша, бросив полушубок в сторону, на снег, и заплакал, раздетый.

– Всё! Всё!.. – рвал и рвал он с себя жёлто-зелёный галстук. Но, оттянутый в сторону, галстук подлетал и подлетал, взвываясь, к его шее и щёлкал по кадыку жёстким кривым узлом.

– Ни-че-го не жал-ко!!! – рыдал Кеша вверх, в радостно разверстую синюю бездну. Она сияла над ним страшной ледяной пустотой, от которой стягивало и ломило затылок.

Он смолк внезапно, услышав знакомое металлическое клацанье за спиной. Обернуться Кеша уже не успел. Парень мягко, всем телом, приналёг на него сзади, обхватив обеими руками. В груди у Кеши хрустнуло, потом хрустнуло ещё поглубже – и медленно повернулось.

Рыжая звериная улыбка качнулась прямо перед ним, в заснеженных ветвях могучей ели – и заплясала в глазах, а потом застыла. Парень плавно вытянул нож, тёмный от крови.

И Кеша упал лицом вперёд, с широко раскрытым ртом – упал, уже не понимая того и раздваиваясь. Жизнь рывками вытягивалась из его пищевода и ускользала вверх неотвратимо, захваченная невидимыми и цепкими звериными когтями.

Зуй перешагнул через дёргающееся тело, как перешагивают через трухлявое бревно.

– Не любит дядька Нечай, когда городские базлают! Ой, не любит, – поморщился он равнодушно и вытер снегом нож.

Под внимательными взглядами двух ворон, Зуй передел Кешу в свою фуфайку, прожжённую в нескольких местах, со смехотворно короткими рукавами. Руки и ноги были податливыми. Вязаную шапку Зуй оставил на Кеше. Только натянули её на лицо, до самого подбородка. В нагрудный карман рубахи он воткнул письмо от «заочницы», присланное на собственное имя всего месяц назад, и засунул тело под хворост.

Кровь приброевал снегом. Её было немного. И рыжая шерсть брошенного на снег полушубка не забрызгалась нисколько.

Однако то, что не было кешиним телом, ещё качалось в цепких невидимых когтях рядом, неподалёку, и болело тупой болью, и воспринимало происходящее с невнятной животной тоской, как если бы слышало всё и видело без всякого, впрочем, пониманья.

– Ещё один подснежник будет мусорам весной, – осмотрел Зуй хворост, накинутый на Кешу будто деревянное рыхлое одеяло. – ...Ландыш! Первого мая привет.

Пустой гранёный стакан, вдруг подвернувшийся под ноги, парень пнул в сторону, ворча без особой досады:

– Видит же, люди в фуфайках околели. Отдал бы полушубок. Хрусты бы сам разделил, пополам. И свалил бы, как человек, в моём куртафане, спокойно. Нет! «Вся мировая общественность!..»

Надев полушубок, Зуй бормотал себе под нос:

– Монах этот, конечно, по зонам летает, как на крыльях, в рясе своей. Со злом везде сражается. Но глянул бы он, как тут Капустина без него смадали! Небось, паруса-то чёрные у него – обвисли бы...

Он поискал глазами лыжи. И вздохнул:

– Им шухерно, конечно. С непривычки. Монахам... А то, что мы все под риском окажемся, если он на грейдер выскочит, их не колышет. Чего ж мы, не «друзи своя», что ли?.. Чудно дядино гумно!

Вороны тем временем переместились на ближайшую ель. Одна из них чистила бурый клюв.

Надев лыжи, Зуй посмотрел вверх, в синеву. Редкие, едва видимые остатки от облаков дотаивали под сильным зимним солнцем по краю небес. Но и их, словно случайные перья, сгонял, сметал со свода стремительный небесный ветер, летящий из бездонного зенита. И они

уносились к дальней кромке леса, распадаясь по пути в синем пространстве и превращаясь в ничто. Шумели поблизости и качались вершины тёмных елей. Но тихо было в низине.

– Как в избе... – озирался Зуй. – Воля. Теперь – она: воля... Вот только мертвяк в избе, а так – не хило.

Он поднял со снега палки, сощурился на солнце. Где-то вдалеке зазвенкала синица.

– Собирались по-чистому дойти, – усмехнулся он и двинулся меж молодых ёлок, наверх. – ...Кормач крови не хотел. А куда нам от неё деваться, от краски? Ну, чудной.

Зуй убыстрял ход, насторожённо ловя лесные шорохи сквозь скрип снега под лыжами, сквозь дальний, сонный шум одинокой машины на грейдере.

– С тараканами, конечно, Кормач, – качал он головой. – В праведную месть верит! Не знает он ещё, что будет, когда дядьке Нечаю в эти мечтания поигрывать надоест... Зато я – знаю.

Вдруг Зуй явственно ощутил: из дальних заиндепевших зарослей, из-под низких кустов, за ним следит зверь с остановившимся дремучим, диким взглядом. В ту же минуту нечто красноватое, быстрое мелькнуло в стороне и исчезло за сугробом, как если бы пробежал меж стволов рыжий заяц.

Зуй сморгнул с ресниц странное виденье.

Но под мгновенным солнечным лучом рыжий блеск снова вспыхнул в кустах – и погас.

– Не понял, – насторожился Зуй. – Чудно дядино гумно... Лес, что ли, со мной шутит? Или кто?

Ушедших Зуй нагнал по лыжне уже через полчаса. Монах теперь шёл первым, а последним – Кормачов.

– Извини, я там Капустина пощипал, – повинился Зуй перед ним без особого раскаянья. – Зато мой куртафан ему достался! Да, хороший был куртафан... Я такого размера с седьмого класса не носил.

Остановившись, все смотрели на него в неподвижности и молчанье. Только старик улыбнулся Зую вяло, словно из сна.

– Ну, что? Кормач наденет? – спросил у него Зуй про полушубок.

Тот покачал головой:

– Не надо ему после... Слабый он сейчас. Да и я не в той уже силе... А тебе – ничего: можно. Ты теперь с чистой ксивой на люди будешь выходить.

– Плохое дело... – вздохнул монах и затомился. – Плохое то дело, которое с нарушения заповеди начинается.

– Какой заповеди? – спросили одновременно и Кормачов, и Зуй.

– Не укради, такой заповеди.

Кормачов отвернулся от Зуя и больше не встречался с ним взглядом.

– Чудно дядино гумно! – удивился Зуй. – Ему, значит, в тепле зимовать положено, а нам?! Нет, монах, такая заповедь нам не подходит. Наша заповедь: у богатого возьми – бедному отдай! Здорового раздень – хворого одень. Потому как всё богатое – несправедное!.. А у тебя что за заповедь такая?

– Не у меня. Свыше она дана, – потупился монах.

– Не верю, что свыше! Богатые нам её написали, а не Бог дал. Они подсунули, – резко возразил Зуй. – Чтобы бедные быстрее перемёрли.

– Праведным трудом нажитое трогать нельзя. А несправедное отнять надо, – неожиданно возразил монаху Кормачов.

Тот, не поднимая головы, чертил палкой кресты на снегу и молчал.

Старик пошёл в гору первым, остановив Зуя, равшегося вперёд.

– Успеешь. Твоя очередь – на низинах.

Их путь к сторожке пролегал через большие снега. Однако можно было пробираться по верхам, через густой шатровый ельник, держащий снег на лапах как на крышах. С пригорка все спустились в небольшую ложбину и стали затем подниматься круто вверх.

Кормачов теперь оказался вторым. За ним взбирался на гору монах. И последним, замыкающим, легко двигался Зуй.

– Смотрите! Кот! – вдруг крикнул он всем. – Нет, ну точно – кот, рыжий. Вон, с обрыва прыгнул. И на обрыв!

В тот миг Кешино земное ощущение себя почти исчезло полностью. Витавшая поверху бестелесная сущность его выпала из цепких невидимых лап. Она плавно опускалась теперь вниз, в серую невнятную, сгущающуюся мглу, по мере того, как люди поднимались.

– Вот даёт! – дивился молодой, теряя из виду рыжее яркое мельканье, исчезающее в чёрной хвое, и ловя его взглядом снова.

На возгласы его никто не обернулся. Зимнее солнце уже склонилось к западу, пропуская сквозь черноту елового леса короткие красноватые лучи. И в игре этих пятен, мелькающих впереди, то ли чудился, то ли виделся Зую опережающий бег рыжего быстрого зверя.

– Глянь, Кормач! – не выдержал Зуй, легонько ударив своей палкой по его на повороте. – Видишь, нет? Кто впереди-то?

– Вижу, – негромко и счастливо отвечал Кормачов, обернувшись. – Давно вижу... Два старца как будто всё время перед нами идут. А третий, он первым перед нами появился и что-то этим двум наказал. Потом пропал. Я узнал его... Эти двое, которые нас ведут – не знаю, кто. Видно только, что черноризники. А того я узнал. Узнал всесвятого... Кого-то из отцов в проводники он нам прислал.

Зуй остановился совсем и смотрел теперь на Кормачова ошарашенно, через плечо остановившегося поневоле монаха:

– Слушай, жар у тебя, Кормач. Ничего, я потом за колёсами в аптеку на лыжах сгоняю... А стариков твоих впереди я что-то в упор не различаю. Говорю тебе, кот мелькает! Вон.

Монах стоял меж ними, понурясь, и то ли молился молча, то ли думал.

–...Да нет. Старцы там идут, – всмотревшись в дальний сосновый лес, показал Кормачов палкой. – По снегу как по суху. По вершинам...

– Про что ты, Кормач? – спросил старик, поднявшийся уже выше всех.

– А погляди туда. Видишь? – указал Кормачов на грядку сосняка.

В предзакатных лучах стволы дальних сосен сияли нежным оранжевым светом.

– Эх ты! – изумился старик и остолбенел. – ...Михаил Архангел над вершинами-то. В алом плаще. И копьё блестит. Вот, дела...

– Ну и клинит вас! – неодобрительно заметил Зуй.

Кормачов заморгал в недоумении.

– Не вижу Архангела, – признался он старику. – Только черноризников двух вижу всё время впереди. Сквозь ветки. То вижу, то нет.

– Какие черноризники? Михаил сам!.. – доказывал старик. – Андроник! Что молчишь? Взгляни-ка ты. У тебя глаза-то, небось, не так износились.

– Не положено мне видеть, по греховности моей, ничего такого, – вздохнул монах. – Мало жил, многого не додумал. Да и грешил сверх меры. Никого не вижу, братья мои. Простите, не вижу... Лес там только, да небо, да ветер по вершинам летит. Дивную красоту мира земного вижу. И всё.

Дальше все шли молча, глядя себе под лыжи. Кашляя время от времени и отплёвываясь, Кормачов оставлял на снегу красные метки. Монах проходил мимо них, вздыхая. А Зуй замечал кровавые плевки и зачем-то прибрасывал их снегом, подкидывая его палкой.

– Мы встретились тайком... – повторял он с чувством, отставая временами. – Тем дивным вечерком... Смеялись от любви... Хрусталики твои... Мы встретились тайком. Тем дивным вечерком...

На половине подъёма все остановились снова – для отдыха и для перестановки. Степана старик поставил замыкающим. Кормачов устал уже изрядно. Он отвернулся от прочих, чтобы те не заметили по лицу его, что дело худо. Не принимая больше участия в разговоре, он собирал силы, глядя вниз.

Лощина, из которой они выбрались, оказалась теперь прямо под ними. Неправдоподобно близкая, она лежала небольшой чашей рядом, едва ли не под ногами, и была хорошо освещена низким солнцем. Вглядевшись получше, Степан увидел всё до мельчайших подробностей.

– Эффект линзы, – понял он, давно знакомый с этим явлением, известным каждому опытному охотнику. – Воздушная чистая сфера увеличивает и приближает...

Сизый круг потухшего костра был окольцован человеческими глубокими следами, в которых скопились синеватые тени, будто талая тёмная вода. И пронзительный, острый, длинный луч бил в глаза из ложбины. Степан не сразу понял, моргая, что его отражает гранёный стакан. Чёрная, плотная стая ворон копошилась возле осины, на выходе к просеке, там, внизу. Жадно расклёвывая снег, вороны раскидывали его по сторонам. И снег этот был красным, будто густо подсвеченный закатом.

Кормачов неотрывно следил за птицами, напрягая зрение до предела. Однако ярко-красное пятно там, внизу, спутать было нельзя ни с чем. Разгребая его когтями, вороны стояли на кровавом поле, тесня друг друга. Они заглатывали льдистую кровь, дёргая шеями, будто питались закатным светом, который изливал запад на снега.

Кормачов шагнул на лыжах вниз, за ближайшую ель.

– Ничего, ничего, – сказал он остальным. – Сейчас я...

Потом отёр лицо снегом. Остальные трое молчали озадаченно, но думали каждый о своём, поглядывая не вниз, а вверх. Перевал надо было пройти по свету.

Наконец Степан выпрямился.

– Вот что, отец Андроник. Веди-ка ты людей в сторожку без меня. Дорогу помнишь, поди. Через старицу веди, где мы мальков ловили... А я... Не дойду я с вами. В Стасовку махну, к племяннику. Здесь близко. Отлежусь там. Благослови меня.

– Да как же ты один-то пойдёшь? – озадачился Зуй. – Давай, я с тобой!

– Дойду. Идите. Так благословишь ты меня? – спросил он монаха в нетерпении.

Молодое лицо чернеца словно постарело разом. Пожилым мальчиком казался он, растерянно моргающий. Наконец тёмные тени спали с его лица. Перекрестил он Кормачова не сразу. Но сказал твёрдо:

– Ступай. Не бойся ничего.

Тогда Кормачов оттолкнулся сучковатой палкой и полетел вниз, петляя меж деревьями, забыв попрощаться и с дядькой Нечаем, и с Зуем.

– Радуйся! – тревожно и резко кричал ему вслед монах. – Радуйся!!! И ещё раз говорю тебе: радуйся!..

Тревожное, долгое эхо – «радуйся» – ходило над ложиной. Оно угасло, ослабев, где-то на алом дне.

Трое двинулись своим путём.

– Погоди-ка, он говорил тебе про племянника? Дядька Нечай? – спросил Зуй.

– Нет, – спокойно ответил старик, не прерывая движения.

– И я не слышал сроду. Что за племяш там у него отыскался? Чудно дядино гумно... Не знаю я, как думать.

– А ты не думай, – отозвался старик. – Он вольный теперь человек.

Они прошли ещё немного.

– Ну, а ты, раб Божий, как думаешь? – с нажимом спросил монах Зуя, остановившись неожиданно. – По-твоему, что есть зло?

Зуй смотрел на монаха прямо, шало поигрывая глазами.

–...Ты регалки мои, что ли, разглядывал? – с вызовом спросил он. – Тебе какую показать? Ну, на, читай хоть все. Если поймёшь, конечно. Мне лично не жалко.

Медленно засучив рукав полушубка, Зуй протянул монаху руку для прочтения, со скупым значком у большого пальца и с точечным выколотым перстнем на другом. Крупная кривая татуировка – з л о – синела у него на запястье.

Монах смотрел на неё и не спрашивал теперь ни о чём. Тогда Зуй хохотнул и, показывая на каждую букву в отдельности, пояснил старательно и не без дерзости:

За всё – Лягавым – Отомщу: Зэ лэ о!.. Понял? Нет?

При стремительном спуске, перехватывающем дыхание, Кормачов отдохнул только раз, и то уже среди молодых ёлок, на обочине ложбины. Она лежала перед ним в красном тумане. И теперь расплывалось всё. Дрожал в горячем свете круг от костра, розовел снег повсюду, пылала без огня, не сгорая, огромная куча чёрного хвороста поодаль.

– Горит, горит село родное... – произнёс он бездумно и не услышал себя, потому что не знал толком, что будет делать дальше.

Идти к осине ему не понадобилось. По снегу было видно, как тело волоклось к хворосту. Сбросив лыжи, Кормачов стал раскидывать прутья в стороны. Ему казалось, что он разнимает, раздирает и разбрасывает жёсткую огромную паутину. Чужой городской человек лежал под голыми ветками с закрытым шапкою лицом. Но видны были сквозь красное марево синие тонкие губы, искривлённые то ли брезгливостью, то ли страданием. Откиннутая рука с потемневшими ногтями оказалась холодной.

И Кормачов опустился на снег, не понимая, как быть ему, когда он забросает труп снова прутьями. Догнать попутчиков было уже невозможно, как невозможно одолеть сегодня путь до перевала.

Короткие рукава фуфайки не закрывали запястий убитого. И Кормачов ещё раз попытался нащупать пульс. Однако биение крови в собственных пальцах мешало ему понять что-либо. Он уронил чужую холодную руку, как вдруг убитый человек подтянул её к своему боку. Едва заметно разжав губы, человек выдохнул:

– Ы.

– Ну вот и всё, – сказал Кормачов, не поняв своих слов совершенно.

У него хватило сил примотать чуть живое тело к лыжам. Верёвку, снятую с пояса, он пропускал через ремни креплений, ворочая раненого, и морщился от боли, которую наверно причинял человеку. Потом он волок Кешу наверх, к грейдеру, ползком, сквозь частые молодые ёлки. Суетливо тащил мимо старого потрескавшегося пня, широкого, будто круглый стол, почти теряя сознание от спешки.

Передохнув возле заснеженных кустов бересклета с дрожащими на ветру яркими листьями, Степан уцепился за верёвку снова. Но красные пятна листьев, расплывающиеся в его глазах, притянули взгляд снова – они были похожи на кровавые плевки. Тогда ему показалось, будто Кто-то великий и надземный, на кого надеются все на свете и в чью силу верят беззаветно, давно и сильно болен. И что движется вовсе не Степан, подтягивающий за собою тяжёлое городское туловище. Но Он идёт высоко над русскими лесами, увлекая за собою их. И эти красные меты на белом, в запутанных кустах бересклета, оставлены – Им...

– Довели... – проносились в его помутившемся сознании обрывки жалостливого, болезненного понимания. – Люди...

И состраданием к Идущему над лесами рвало лёгкие на части сильнее и резче, чем разрывало и распирало их морозным, колючим воздухом:

– Люди... Люди... До чего же вы... До чего же мы... Его... Довели...

Он тянул тяжёлые лыжи короткими, упорными рывками, не утирая пота со лба, вслепую, уже не помня себя нисколько. Но чужое туловище вдруг завалилось на бок. Одна из лыж выскользнула – и понеслась вниз, в лощину, под тёмными шатрами могучих елей. И Кормачов пришёл в себя.

Чуть повыше желудка и чуть левее на фуфайке раненого проступило тёмное пятно. Кормачов, норовя быть осторожным, долго пытался затем примотать Кешу получше к одной единственной лыже неверными и слабыми движениями. Ладони, натёртые верёвкой, опухли и горели. Но пальцы всё же подчинялись ему. Как вдруг вторая лыжа вывернулась и покатилась тоже невообразимо быстро.

Теперь Степан лежал на снегу и смотрел вниз. До первой лыжи было не так уж далеко. Она застряла в молодой ёлке, совсем крошечной. И около неё смирно стояла маленькая Наташа – в ватном кокошнике, с нашитыми красными бусинами на белом. Новогодний утренник только начался. «Горит, горит село родное... – пела Наташа около ёлки тонким, поднебесным, беспечальным голосом, запрокинув бледное лицо. – Горит вся Родина моя...»

– Тая! – позвал он жену в жестокой тревоге. – Тая! Уведи её отсюда в дом. Здесь опасно!

И понял, что бредит.

Он взгромоздил Кешу себе на спину и попытался встать. Его качало. Однако он тут же почувствовал, что заснеженная земля держит его. Скрестив кешины руки у себя на шее, он нёс и нёс тяжёлое, тёплое тело городского человека, согнув свою голову едва не до колен. И конца этому пути не было, потому что туловище норовило свалиться со спины и вихлялось, оно тянуло вниз при каждом шаге. А чужие руки давили горло, душили и не давали вздохнуть. Но то ли вспоминалось Кормачову на ходу, то ли монотонно говорил ему кто-то милостивый сверху, отвлекая от боли: «...от четырёх ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут...», «...от четырёх ветров приди...», «...приди...».

Он мотал головой, опасаясь бреда. В висках же стучало с прежней размеренностью: «...и они ожили, и встали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище...»

Уже в самом кювете, где кончился Буянный район и где начинался другой, Шерстобитовский, Степан упал, поскользнувшись. И вдруг провалился, придавленный тяжело раненным человеком, в короткий, неодолимый сон.

Он укреплялся теперь забытьём, для того, чтобы вытолкнуть Кешу на обочину. Сейчас, сейчас, понимал он... Только бы очнуться. И влезть на обледенелую, отполированную до тусклого, беспощадного блеска, колею. И подняться там, на грейдере, в другом районе, на колени. И вздеть бы только руки повыше, чтоб увидали эти...

Сейчас. Он вытолкнет тяжёлое туловище из кювета. И остановит первую же машину, поскальзываясь на разъезжающихся коленях и взмахивая обеими руками. И машина эта будет не милицейской, видел он из своего напряжённого, строгого, укрепляющего сна.

Шум её уже приближался издалёка. Но благодатное забытьё ещё не кончалось. И улыбчивая мать его Авдотья Николаевна ещё поглядывала в весеннее утреннее окно, раздвинув тюлевые шторы и прилежно щурясь:

– Вон как клубничка мороза испугалась. Съежилась. Что значит, до Миколы сажать!.. А кабачки-то? Все всходы помёрзли. Батюшки-светы!..

Потом она поправила белоснежный платок, завязанный под подбородком, и удобно подпёрла щеку кулаком.

– ...Ну, у меня пять семечков ещё осталось. Кабачков, – сказала она Степану, глядя на него с ясной и безмятежной любовью. – Пять семечков всё же у меня есть! Намочу их, да потыкаю... Взойдут!

Засидевшаяся у Таечки и наплакавшаяся, Бронислава тоже шла в это время – от автовокзала домой. Она успела рассказать Таечке про Кешу всё-всё. И они вместе спели ещё два раза: «Ох! Развяжите мои крылья, дайте волю полетать...» И поплакали снова. Из-за того, что рыжий Кочкин умер по своей бесшабашности, от бесстрашия, а ему бы жить да жить. Что Кеша уехал, как ненормальный, а ведь мог бы настоять на своём и остаться. Потом плакали, как он намыкается в городе. А потом – в надежде, что и он вернётся, и Таечкин муж вернётся по-хорошему: не беглым, а амнистированным, потому что кончится власть всех изменников народа сразу и навечно! И представляли вдвоём, как они подружатся все, и как у них в домах будет хорошо.

– Это что же я так наревелась! – шла и ругала себя Бронислава. – Дура. Вот уж дура.

Но на душе у Брониславы было хорошо и чисто, будто душа её была выстирана теперь до синей белизны и принесена с мороза в тепло. И вся её недолгая жизнь с Кешей представлялась ей чем-то вроде интересной книги – будто это не она жила, а кто-то другой, и вот теперь Бронислава с интересом ждала, что же в этой книге будет дальше.

Она остановилась, отёрла рукавом лицо, высморкалась и глубоко вздохнула. В груди жёстко закололо от холода. Бронислава посмотрела вверх – небо светилось глубокой, темнеющей синевой. И оконные наличники по всей улице были ярко-синие – в прошлом году в

хозяйственный завезли одну только, синюю, краску, зато много. Стволы высоких деревьев вдоль дороги неровно освещало скупое морозное солнце, стоящее низко над домами. И крошечная синица на ближайшей ольхе без усталости выводила «звень-звень-звень».

– Поёт милая как! И охота ей, на морозе-то, – улыбнулась Бронислава.

И пошла, оборачиваясь и отыскивая глазами синицу.

С Брониславой здоровались встречные:

– Доброго здоровьица. Доброго здоровьица.

Она отвечала каждому с поклоном:

– И вам не хворать. И вам не хворать.

И понимала, что она, Бронислава, напротив них всех самая необыкновенная.

– Куда это ты закатилась? – крикнула она закутанной, озабоченной Зинаиде, семенящей навстречу с мешком, засунутым в авоську.

– Семечки выкинули! – тяжело дыша, сообщила Зина. – В кооперативном. Незнай, заперли уж магазин-то, или успею? Ты погляди-ка, у меня горе-то какое...

Она захныкала и ткнула себе пальцем в красный заплывший глаз.

– Видать, как настиралася, да как на мороз выскочила, так меня и прохватило, – жаловалась Зина.

– Это, Зинка, я тебе посадила! За твой язык! – засмеялась Бронислава и пошла дальше.

Шагов через пять она ойкнула от испуга, вспомнив тут же про битые горшки и про то, что кто так говорит, тот остаётся навсегда – с пустотой.

– Всё! В последний раз это я, – зареклась она вслух навеки. – Батюшки-светы! Теперь точно не заболтаюсь.

Потом навстречу ей попался мальчишка Макаровых. В пальтеце, подпоясанном верёвкой, он тянул за собой санки, однако с пригорка, разбежавшись, проехался на ногах. А санки нагоняли его и весело били по валенкам.

– Здорово, Лёх! Ну как ты? Всё куришь? – весело спросила Бронислава.

– Да уж бросил, – баском сообщил мальчишка, останавливаясь для степенного разговора.

– И давно? – обрадовалась Бронислава.

– Да уж с полгода как! – хмурился он.

– Ну, ты даёшь, – с уважением заметила Бронислава. – А кот-то твой где? Рыжий-то?

Мальчишка застыл в глубокой задумчивости. Наконец ответил с неудовольствием:

– Где-где... В библиотеку, наверно, ушёл.

– Ну?! Грамотный, что ль, стал?

– Да его там тётка Аниска для мышей подманила. И для крыс. А то грызут всё, как звери... Там без него давно одна бы труха была! В библиотеке в нашей. Точно!

– Ну, молодец! – сказала Бронислава – и не поняла сама, про кого это она: про мальчишку Макаровых – или про кота.

Но Лёха уже разогнался вместе с санками и шлёпнулся на них животом, стремительно скатываясь с пригорка. Лёгкая снежная пыль взвилась за ним, выправляющим путь то одной свешенной ногой, а то другой.

Потом Бронислава поравнялась со скрюченной баушкой Летуновой, опёршейся на посох острым подбородком и зачарованно глядящей куда-то вдаль.

– В землю растёшь, баушка Шур? Сгорбатилась ты как! – повеселила её Бронислава. – А я ведь тебе бумазейки приготовила. На милостинку. Чтоб ты за маманю нашу помолилася. И за меня: Агафию!.. Ты чего, баб Шур, резкость наводишь?

Баба Шура быстро сморгнула и будто очнулась в своём длинном довоенном пальто из чёрного, почти не порыжевшего, плюша:

– Да вон, вроде, ларёк городской опять горит, – указала она посохом. – Сильней, гляди-ка, чем в прошлый раз!

– А-а-а... Подсушивается он, конечно, от пожара к пожару, – не удивилась Бронислава, проследившая путь лёхиных санок.

Две тонкие полосы причудливо вились от самого пылающего ларька.

– Ну, всё равно ему здесь не стоять, ларьку этому. Чему не быть, того не жалко. Ох, прохлаждаюсь я нынче, баб Шур, а у самой...

Но старуха уже влезала на брёвна, опасно пошатываясь, и заглядывала через забор в чужой двор, держа клюку на весу.

– Гляди-ка, и эти строятся хотят, – сказала она Брониславе. – Тёс-то какой свалили! Хороший, жёлтый как воск. Не лежалый тёс... А я думаю, чтой-то возле двора опилками да корой, вон, насорено? И деревом свежим на всю улицу пахнет... Привезли, значит. Запасаются.

– Привезли! – кивнула ей Бронислава. – Ох, не выпалася я... Как внучек ваш конопатенький? Который на нашей яблоне прошлым летом на штанах-то своих повис?

Баба Шура, кряхтя, слезала с брёвен и приговаривала недовольно:

– Пирожки с капустой больно любит. Конопатый наш.

И ворчала, уходя, держась за поясницу:

– Пирожки-то ест, а задачки-то – не решает... Дождётся он берёзовой каши, внучек этот. От отца от своего. Обсыпятся тогда, небось, конопушки все... А ты неси, бумазейку-то! – обернулась она, грозя клюкой. – Неси, пока не забыла. А то сунешь её молельнице какой

никудышной. И будет она тебе над писаньем носом клевать, курица. Разве сквозь зевоту молятся?! А бумазейку – возьмёт!..

В домах включали свет, задёргивали шторы. Бронислава шла и кивала кой-кому сквозь стёкла:

– Доброго здоровьица.

Она оглянулась на шум мотора. Приближался самосвал, синий, и по всей видимости – Сашки Летунова.

Бронислава встала поперёк дороги и подняла обе руки вверх. Шофёр резко затормозил, открыл дверцу и заматерился:

– Что? Жить надоело?

– Батюшки-светы! Ни капельки.

Бронислава обозналась: машина была не Сашкина. Она влезла в кабину и расположилась поудобней.

– ...Далёко тебе? Ехать-то? – гаркнул сердитый пожилой шофёр.

– Домой отвези! – весело и громко, как глухому, сказала Бронислава. – Намёрзлася я!

– Из Буяна в Буян, что ль?

– А куда ж ещё?

– Хох, какая! – недовольно засмеялся шофёр, нажимая на газ. – Ну, тогда ты дорогу показывай.

– Езжай давай, не разговаривай!.. Вперёд езжай. Напрямки рули!.. Я скажу, где... За мостом остановишь.